

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
Общественная организация «Тамбовское областное филологическое общество»

Филологическая регионалистика

Главный редактор
Н.Ю. Желтова

Редакционная коллегия:

Л.В. Полякова (зам. главного редактора),
Н.Л. Потанина (зам. главного редактора),
А.Л. Шаранд-ин (зам. главного редактора),
С.В. Кончакова (отв. секретарь),

Е.В. Алтабаева (Мичуринск),
А.В. Бурькин (Санкт-Петербург),
Х. Вашкелевич (Краков, Польша),
Л. Геллер (Париж, Франция),
М.М. Голубков (Москва),
Р. Гольдт (Майнц, Германия),
В.Г. Зусман (Нижний Новгород),
Н.В. Корниенко (Москва),
С.И. Красовская (Благовещенск),
Дж. Куртис (Оксфорд, Англия),
С.Ю. Николаева (Тверь),
Н.В. Сафонова (Тамбов),
Т.А. Снигирева (Екатеринбург),
Т.А. Сидорова (Архангельск),
М.А. Хатямова (Томск),
И.О. Шайтанов (Москва),
А.С. Щербак (Тамбов).

№
2009 **1-2**

**Научный и информационно-
аналитический журнал**

Учрежден в 2009 г.
Издается два раза в год.

Зарегистрирован Федеральной службой
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № 77- 35659 от 17 марта 2009 г.

© Общественная организация «Тамбовское областное
филологическое общество»
© Журнал «Филологическая регионалистика», 2009
© ГОУВПО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина», 2009
© Коллектив авторов
При перепечатке и цитировании материалов
ссылка на журнал обязательна.

Tambov State University named after G.R. Derzhavin
Public Organization
«Tambov Regional Philological Society»

Philological Regionalistics

Editor-in-Chief
N.Yu. Zheltova

Editorial Board:

L.V. Polyakova (Deputy Editor-in-Chief),
N.L. Potanina (Deputy Editor-in-Chief),
A.L. Sharandin (Deputy Editor-in-Chief),
S.V. Konchakova (Executive Secretary),

E.V. Altabaeva (Michurinsk),
A.V. Burykin (St. Petersburg),
Kh. Vashkelevich (Krakow, Poland),
L. Geller (Paris, France),
M.M. Golubkov (Moscow),
R. Goldt (Mainz, Germany),
V.G. Zusman (Nizhny Novgorod),
N.V. Kornienko (Moscow),
S.I. Krasovskaya (Blagoveshchensk),
J. Kurtis (Oxford, England),
S.Yu. Nikolaeva (Tver),
N.V. Safonova (Tambov),
T.A. Snigireva (Ekaterinburg),
T.A. Sidorova (Arkhangelsk),
M.A. Khatyamova (Tomsk),
I.O. Shaitanov (Moscow),
A.S. Shcherbak (Tambov).

No
2009

1-2

**Scientific and
Information-Theoretical Journal**

Founded in 2009.
Biyearly.

Registered by the Federal Service
for Supervision in the Sphere of Communications and Mass
Communications

Certificate of Mass Media Registration
PI No 77- 35659 as of 17 March 2009.

© Public Organization «Tambov Regional
Philological Society»

© Journal «Philological Regionalistics», 2009

© SEIHPE «Tambov State University
named after G.R. Derzhavin», 2009

© Composite Authors

A reference to the journal while reprinting and quoting
is obligatory.

В номере:

От редколлегии.....5

1. Филологическая наука и культура региона: проблемы теории и методологии

Д.С. Московская

Локально-исторический метод в литературоведении

Николая Анциферова: генезис и контексты.....6

Л.В. Полякова

Регион как источник творчества и объект науки о литературе.....21

В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе

Глобальное и региональное в контексте

сравнительно-исторического изучения литературы.....28

2. Художник и культурное пространство. Региональные исследования в литературоведении

Н.М. Муравьева

Птицы Тихого Дона

(на материале романа-эпопеи М.А. Шолохова «Тихий Дон»).....31

Л.Е. Хворова

О некоторых аспектах потаенности в случае с С.Н. Сергеевым-Ценским.....38

А.В. Урманов

Амурский Саша Чёрный (О Фёдоре Ивановиче Чудакове).....42

С.И. Красовская

Литература на страницах «Амурской правды» 1921 г.: фельетоны П. Сулова.....57

Н.И. Соколова

Мироощущение викторианского «переходного века» в поэзии А.Х. Клафа.....62

Г.И. Родина

Некоторые аспекты культурной ситуации в Германии на рубеже XIX-XX вв.66

3. Проблемы лингвистической регионалистики

А.А. Бурыкин

К проблеме региональных словообразовательных моделей в ойконимии

(об ареале с конверсионным образованием ойконимов от названий храмов).....69

Е.В. Алтабаева

Замятинский текст как объект лингвокультурологии.....74

В.Г. Руделев, О.В. Сафонова

Зоонимические термины на службе создания героических образов

(к реконструкции и герменевтической обработке «Слова о полку Игореве»).....79

Т.А. Сидорова Концептуализация фрагмента мира <i>семья</i> в поморском лексиконе.....	87
С.Ю. Дубровина Особенности морфемной структуры диалектных слов в тамбовских говорах.....	91
Р.П. Козлова, М.В. Холодкова Общерусские просторечные признаки в живой речи жителей г. Тамбова.....	96

4. Материалы и сообщения

И.О. Шайтанов Зачем сравнивать? Компаративистика и / или поэтика.....	99
Е.Н. Чернозёмова «История Московии» Мильтона. У истоков мифологемы о русском характере.....	108
О.И. Половинкина «Метафизическая поэзия» и «метафизический стиль»: проблема терминологического переноса.....	114

5. Критика, рецензии, обзоры, библиография

Р.П. Козлова Рецензия на монографию В.В. Леденёвой «Лексикография современного русского языка».....	118
--	-----

6 . Наши публикации

Ю.А. Лёвшина Воспоминания	121
---	-----

7. Хроника: факты, события, имена

О.В. Толмачёва Международный конгресс литературоведов. К 125-летию Е.И. Замятина.....	127
Н.Л. Потанина Памяти профессора Нины Павловны Михальской.....	134

Информация

Устав ТОФО.....	136
Членские взносы и порядок их оплаты.....	140
Требования к оформлению рукописей для публикации в журнале «Филологическая регионалистика».....	141
Наши авторы.....	143

На правах рекламы

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Уважаемые читатели!

В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина на базе Тамбовского областного филологического общества при участии ученых академических институтов и ведущих вузов России начинает издаваться научный и информационно-аналитический журнал «Филологическая регионалистика». Он зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций в статусе общероссийского.

Для России территориальная дифференциация имела и имеет большое значение в силу наличия огромных пространств, которые зачастую кардинально отличаются друг от друга не только природно-климатическими, но и языковыми, культурными, этническими реалиями, определенным укладом жизни, сформированным историческими условиями их функционирования.

Проблема пространства в современном филологическом знании является одной из приоритетных. С точки зрения филологии продуктивно говорить о географическом пространстве и пространстве культурном, обусловленном «сакральной географией», «геософией», «геопозитикой». В этом случае под пространством следует понимать, в основном, три его вида: историко-географическое, художественное, духовно-культурное. Видимо, все эти типы топосов актуально рассматривать через понятие «регион», которое сегодня является особенно востребованным в контексте параллельно развивающихся процессов глобализации и регионализации.

Всякий регион представляет собой многомерное пространственное образование, обладающее своей «геософией», «геопозитикой», системой «геокультурных» образов, складывающихся, в том числе, под влиянием особых языковых и литературных факторов. В этой связи возможно говорить о формировании такого научного направления, как филологическая регионалистика. Ясно, что ее задачи и методологический аппарат значительно шире литературного краеведения или лингвокраеведения. Сегодня требуется комплексный подход на основе филологического анализа целостных территориальных образований, обладающих оригинальным пространственным социокультурным кодом. Кроме того, под филологической регионалистикой следует понимать изучение в междисциплинарном аспекте конкретных языковых и литературных реалий того или иного региона с учетом его исторического, экономического, политического, духовно-нравственного развития.

На страницах журнала будут публиковаться работы по теории и методологии филологической науки, сообщения из регионов России и Зарубежья о результатах конкретных исследований в области филологии, литературного и лингвистического краеведения, сохранения культурного наследия. Определенную часть журнального объема займут статьи междисциплинарного характера.

Редколлегия планирует специальную рубрику «Дискуссии» для обсуждения проблем перспектив развития современной регионалистики. Весьма востребованной станет рубрика переводов работ зарубежных филологов, отражающих тематику и проблематику издания.

Редакционная коллегия выражает надежду на то, что деятельность журнала позволит консолидировать усилия научных школ и отдельных ученых в решении актуальных проблем филологической науки, будет способствовать распространению гуманитарного знания, информированию научной общественности о новых исследованиях в области филологической регионалистики.

1. Филологическая наука и культура региона: проблемы теории и методологии

ЛОКАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ НИКОЛАЯ АНЦИФЕРОВА: ГЕНЕЗИС И КОНТЕКСТЫ

Д.С. Московская

Имя историка-краеведа, специалиста в области региональных культурологических разысканий, литературоведа, посвятившего проблеме отношения местнографической художественной образности к реальному источнику – городскому ландшафту свою знаменитую «петербургскую трилогию» «Душа Петербурга» (1922), «Петербург Достоевского» (1923), «Быль и миф Петербурга» (1924), хорошо известно современным ученым-гуманитариям. Человек поистине трагической судьбы (Анциферов потерял в войнах и революциях всех своих детей, три раза был сослан, почти восемь лет в общей сложности – в 1925, 1929–1933, 1937–1939 гг. – провел в заключении), он оставил богатое научное наследие: работы, опубликованные и неопубликованные.

120-й юбилей Николая Павловича был отмечен выходом в свет его никогда прежде не публиковавшегося диссертационного исследования «Проблемы урбанизма в русской художественной литературе. Опыт построения образа города – Петербурга Достоевского – на основе анализа литературных традиций» [Анциферов 2009]. Таким образом, спустя более чем полвека, научным сообществом был выполнен долг перед памятью выдающегося ученого: «Проблемы урбанизма в русской художественной литературе» – эта, во многих отношениях итоговая работа Николая Павловича, была защищена им на соискание ученой степени кандидата филологических наук 5 сентября 1944 г. в Институте мировой литературы АН СССР и была признана оппонентами Б.В. Томашевский и Е.Б. Тагером выдающимся вкладом в литературоведение. Их отзывы констатировали появление в науке о литературе «литературоведческого урбанизма» – локально-исторического метода изучения «городского текста» беллетристики. Так вышло, что ученые-гуманитарии, сумевшие оценить значение указанной в работах М.М. Бахтина пространственно-временной художественной формы – хронотопа, не обратили внимания на предложенный Анциферовым метод конкретного историко-литературного анализа этой формально-содержательной категории. А ведь этот метод способствовал выявлению индивидуально-неповторимого, субъективно-ценност-

30 июля 2009 г. исполнилось 120 лет со дня рождения Николая Павловича Анциферова. Юбилейным для его памяти был и 2008 г.: 2 сентября минуло 50 лет со дня смерти ученого.

ного содержания местнографического образа, вмещавшего в то же время объективное социально-историческое свидетельство в прогностическом его аспекте.

В чем существо предложенного Н.П. Анциферовым метода, и каково его значение для современного этапа развития литературоведения?

Интерес Анциферова к местной истории и культуре формировался под влиянием детских впечатлений. Культуролог-градовед, он по рождению не был горожанином. Его родиной была усадьба графа Потоцкого Софиевка – шедевр архитектурно-паркового искусства XVIII в. среди украинских степей. Рукотворная красота парка на фоне дикой природы явилась первым сильным переживанием художественного ландшафта, позже отразившемся в подходе ученого к художественному творчеству: характерной чертой его историко-литературных штудий станет скрупулезное составление итинерариев – списков адресов жизни и творчества русских писателей.

После смерти отца семья Анциферовых переехала в Киев. Первое «урбанистическое» впечатление оставило неизгладимый след в его памяти, приобщив своим монументальным обликом к истории России как древней европейской державы. Киев усилил интерес Анциферова к истории: мальчик углубился в изучение прошлого Украины. Городские ландшафты пробудили в нем желание отыскать первоисточник литературных пейзажей любимых произведений Гоголя, сформировалась привычка к сопоставлению собственных эмоциональных переживаний от встречи с местностью с литературными ее образами и историческими судьбами жителей.

Учеба в Первой Киевской гимназии (интерьер которой по воле однокашника Анциферова М.А. Булгакова стал местом действия «Дней Турбиных») должна была продолжиться в Петербургском университете. Однако провал на выпускном экзамене в гимназии на время закрыл ему переход в «землю обетованную». Он отчасти

испытывал ощущения, раскрытые им позже в диссертации на материале произведений Некрасова, – «комплекс неудачника-провинциала в столице», и, вооруженный новым для себя урбанистическим опытом мечтателя-неудачника и городского фланера, иначе воспринимал петербургские мотивы любимых писателей: Пушкина, Герцена, Белинского, Достоевского, Толстого, Блока. Студентом историко-филологического факультета Анциферов стал в 1909 г. Петербург явился ему тогда «городом солнца и числа» (Н. Заболоцкий). Европейской архитектурой, рациональной планировкой и чужим русскому глазу природным ландшафтом он утверждал справедливость веры университетских студентов в свое особое назначение. Петербург – авангард исторических преобразований, университет – очаг революции. Во время студенческой забастовки 1911 г. Анциферов вместе с несколькими товарищами отправился в Париж, чтобы познакомиться с местами, которые были связаны с Французской революцией конца XVIII в. По его признанию, эта поездка пробудила в нем интерес к исторической топографии и локальному методу изучения исторических событий и явлений.

Петербургский университет подсказал Анциферову еще одну историческую идею столицы – «всемирную отзывчивость». Он с теплотой вспоминал витрины землячеств, расположенных в простенках университетского коридора, с видами родных городов. В хронотопической образности древнерусской литературы Анциферов увидел тогда подтверждение своим идеалам: «Не русское государство, не русская нация, а *русская земля* – вот тот образ, который нам завещан летописью» [Анциферов 1992:190]. Вслед за провинциалом Гаршиным он хотел видеть в Петербурге духовную родину для разнородных уроженцев, связующую собой разнотерриториальный организм России.

Университетские землячества были воодушевлены идеей служения русскому народу и русской культуре. Это воодушевление разделяли Анциферов и его будущая жена, бестужевка Татьяна Оберучева. Будучи студентом второго курса, Анциферов стал организатором Эрмитажного кружка университетской молодежи для изучения музейных экспозиций с целью создания кадров для экскурсионной работы с рабочими. Тогда же он начал читать лекции на Обуховском заводе. Работа, начатая в 1910 г., была прервана «студенческой революцией» и возобновилась в 1912 г. после поездки с профессором Петербургского государственного университета И.М. Гревсом по Италии.

Петербург дал Анциферову больше того, на что он мог рассчитывать. В лице Ивана Михайловича Гревса молодой человек нашел друга и руководителя, чья методология оказалась близка научному мирозерцанию ученика. К моменту поступления в университет Анциферов уже имел опыт самостоятельного исторического осмысления действительности. Особое место в нем занимал интерес к собиранию и систематизации исторических свидетельств, которые Анциферов находил в монументальном облике города, материальных формах его быта, образах художественных произведений – литературы и пластического искусства.

Годы обучения на историко-филологическом факультете приобщили Анциферова к научным традициям и направлениям петербургской школы историков. Ее специфической особенностью было восстановление научных прав источника. Именно Петербургский университет, Академия наук и Археографическая комиссия, где отрабатывалась система источниковедческих приемов исторического исследования, стали институциональной основой ее формирования. Ко второму поколению петербургских ученых-историков принадлежал наставник Анциферова И.М. Гревс и целая плеяда блестящих преподавателей факультета – А.С. Лаппо-Данилевский, Е.Ф. Шмурло, А.А. Шахматов, А.Е. Пресняков, Н.П. Павлов-Сильванский, Б.А. Тураев, М.И. Ростовцев, Э.Д. Гримм.

В трудах коллеги и друга И.М. Гревса А.С. Лаппо-Данилевского – различались два противоположных метода научного познания: идиографический (индивидуализирующий) и номотетический (обобщающий). Не отказывая в научной ценности ни одному из них, Лаппо-Данилевский утверждал, что номотетическое построение истории недостаточно для осуществления задач собственно исторического изучения действительности. По его мнению, в основе его лежит идиографическое знание, получающее, однако, научный характер лишь в том случае, если оно пользуется номотетическим знанием и умеет приноровить его к установлению исторического значения индивидуального.

Методика научной работы историков Петербургского университета предполагала изучение исторической действительности с идиографической точки зрения: когда предметом исследования является не общее, а *единичное, с собственным именем и отмеченное топографическим и хронологическим указанием*. Предмет рассматривался вместе как целое и как часть целого. Понимание замысла автора исторического документа совершалось через изучение материального облика документа – установление места, времени и техники его производства и путем возведения его к определенному историческому типу, принадлежащему конкретному пространству и времени. Тогда индивидуальный замысел оказывался частью определенной культуры, причем сохранялось представление частных особенностей источника, так как основой анализа оставалась уникальная личность его создателя. Этот подход позволял преодолеть естественную проблему интерпретации исторического документа, при которой историк не способен достигнуть абсолютной тождественности своего сознания и сознания автора источника.

Анциферов специализировался в градоведческих культурологических семинариях Ивана Михайловича Гревса. Здесь оформились его научные представления и были заложены основы методологии исторического исследования. Научная деятельность учителя и *padre* Н.П. Анциферова И.М. Гревса (русского дворянина, уроженца Бирючинского уезда Воронежской губернии, как сообщил он о себе в анкете Ленинградского Экскурсионного института) выражалась в *научно-исторических исследованиях* в области древней и средневековой истории и истории Возрождения по *социальной* истории

и вопросам *духовной* культуры. В терминах исторической науки второй половины XIX в. социальная история имела своим предметом историю местную, в которой человеческая природа раскрывается не целиком, «а частично и прерывисто, подчиняясь обстоятельствам места и времени» [Ключевский 1987: 37].

Исторический процесс с позиций социальной истории выглядел неповторимым результатом совместной работы человеческой личности, людского сообщества и природы данной местности. Эти выводы московской исторической школы принимал и особенно высоко ценил петербургский историк И.М. Гревс: «Специально большую важность имеет и разработка местной истории в историографии целой страны. Об этом сильно говорят лучшие мастера нашей исторической науки. В.О. Ключевский прекрасно доказывает в своем знаменитом «Курсе русской истории» значение «национальных» историй для построения «всеобщей» и «областных» историй для построения национальной. То же самое отчетливо высказывает И.Е. Забелин» [Гревс 1926: 490].

«Локальный метод» изучения истории, как Анциферов назвал применявшийся в семинариях Гревса научный подход к историческому материалу, был одним из инструментов социальной истории и разновидностью исторической идиографии. Он требовал посещения места совершения события. «Хождение по стране» рассматривалось как лучший из способов вживания в миры, ставшие предметом научного исследования. Переживание ученого при встрече с исторической местностью имело научный смысл: историк должен был увидеть местность, голос которой звучит в источнике, чтобы преодолеть возможные ошибки собственного воображения, мешавшие адекватному восприятию документа. Опираясь на установленную связь с первоисточником, исследователь приступал «к *обратной реконструкции исчезнувших памятников* (курсив наш. – Д. М.), а вслед за этим и к обрисовке оживлявшей их жизни» [Анциферов 1923: 18]. «Только при этих условиях не «воображаемый портрет» из пьесы Д.С. Мережковского, а реальный образ императора Павла I воскреснет, как *genius loci* Гатчины» [Анциферов 1923: 33]. Так применительно к архитектурным памятникам Петербурга прокомментировал Анциферов личный опыт обратной исторической реконструкции.

На протяжении многих лет темами семинарских занятий Гревса было изучение средневекового города. Выбор объекта изучения для историка культуры неслучайный. Город рассматривался Гревсом как носитель не только центристических сил общества («тяготения»), но, в не меньшей степени, и центробежных («лучеиспускание»). Культура и социальная жизнь города обладает свойством концентрированно выражать достигнутые обществом вершины цивилизованности. В городах происходит сгущение культурных процессов и насыщение их плодами: это – крупнейшая форма сращения в одном конкретном общегитийных элементов цивилизации, слияния и взаимодействия различных ее стихий и течений.

Интерес к культуре города на историко-филологическом факультете Петербургского университета был

связан с возникшим на рубеже XIX и XX вв. течением в исторической мысли и, еще раньше, в художественной культуре – урбанизмом. Революционное европейское движение подготовило появление работ Освальда Шпенглера, где культуре города как знамени состояния мировой цивилизации уделено было особое внимание. В трудах первой половины 1920-х гг. Гревс принимал утверждение немецкого ученого, «что сущность культуры есть градообразование: человек – строящее города существо, и история человечества – история городов». Гревс был убежден, что «трагедия города всегда служит симптомом трагедии культуры, – и в таком смысле город остается мерилем ее устойчивости и кризиса» [Гревс 1924: 247-249].

Другим направлением работы семинария Гревса было изучение духовной культуры. Учениками Гревса (среди них будущие знаменитые ученые историки, философы, культурологи: О. Добиаш-Рождественская, Н. Оттокар, Л. Карсавин, Г. Федотов) были написаны рефераты, прочитаны и обсуждены доклады по проблемам религиозного сознания Средневековья и Возрождения. На первом плане был вопрос об отношении мира идей, верований, убеждений, бытового поведения к историческому состоянию общества. Выбор подобной тематики не был проявлением субъективных пристрастий основателя школы. В методологии истории, над которой в бытность Анциферова студентом университета работал его преподаватель и друг И.М. Гревса А.С. Лаппо-Данилевский, этическим идеалам отводилась первостепенная роль: мировая история представлялась Лаппо-Данилевскому результатом осуществления обществом собственных нравственных ценностей.

Проведя в семинариях Гревса шесть университетских лет, Анциферов стал на всю жизнь последователем исторического метода своего наставника. Гревс неоднократно давал высокую оценку научной деятельности ученика и используемого им научного подхода. Для научного подхода Анциферова Гревсу были важны его широкая начитанность в научной литературе и критическая работа над первоисточниками; при углубленном исследовании проблем духовной культуры основательное ознакомление с их экономической базой. Оригинальной особенностью исторического метода ученика Гревс считал сочетание документального (по письменным источникам) и монументального (по вещественным памятникам искусства и быта) изучения исторического материала. По мнению Гревса, Анциферов «выработал из себя превосходно осведомленного и творчески сильного *историка-градооведа* в широком смысле слова», умеющего восстановить прошлое древнего города в системе научного взаимодействия «документального и монументального исследования, работая в Архиве и библиотеке, но также странствуя по живым следам старины и погружаясь в познание предмета краеведчески и экскурсионно» [ОР ИМЛИ].

Таковы были, по мнению И.М. Гревса, научно-практические итоги обучения Анциферова на историко-филологическом факультете Петербургского университета.

Революционные события открыли новую веху в на-

учной биографии: началась его самостоятельная деятельность как историка-краеведа, педагога и теоретика-культуролога, наступило время формирования его локально-исторического метода в литературоведении.

Ставший Анциферову родным Петроград после революции превратился в «столицу русской провинции». В городе более чем вдвое сократилось население, не работали фабрики и магазины, травой заросла «всеобщая коммуникация» – Невский проспект. Пушкинский Петербург – «Петра творенье», ставший «колыбелью революции», по пророчеству Некрасова («Могилы вокруг, Монументы... Да это кладбище»), превратился в каменное надгробие великих исторических замыслов.

Начавшаяся вакханалия переименований и переселений, уничтожения памятников царизма и культа запустила в бывшей столице программу разрыва с преданиями местности: по слову Маяковского, «то, что годилось для царских Петербургов», следовало вырвать «с корнем из красных Ленинградов». Умирала историческая идея города, умирала душа Санкт-Петербурга, в своем имени хранившего древний идеал единства этатизма и этики: «Шел через Дворцовую площадь. Всмотривался в Александрийский столп, следил за спокойным движением легкого ангела, державшего крест и показывавшего на небо. Не могу поверить, что с любимого лика Петербурга будет стерта эта столь существенная черта беспощадной рукой» [ОР РНБ], – записал в дневнике 1924 г. Анциферов.

В то же время Петербург оставался городом-музеем и, в еще большей степени для его старожилов, городом-храмом, где происходил встречный процесс собирания во имя воскрешения. Уничтожению предания о городе противостояло стремление сохранить «его дворцы, огонь и воду» (А. Ахматова). В городе началась борьба за усмирение потока разрушения. Действовали общество «Старый Петербург», в состав которого, в первую очередь, вошли ученые-историки, искусствоведы, архитекторы и художники: Н.П. Анциферов, Александр и Альберт Бенуа, В.Я. Курбатов, А.Ф. Кони, Николай и Евгений Лансере, В.К. Лукомский, А.П. Остроумова-Лебедева, С.Н. Наседкин, С.Ф. Платонов, П.Н. Столпянский, В.Н. Талепоровский, С.Н. Жарновский, В.Н. Вейнер, В.П. Зубов, Б.В. Асафьев, М.Д. Приселков; и общество «Медный Всадник», среди членов которого было больше поэтов: Г. Адамович, Г. Иванов, М. Лозинский, И. Одовецова, Н. Оцуп, В. Рождественский. Петроградская интеллигенция взяла на себя спасение «каменной культуры»: пропаганду охраны исторических памятников и практическую работу по их каталогизации и сохранению.

При Академии наук начало действовать Центральное бюро краеведения (ЦБК), направившее в научное русло развернувшуюся по всей России собирательскую и восстановительную культурную работу. При музейном отделе Наркомпроса был создан Экскурсионный институт для разъяснения массам ценности сокровищ царского времени. В эту работу включился и широкий круг учащейся молодежи Тенишевского училища, Петроградского университета, Российского Института истории

искусств (РИИИ), Педагогического института... Преподавателем Тенишевского училища, заведующим кафедрой древней истории во 2-м Педагогическом институте имени Н.А. Некрасова, заведующим семинарами по изучению Павловска и Детского Села от Экскурсионного института, членом ЦБК, преподавателем практических занятий на изобразительном и литературном отделениях РИИИ был в эти годы Н.П. Анциферов.

Войны и революции лишили его возможности пользоваться локальным методом для изучения европейского средневекового города. В то же время личный опыт переживания *distructio* Родины и семьи – у Николая Павловича весной 1919 г. в Царской Славянке (ныне поселок Динамо) погибают от дизентерии его первенцы, четырехлетняя Наташа и годовалый Павел, – усилил в его исторических исследованиях эмоционально-этическое начало. В воспоминаниях о тех годах Анциферов отметил нравственную логику произведенной им смены предмета изучения: «Я ушел <...> в краеведение, которое меня теснее связывало с родиной, увводя из круга научных интересов, удерживавших меня в средних веках западного мира» [Анциферов 1992: 326].

Но можно предположить, что не в меньшей степени, чем сердечная потребность, выбором Анциферова как профессионального историка руководила задача научного свойства. Усилившийся в его работах тех лет интерес к порожденной северной столицей социальной психологии и «центробежному» влиянию этого города на поведение населения России был связан с пережитой страной революцией. Социальная неустойчивость еще в предреволюционные годы выдвинула на первый план в отечественных исторических исследованиях вопрос об альтернативности выбора пути развития. Главным интересом исторических исследований Анциферова в пореволюционные годы стал вопрос о грядущих судьбах стремительно менявших свой облик, а с ним – и биографию, российских местностей.

Семинарий Гревса развил в Анциферове умение изучать городскую повседневность – ту мещанскую *обыденщину*, борьба с которой была главным содержанием объявленной Л.Б. Троцким эпохи «культурничества» и «нового быта». История быта в эти годы масштабной перестройки общественных отношений, слома вековых ценностей национальной жизни, колоссальных геополитических преобразований была выдвинута Гревсом как самостоятельный предмет исторической науки – объект *антропогеографии*. В отличие от фактов географии, антропогеография изучала феномен надорганического мира – духовно-материальную сферу культуры, языка, верований, бытового поведения, традиций и обычаев. В отличие от этнографии, конечным предметом антропогеографии является единичный человек, маркированный топографически и хронологически, – «человек местный».

В пореволюционные годы Анциферов углублял усвоенную в градоведческих семинариях методику исследования «языка» городского быта как исторического документа. В книге «Пути изучения города как социального организма» (1925) он наметил основные черты

обихода города – центра тяготения «разнообразных сил, которыми живет человеческое общество». В ней город предстает нечеловеческим социальным существом со своей анатомией, предопределенной природно-географическими условиями; физиологией, обусловленной экономическими и социально-политическими функциями местности и населения; психологией, или душой. Психология городского населения «задана» историческим преданием и выражается языком города – городской топонимикой и номенклатурой. «Они сообщают о всех областях его жизни. Они рассказывают о его росте, о его связях с другими городами; о его нуждах. В них живет память о прошлом», – писал в указанной работе Анциферов [Анциферов 1925: 147]. «Душа» города оживает в архитектурных стилях, литературе и городском фольклоре.

Восхождение к психологии города и понимание его духовной атмосферы начинаются с освещения его анатомии и физиологии: они во многом объясняют ее своеобразие. Анциферов подчеркивал существование обратного процесса в этом взаимодействии: «Атмосфера, создаваемая вокруг выразительных ландшафтов и памятных мест, подчинена закону развития, определяющему судьбу порождающего ее общества» [Анциферов 2009]. Анциферов обратил внимание на то, что один и тот же город различно отражается в сознании сменяющихся поколений. Перерождается город, и с ним перерождаются мысли о нем, им подсказанные чувства и стремления. Меняется и образ его, отраженный общественным сознанием и переданный художественным творчеством.

Первая половина 1920-х гг. стала временем собирания Анциферовым литературных образов города. Он издает книги, построенные по принципу тематического подбора цитат с урбанистическими художественными хронотопами. Эти книги были написаны им для практических целей: Анциферов обучает экскурсоводов в Петроградском Экскурсионном институте, читает научные доклады как участник общества «Старый Петербург» и член ЦБК. Однако его теоретические статьи тех лет выдвигают художественные образы местности в качестве главного предмета и инструмента разрабатываемой им исторической методологии. Уже в те годы он увидел, а спустя двадцать лет в своей диссертации доказал, что хронотопическая образность «не искажение исторической действительности, а ее истолкование и сублимация – переключение в символические образы глубоких исторических процессов» [Анциферов 2009: 16].

Составление картотеки цитат с художественными хронотопами (к 1942 г. она состояла из 1500 единиц) помогало ученому исследовать технику их построения. «Субъективное переживание» ландшафта, выражающееся в интуитивно-целостном художественном мышлении, в противовес научному имело для социального историка особую ценность. Терминология первой половины двадцатых годов уравнивала понятия «социальная история», «местнография» и «краеведение». Используя термин «краеведение» в этом значении, Анциферов писал о сходе познавательных целей социального ис-

торика и художника. Краевед стремится к изучению края в полноте присущих ему элементов – к целокупному знанию и в своих исследованиях имеет дело с конкретной индивидуальностью. Он изучает свой край, который является *единичным явлением*, целиком, «*постигает все элементы его на основе целого и из целого*, в их живой, реальной, непосредственно раскрывающейся ему связи». Ту же цель преследует и хронотопическая художественная образность. Писатель ищет жизненный материал, в котором творческая интуиция привела бы его к «виденью целостного образа» многоликого края или же к познанию одного из его ликов (обличий)» [Анциферов 1927]. Художник, как утверждал Анциферов, стремится знать с полной точностью тот материал, который он вводит в творческую лабораторию, поэтому отправной точкой художественного вымысла является «жизненная правда».

Таким образом, пути и результаты художественного и социологического познания местности в глазах ученого обнаруживали глубокую родственность. Испытавший влияние модных в начале века философских идей Бергсона, Анциферов полагал, что осуществить свои познавательные цели местнографу помогает интуиция. Интуиция – также важнейший инструмент художественного постижения действительности. Собственный опыт Анциферова как историка-градоведа, сформированного локально-исторической школой Гревса, показал источниковедческую ценность для социолога литературно-художественных исторических свидетельств. В 1927 г. Анциферов уже прямо утверждал, что «*интуитивный метод познания мира художников <...> нужен краеведу*. Знакомство <...> с литературой не только может дать новое знание, но и помочь развить некоторые подходы к материалу, без которых немислимо целокупное знание» [Анциферов 1927].

Целокупное знание – термин, введенный с историческую науку Гревсом. В нем концентрировано выражалось важнейшее положение методологии исторической науки Лаппо-Данилевского, требовавшее от историка умения совмещать два противоположных метода научного познания – индивидуализирующий (идиографический) и обобщающий (номотетический). Восхождение к общему преследовало цель установить историческое значение индивидуального. По мнению Анциферова, ее с успехом выполняла хронотопическая образность художественной литературы. В ней содержался материал, «в котором творческая интуиция привела к «виденью целостного образа» многоликого края или же к познанию одного из его ликов» [Анциферов 1927].

Своим идеям он нашел подтверждение у М.М. Пришвина. Профессиональный писатель и краевед, Пришвин предложил свой метод краеведческого исследования, основанный на собственном исследовательском опыте: «Сущность этого краеведческого метода состоит в том, чтобы *обыкновенным земляческим чувством края*, в котором заключается <...> несомненно художественный синтез, пользоваться для понимания *лица края*, <...> на равных правах с обыкновенным на-

учным методом изучения». «Художественный» метод социологического познания местности, предложенный Пришвиным, был конгениален собственным размышлениям Анциферова: «Самое существенное в этом отрывке: *познание лица края особым земляческим чувством. Это путь интуиции*» [Анциферов 1927: 40].

В своих работах 1920-х гг. Анциферов утверждал, что *хронотопическая образность, рожденная интуицией писателя, способна помочь социальному историку вскрыть глубокую, часто неведомую правду об истории и современном состоянии различных уголков страны, дать ему материал для социального прогнозирования*. Тогда же он впервые сформулировал новую в литературоведении научную задачу, которую ему предстояло разрешить через два десятка лет в своей диссертации: «Изучая «литературные гнезда», нужно собрать не только материал, освещающий вопросы биографического характера и определяющий степень участия писателя в жизни края, но, быть может, еще важнее изучить отражение края в творчестве писателя. Историки литературы в занятиях этого рода, может быть, смогут выработать особый *метод локального исследования* в беллетристике, который приведет к выявлению еще не освещенных сторон творческой личности наших писателей» [Анциферов 1927: 46].

В течение многих лет Анциферов и будущий академик Академии наук СССР Н.К. Пиксанов работали на общем научном поле краеведческой тематики. Пиксанов первым предложил ввести в науку о литературе раздел, изучающий художественные закономерности творчества писателей-земляков, обобщая, таким образом, расцветшее в отечественной беллетристике в 80-е гг. XIX в. явление «областничества». Рецензенты специальных краеведческих журналов, среди них Гревс, высоко оценили разработанный Пиксановым местнографический аспект литературного творчества. Анциферов, со своей стороны, также приветствовал появление работ Пиксанова по литературному краеведению, предостерегая, однако, от чрезмерного увлечения идеей коллеги. По его убеждению, отечественная культура слагалась не по федералистскому типу, как, например, в Германии. Там в провинции билась полноценная жизнь, каждая область давала свою культуру и люди чувствовали свою связь с истоками. Российская культура, по Анциферову, была централистического типа. Все тянулось в Москву и в ней растворялось.

Научные связи Пиксанова и Анциферова продолжились в годы работы последнего в Москве в Государственном Литературном музее. В 1944 г. Пиксанов поддержал предложенную *известным краеведом Анциферовым* анкету по собиранию материалов о местных писателях, литературных организациях и всей местной литературной жизни. Он считал делом большой важности выдвинутое в ней предложение придать краеведению *характер и задачи родинovedения*, соглашаясь с тем, что изучение литературных явлений местной жизни входит в задачи изучения родины. Осуществление деятельности, предложенной Анциферовым, он считал делом большой важности.

И все же предложенный в 20-е гг. Н.П. Анциферовым «локальный метод» в литературоведении имел глубокие методологические отличия от концепции областных «культурных гнезд» и ставил перед наукой о литературе задачу, несомненно, более высокого уровня, чем указанный «литературными гнездами» аспект изучения отношений литературы и края. Локальный метод был далек от «иллюстративного экскурсионизма» и приземленного биографизма в литературоведении. Его генеральной целью было восхождение к мировоззренческим связям творца с эпохой, «живой монадой», которой является его произведение. Имя Н.К. Пиксанова мы встретим на страницах диссертации Н.П. Анциферова «Проблемы урбанизма в русской художественной литературе» лишь однажды – в библиографии, в разделе «Общие работы» по проблемам урбанизма в русской художественной литературе. Там приводится ссылка на его книгу «Областные культурные гнезда» 1928 г. издания. Анциферов справедливо считал *себя* первооткрывателем урбанизма в беллетристике как самостоятельной проблемы литературоведения, чем и объясняется отнесение трудов коллеги к разряду «Общих работ» в научной библиографии диссертации.

В социологических выводах этих наблюдений открывается принципиальное единство научной интуиции Анциферова с комплексом идей «мыслительного коллектива» М.М. Бахтина. (Пути Анциферова и «бахтинского круга» – М.М. Бахтина, П.Н. Медведева, Л.В. Пумпянского пересекались неоднократно – в кружке «Воскресенье», в ГИИИ, в ссылке на Медвежьей горе.) Согласно Бахтину, образы местности относятся к хронотопическим образам, наделенным особой идейно-содержательной и ценностной нагрузкой: «Хронотоп определяет художественное единство литературного произведения в его отношении к реальной действительности. Хронотоп в произведении всегда включает в себя эмоционально-ценностный момент, характеризующий авторское мировоззрение и состояние общественного сознания» [Бахтин 1975: 391-392]. Хронотопическая образность, согласно Анциферову и Бахтину, раздвигает историческое время в прошлое и будущее. Имея дело с социальной реальностью и ее проблемами, хронотопы степенью своей зрелости свидетельствуют о глубине постижения общественным сознанием собственной истории и исторического человека.

Первые книги Н.П. Анциферова «Душа Петербурга», «Петербург Достоевского», «Быль и миф Петербурга», одна за другой вышедшие в 1922–1924 гг. в Петрограде, выросли из экскурсий, лекций, выступлений, докладов, проведенных в рамках его деятельности как члена общества «Старый Петербург». Значение историко-культурологической составляющей пореволюционных работ Анциферова было высоко оценено учеными «бахтинского круга». Они оставили след в докладе Л.В. Пумпянского «Петербург Пушкина и Достоевского», прочитанном 19 апреля 1922 г. в Обществе изучения Старого Петербурга, и статье 1925 г. «О «Медном всаднике», о Петербурге, о его символе». Подобно Анциферову, Л.В. Пумпянский видел единственной темой

поэзии «историю, то есть отношение к предкам» [Пумпянский 2000: 813]. Как и Анциферов, он был убежден в значении внелитературного ряда для литературного творчества: «Родилась поэма Пушкина из громадной тревоги, из чувства странности, из глубокой потребности ориентироваться, в чем-то посчитаться, отдать себе отчет...» [Пумпянский 2000: 596]. Существующие между работами Пумпянского и Анциферова различия пролегли по линии отношения к символике художественного образа. Для философа культуры Л.В. Пумпянского они были ценны как продукт трансформации или распада традиции. Для социального историка Анциферова генетически они оставались внелитературными – являлись «голосом» земли, плодом «думы и мысли писателя» в данной местности, носителями ее «легенды» и исторической футурологии.

Одновременно с отзывом на только что вышедшую из печати книгу «Душа Петербурга» в «Литературном дневнике» «Красной газеты» появилась рецензия на литературный манифест «Серапионовых братьев» – «Об идеологии и публицистике». Особое внимание рецензент обратил на бросившие вызов марксистской социологии слова Льва Лунца: «Мы <...> верим, что искусство реально, живет своей жизнью, независимо от того, откуда берет оно свой материал» [Лит. дневник 1922: 4]. Совместная учеба на историко-филологическом факультете Петербургского университета, работа в Тенишевском училище, сотрудничество в Обществе «Старый Петербург» и в дальнейшем – в стенах Института истории искусств соединяли жизненные и исследовательские пути Анциферова с группой ленинградских формалистов. В дневниках ученого упоминается о встрече с Львом Лунцем, произошедшей вскоре после выхода в свет «Петербург Достоевского». Тогда возник спор, коснувшийся принципиального для теоретика «Серапионовых братьев» вопроса о материале литературного творчества. Лунц заметил: «Ищите дома Достоевского не на улицах Петербурга, а на страницах романов Бальзака». По мнению представителей формального метода, Анциферов шел по ложному пути. В автобиографии Николая Павловича сохранилось указание на существо «методологического упрека» ленинградских формалистов автору «Петербург Достоевского»: литература, по их мнению, «питается литературной традицией, а не реальными явлениями или памятниками жизни и истории» [ОР ГЛМ]. Энциклопедия реальных адресов и маршрутов героев Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Герцена, Достоевского, Блока, что представлена работами Анциферова 20-х гг., показывает, что совету Лунца ученый не внял. В статьях тех лет он особо подчеркивал отличие своей методологии от теории формального метода: «делая ударение на «что», в противоположность ударению на «как» представителей формального метода, социологизм обращает сугубое внимание на материал, который извлекает художник из широкого потока вечно меняющейся жизни» [Анциферов 1926: 11].

Разрабатывавшийся в пореволюционные годы социологический метод Анциферова был *противоположен*

марксистской социологии, отнесенной в методологии истории Лаппо-Данилевского к разряду номотетических наук. Социологические наблюдения Анциферова строились на скрупулезном изучении индивидуальности и научной готовности принять открывающиеся факты, даже если они не соответствуют интеллектуальным привычкам и предпочтениям созерцателя. Такой подход он называл «научным смирением». Предложенный им в 20-е гг. «экскурсионный метод» изучения культуры, кроме просветительно-педагогических целей, преследовал научно-методологическую цель в области исторической науки и литературоведения. В работе 1923 г. «О методах и типах историко-культурных экскурсий» непосредственное ознакомление с местом совершения исторического события он выдвинул в качестве важнейшего научного подхода историка и культуролога: «*Экскурсия требует готовности к известному самоабвению*, отрешения от своих случайно сложившихся вкусов и навыков мысли ради проникновения в душу иных стран, иных времен» [Анциферов 1923: 6].

«Научное смирение» перед реальностью при исследовании и особенно интерпретации исторических фактов вырабатывалось в учениках исторической школы Гревса ее основателем. В 20-е гг. Анциферов задался вопросом о научных последствиях «погружения» в бытовую реальность при изучении художественной литературы, имеющей дело, в отличие от пластических искусств, с *духовным видением*. Применительно к ней особое значение имеет исследование местностей предполагаемого действия произведения или родины автора. Оно конкретизирует текст. В отличие от театральных инсценировок или художественных иллюстраций, как правило, навязывающих воображению чуждые представления, экскурсия становится средством «для более полного познания и переживания художественного образа» [Анциферов 1926: 5-6].

Анциферов уподобил экскурсию реальному комментарию. Как и реальный комментарий, она возвращает читателя и исследователя к миру действительности, обяывая их «принести в жертву ему наши фантазии, как бы мы ими ни дорожили. Протест против действительности явится лишь признаком ложности нашего воображения и упорства его. Необходимо признать факт капризности нашей фантазии, ее стремления к туманным образам, дающим ей простор, но далеким от жизненной правды. Мы должны поставить себе задачу: суметь раскрыть свой взор и усмотреть в правдивой обстановке элементы, которые породили интересующий нас образ. Но, по всей вероятности, чаще не произойдет этого разрыва мечты и действительности, и созданный при предварительном вдумчивом чтении образ найдет подтверждение в конкретной обстановке и наполнится новым, ценным содержанием.

Сопоставление художественного образа с явлением, которое вызвало его к жизни, содействовало его образованию, приведет к более полному его постижению» [Анциферов 1926: 8-9].

Возвращаясь к упомянутому выше методологическому спору с формалистами, следует отметить, что

слова Лунца не были Анциферовым забыты в 1944 г. при работе над диссертацией «Проблемы урбанизма в русской художественной литературе». Он расширил и конкретизировал ее название, дав подзаголовок: «Опыт построения образа города – Петербурга Достоевского – на основе анализа литературных традиций», выдвинув тем самым в качестве самостоятельного объекта исследования литературной урбанистической традиции, в рамках которой формировался образ города у Достоевского. Впервые с предреволюционных времен он вернулся к образам величайших европейских городов – Парижу и Лондону, воссозданным хронопической образностью Гюго, Бальзака и Диккенса, чтобы сопоставить их со скучным городским ландшафтом северной столицы в изображении автора «Преступления и наказания». Анциферов отметил отличия романтики «таинственной внешности», характерной для урбанистических пейзажей европейских писателей, предшественников Достоевского, от его «фантастического реализма», предполагающего тайну «внутреннюю» – социальную трагедию столичного русского города второй половины XIX в.

Первые книги Анциферова были замечены критикой. Рецензии на них (в целом положительные отзывы А. Тинякова и отрицательный – Валерия Брюсова) заложили некоторые «каноны» восприятия их содержания и научной ценности. Среди стереотипных определений – и упрек в бессистемности и случайности упоминания некоторых исторических событий, и сведение работы почти исключительно к цитатам из произведений, и «ошибки» в объяснении причин трансформации художественного образа города во времени, и, наконец, интерпретация смысла книг как руководства по литературным экскурсиям.

В действительности «трилогия» Анциферова существенно отличалась от типа книг о городе, его культуре и истории, что выходили в 20-е гг., и почти не имела аналогов. Не путеводитель по местам исторических событий или действия художественных произведений, не обзор архитектурных памятников, не корпус цитат из художественных произведений по теме был результатом исследования. Автор стремился путем углубленного изучения исторических памятников местности и их художественных отражений постигнуть загадки прошлой и современной русской истории. Спустя почти четверть столетия, в ноябре 1949 г. при обсуждении книги Н.И. Ашукина «Москва в жизни и творчестве А.С. Пушкина», Н.П. Анциферов сформулировал свое понимание представленного им в 20-е гг. типа исследования. Самостоятельной его задачей была характеристика того города, «на фоне которого протекала жизнь писателя, в творчестве которого он отражен». Вторая задача – «биографическая, выясняющая роль города в жизни писателя». Здесь важно выяснить, что создано писателем в данном городе, в какой мере его жизнь здесь благоприятствовала творчеству. Наконец, последнее – выявить, как этот город отражен в творчестве писателя. С этой задачей связаны не только созданные художником хронопические образы, отражающие данный город, «но

и думы и мысли писателя» [РГАЛИ] в нем, проясняющие эмоционально-ценностный компонент авторского мировоззрения.

Все годы трудовой деятельности Анциферова сопровождали выдающиеся ученые. В Петроградском Экскурсионном институте, куда Анциферова пригласил декан гуманитарного факультета Гревс, в 1921–1924 гг. с ним работали блестящие философы, историки, этнографы и искусствоведы: Д.А. Золотарев, Б.Н. Брюллов, О.Ф. Вальгауер, Н.В. Вейнерт, О.В. Добиаш-Рождественская, Ф.Ф. Зелинский, А.Я. Пресняков, И.И. Лапшин. В Педагогическом институте бок о бок с ним трудились филологи и историки И.М. Гревс, Л.В. Щерба, Б.М. Эйхенбаум, Е.В. Тарле. В Институте истории искусств к этим именам прибавились С.Ф. Ольденбург, Ю.Н. Тынянов, В.М. Жирмунский, Б.М. Энгельгардт, Н.С. Гумилев, В.Н. Адрианова-Перетц, Г.И. Гуковский, М.Л. Лозинский, Б.В. Томашевский, Н.И. Пунин, А.А. Слонимский, В.Б. Шкловский. Впрочем, связи Анциферова с историками и теоретиками литературы Института – здесь формировалось новое методологическое направление, принятое называть «формальной школой», – установились еще во времена учебы в Петербургском университете на историко-филологическом факультете, где будущие формалисты обучались в пушкинском семинарии Венгерова, а Анциферов – в дантевском семинарии Гревса. Таким образом, первые литературоведческие опыты Анциферова по проблемам урбанизма создавались в широком контексте дискуссии о месте социальной действительности в литературном процессе, развернувшейся под влиянием теоретических работ опоязовцев.

Проблема отношения к внелитературному ряду в начале 1920-х гг. остро ставилась в работах Б.М. Эйхенбаума и Ю.Н. Тынянова, посвященных законам эволюции художественных форм. Психологически-биографический момент творчества интересовал также одного из лучших комментаторов Пушкина Б.В. Томашевского в специфически характерном для гуманитарных наук тех лет аспекте отношения к «литературной легенде», или «преданию». Социальная реальность, учет которой для одних был «вненаучной контабандой», «забеганием с заднего крыльца», для Томашевского, в те годы одного из представителей формального метода, была «литературной функцией» писательской биографии, традиционной спутницей художественного произведения или исторического события [Томашевский 1923: 6].

Томашевский писал свою статью «Литература и биография» (1923) не без оглядки на только что вышедшие из печати книги Анциферова «Петербург Достоевского» и «О методах и типах историко-культурных экскурсий». Он оперировал примерами и терминами, сходными с теми, что были использованы для своих научных целей Анциферовым. При единстве материала – они оба рассматривали «легенду», т. е. факт, не имевший места в действительности, но повлиявший на читательское восприятие произведения, – и при разном подходе к этому материалу они пришли к одинаковым заключениям.

Среди примеров воздействия «легенды» на читателя Томашевский указал «Лизин пруд», *паломничество* к которому стало любимым делом тех, кто уверовал в документальность сентиментальной повести Карамзина. Анциферов, со своей стороны, упоминал *паломничество* к местам пребывания Франциска Ассизского или топосам романов Гюго и Диккенса. По мнению Анциферова, такого рода посещения давали возможность «по части восстановить целое» [Анциферов 1923: 18]: реконструировать образ человека определенной эпохи в условиях, определивших характер его личности. Для Томашевского эти топосы и связанные с ними «легенды» были необходимой «рамкой» художественного произведения. Как историк литературы он ценил в «легенде» способность воссоздать ту психологическую атмосферу, которая окружала произведения. Знание легенды необходимо «постольку, поскольку в самом произведении заключены намеки на эти биографические – реальные или легендарные, безразлично – факты жизни автора» [Томашевский 1923: 8].

Для этих двух ученых, исповедовавших противоположные методологические принципы, «атмосфера» или «психологическая среда», запечатленная легендой реальной местности, представляла значительный культурно-исторический факт, который следует учитывать при составлении реального комментария к художественному произведению. Возможно, на почве одинакового понимания ценностно-эмоционального значения в художественном творчестве предания как формы исторической действительности научно не подтвержденного факта возникли личные симпатии Б.В. Томашевского и Н.П. Анциферова, сохранявшиеся на протяжении более тридцати лет и не оборвавшиеся даже со смертью Николая Павловича.

Со своей стороны, Анциферов испытал влияние научных открытий, сделанных участниками пушкинского семинария Венгерова, в первую очередь, работ Б.М. Энгельгардта, посвященных «Медному всаднику». В докладе Энгельгардта «Историзм Пушкина» (1913) отмечалось своеобразие главного героя поэмы: им стало не реальное лицо, а фальконетов памятник. Докладчик считал, что Пушкину был нужен образ, который бы освободил его от предвзятости суждения и тенденциозности. И поэт нашел его: герой поэмы – «кумир на бронзовом коне» – изначально содержал в себе иносказательную отвлеченность. Для понимания замысла поэмы было важно определить, какой из множества исторических обликов Петра I воплощен в монументе, какой из них художественно освоен Пушкиным. По мысли Энгельгардта, Пушкин избрал для себя в монументальном облике Медного всадника выражение решителя исторических судеб России – лик зачатого Петром «петербургского периода» русской истории.

Идеи Энгельгардта – знакомство с ученым Анциферов поддерживал, сотрудничая с РИИИ, продолжилось оно и в 30-е гг. – вероятно, показались Анциферову конгениальными его собственным наблюдениям. Рассуждения Энгельгардта утверждали научную ценность для литературоведа монументального облика города, став-

шего объектом изображения в беллетристике: в его отвлеченном «лике» символически запечатлелась значимая для населения города политико-экономическая или духовно-культурная идея. Архитектурно-монументальные формы обобщали общественную ситуацию, подвели исторические итоги. Их отвлеченно-символическое выражение можно было считать «посланием» современникам и потомкам, в котором каждый был волен угадать внятное его душе социально-историческое, духовно-культурное содержание.

Дискуссия о смысле «петербургской повести» преодолела рубеж революции и продолжилась в Петрограде на Пушкинском вечере 1921 г., участником которого мог быть Анциферов. Отзвуки дискуссии прозвучали эхом в его исследованиях динамики художественного отражения города. Архитектурные формы и городские панорамы, более других способные обобщать дух и значение исторической эпохи, благодаря этому свойству избирались авторами художественных произведений в качестве самостоятельных действующих лиц, с помощью которых писатели часто решали главные содержательные задачи своего творчества. Сопоставление городского художественного хронотопа с его прототипом вело ученого к выводам, противоположным научным посылкам «разрушителей легенд». «Миф, созданный нашим поэтом (Пушкиным. – Д.М.), не искажение исторической действительности, а ее истолкование и сублимация, – **переключение в символические образы глубоких исторических процессов**» [Анциферов 2009: 13].

Первые книги Анциферова не прошли бесследно. Они оставили след в городском цикле романов Константина Вагинова, в те годы студента РИИИ. Идеи «Души Петербурга» отразились в городских «Столбах» только что окончившего 1-й Педагогический институт Петрограда Николая Заболоцкого. Освященная в работах Анциферова способность местности определять мировосприятие ее населения – власть города над сознанием его обитателей – сильно проявилась в урбанистических мотивах романов, повестей и рассказов Андрея Платонова 1927–1929 гг. В литературоведении следует отметить ряд работ Л.В. Пумпянского, посвященных Достоевскому и Пушкину: «Пушкин и Петербург Достоевского» и «О «Медном всаднике», о Петербурге и его символе». Доклад на тему «петербургской повести» был прочитан Пумпянским в обществе «Старый Петербург» 18 декабря 1925 г., спустя 8 месяцев с момента выхода последней книги Анциферова.

Таковы были научные предпосылки и условия формирования локально-исторического метода, который был обоснован и применен Н.П. Анциферовым в его итоговом диссертационном исследовании «Проблемы урбанизма в русской художественной литературе».

К моменту защиты уже было очевидно, что выбор диссертантом «одной частной темы» из огромного наследия Достоевского и сведение «проблем урбанизма» к образу Петербурга у этого писателя не отвечают требованиям жанра. И Анциферов начал свое слово с предупреждения. Избрав себе один основной объект

исследования, он изучил его всесторонне, привлекая материал писателей-урбанистов Запада, чтобы выяснить «индивидуальность подхода Достоевского». Для определения индивидуальных черт облика самого города у Достоевского он привлек материал, «характеризующий литературные традиции города» [Архив РАН] от Кантемира до современников Достоевского. Анциферов помогал слушателям проследить логику своей исследовательской мысли. От выявления индивидуальности Достоевского как художника-урбаниста на фоне художественных открытий влиявших на него западных писателей она устремлялась к замеченным писателем чертам нового исторического состояния столицы эпохи «трагического империализма».

Иначе говоря, предметом диссертации был не один, а два научных объекта – «*Петербург Достоевского*» и «*Достоевский из Петербурга*». У Анциферова были все основания говорить, что тема города как самостоятельная проблема в литературоведении до него никем еще не ставилась. О чем он и заявил в своем вступительном слове, вызвав необходимое уточнение своего неофициального оппонента Б.В. Томашевского: «Тема города, конечно, старая тема в литературоведении» [Архив РАН]. Новой Томашевскому виделась не тема, а разработанный диссертантом подход к ней: «Тут можно прямо говорить об особом методе в обработке данной темы. Это объясняется тем, что недостаточно быть литературоведом, что бы трактовать тему города. Тут нужна и специальность литературоведа, и историка, и художника – всем этим должен обладать исследователь данной темы». Подход Анциферова требовал «полевого» исследования – «на городе часто легче всего конкретизировать образы литературы» [Архив РАН]. «Город и историю его», как свидетельствовал Платонов в «областном организационном очерке» «Че-че-о» (1928), писатели изучают «пешком». Поэтому реальный хроно-топ более других образов художественного произведения можно комментировать, используя «наличную наглядность».

Отзыв Б.В. Томашевского показал, что его составитель лучше официальных оппонентов понимал значение представленной к защите работы. Причин к тому было множество. Сработало и давнее знакомство двух ученых-ленинградцев, после революции трудившихся бок о бок в одних и тех же учебных заведениях, и установившийся в те годы интерес к исследованиям друг друга. Существовала и общность научных пристрастий. Покинув в середине 20-х гг. лоно формальной школы, переключившись на редакторскую и текстологическую работу, блестящий знаток Пушкина и великолепный архивист, Томашевский стоял у истоков отечественной текстологии, формируя эдичионную стратегию русской классики и вырабатывая научные подходы к ее комментированию. Перебравшись на работу в Москву, он неизменно поддерживал дружеские и научные отношения с Анциферовым. В качестве ученого секретаря Литературного музея и завотделом литературы XIX в. Анциферов неоднократно приглашал Томашевского на обсуждения и научные собрания. Протокол одной такой

встречи с выступлением Томашевского запечатлел не только тезисы доклада, но и его обсуждение, в котором принял участие Н.П. Анциферов. Один момент дискуссии поможет объяснить то особое понимание, которое впоследствии возникло у Томашевского при знакомстве с идеями диссертации Анциферова.

11 февраля 1943 г. докладом Томашевского «Пушкин – историк французской революции» Литературный музей отмечал пушкинские дни. К тому моменту Томашевский уже имел опыт составления биографии поэта в ее многообразных связях с широким культурно-историческим контекстом эпохи. *Вдвинув Пушкина в исторический процесс*, он имел в виду обоснование возникшей перед писателем как общественно-эстетическое требование задачи создать национальную литературу. Открытый Томашевским «историзм» Пушкина трактовался как поиск таких свойств личности героев, которые объясняли бы их индивидуальную неповторимость исторически и социально. Другой чертой пушкинского историзма, по Томашевскому, было обретение поэтом способности сохранять конкретику исторической точки зрения, изображая и прошлое, и настоящее. В докладе для научных сотрудников ГЛМ ученый акцентировал в Пушкине-писателе профессионализм и проницательность историка при работе над историей Французской революции. Выступивший с пространственным комментарием к докладу, Анциферов сделал несколько замечаний, обнаруживших его глубокое – как профессионального историка и пушкиниста – знание материала. Но не исторические штудии поэта привлекли его внимание. Анциферову было важно услышать из уст выдающегося знатока русской литературы подтверждение своей догадки о специфической особенности этого русского писателя. «Ведь Пушкин всем известен как поэт. Мне кажется, что из сегодняшнего выслушанного труда совершенно явствует, что Пушкин был вполне подготовленным историком, который не смог им стать только в силу того, что был исключительный, гениальный поэт. <...> Мне представляется, что историческая наука требует от человека <...> поэтического дара. Историк не есть только ученый. <...> Среди поэтов мы раскрываем невоплотившихся ученых. <...> как велико было в нем (Пушкине. – Д.М.) чувство истории, как глубоко было его понимание истории. <...> Эти основные контуры Пушкина роднят его с тем образом, какой мы хотим теперь видеть. С одной стороны, историк-реалист, а с другой стороны – историк, для которого история не есть что-то прошлое, а то, что в жизни присутствует, и из чего рождается наше будущее, в которое мы вступаем» [ГА РФ].

В заключительном слове после дискуссии в ГЛМ Томашевский заметил, что принимает все замечания Анциферова и полностью разделяет высказанные им наблюдения. Обсуждение доклада Томашевского происходило в период напряженной работы Анциферова над диссертацией. В эти дни на его рабочем столе уже лежали начальные главы второй, «петербургской» части «Проблем урбанизма». Уже проступали очертания финала – последняя глава «Идея Петербурга и Золотой

век» как ответ на вопрос о значении «петербургских сновидений» Достоевского, о природе его исторического дара, раскрывшего в трагическом для его родного города XX в. свои пророческие силы. В конце 1943 г. он предложил Томашевскому ознакомиться со своим уже завершённым трудом и на основании прочитанного – Томашевский начал чтение с финальной главы диссертации – он признал автора достойным степени доктора филологических наук.

Что же открылось Томашевскому в этой работе? Что дало ему основания утверждать, что представленная работа достойна высокого докторского звания, о чем он и заявил Ученому совету? В свете собственных историко-литературных штудий Томашевскому было ясно, что в исследовании коллеги найден язык научного описания, аутентичный художественному языку русской литературы, его типологическим особенностям и своеобразием, отличающему русскую литературу от литературы Западной Европы. Им было сказано буквально следующее. «Эта область работы является оригинально русской областью, и не только в хронологическом отношении (Томашевский обратил внимание присутствующих на то, что впервые тема литературного урбанизма была сформулирована именно в России. – *Д.М.*), но и по самому характеру данной разработки. Западноевропейские работы, насколько мне известно, являются своеобразными работами, скорее краеведческого характера (это отметили и официальные оппоненты), в то время как наши русские работы всегда связаны с глубокими проблемами литературоведения и общей истории культуры» [Архив РАН].

Далее своей мысли Томашевский не развивал и лишь заявил: «Только скромностью Н.П. можно объяснить то обстоятельство, что данный труд, во многих отношениях итоговый труд, сводящий и разрешающий многочисленные проблемы в данной области, а данная область, как видите, необъятна, <...> – только скромностью Н.П. можно объяснить то, что данная работа представляется в качестве кандидатской диссертации. Данная работа и понятие диссертационной работы кандидата – несопоставимы. Н.П. Анциферов давно престал быть кандидатом в области науки» [Архив РАН].

За рамками выступления осталась заветная мысль Томашевского о «специфически русской области» науки и художественного литературного творчества, которой он в течение 30-х гг. занимался применительно к творчеству Пушкина и которая нашла блестящее подтверждение в диссертации соискателя. Эта мысль восходит к тому единому для обоих ученых представлению об особенностях общественного сознания, что сформировалось в недрах «петербургского периода» русской истории. Они были отчасти освещены материалами дискуссии на пушкинском вечере в ГЛМ, где Анциферовым была высказана мысль о нераздельном единстве в русском писателе таланта реалиста и социального историка. «С одной стороны, историк-реалист, а с другой стороны – историк, для которого история не есть что-то прошлое, а то, что в жизни присутствует и из чего рождается наше будущее, в которое мы вступаем». Тома-

шевский, со своей стороны, показал, что новаторство, культурно-историческое значение и место в историко-литературном процессе Пушкина обусловлены его художественным открытием русского «исторического человека» в контексте специфически русского реального исторического хронотопа.

В те годы, когда Анциферов работал над своей диссертацией, ему не раз приходилось касаться этой важнейшей для понимания его работы, темы. Во время состоявшегося в сентябре 1944 г. обсуждения доклада А.Л. Штейна «Своеобразии комедий Островского» по поводу стремления докладчика сопоставить творчество русского драматурга с художественными открытиями его западных собратьев он заметил: «...когда мы обращаемся к сопоставлениям, то следует избегать делать такие выводы: «Вот видите, как на нашу литературу влияла иностранная литература», или – другой момент – выдвигать «мы – выше». Сопоставление необходимо нам для того, чтобы русскую литературу изучать как факт, явление европейской литературы». Но сопоставление необходимо также для выявления специфически русских особенностей художественного творчества: «Думаю, что это черта подходит к социальным проблемам – черта вообще русского ума, а не только ума писателя. Я сейчас вспоминаю, как иностранцы отмечают у русских историков этот редкий для историков вообще интерес к социальным процессам. Когда я читал курс историографии Французской революции во Франции, то такие, как (далее в стенограмме следует пробел для оставшихся не вписанными фамилий иностранных ученых историков. – *Д.М.*) не раз отмечали, что русская история интересуется социальными процессами. Социальная история это есть русская школа. Я хотел это обобщить и сказать, что это – качество русского ума» [ГА РФ].

В этом общем для Томашевского и Анциферова понимании своеобразия русского писателя, сосредоточенного художественно, а порой – и научно, на проблемах национальной истории и сделавшего предметом изображения человека, маркированного хронотопически, т. е. исторически и пространственно, – человека «местного», следует искать источник восхищения Томашевского работой своего коллеги. Это восхищенное одобрение тем более ценно, что за неофициальным оппонентом Анциферова издавна закрепилось мнение как о нелюбимом и справедливом критике.

И все же может показаться странным, что в эпоху, когда социологические схемы вульгарного марксизма торжествовали на официальных трибунах науки, когда общественно-политические оценки марксистских классиков были обязательной частью «ритуала» научного исследования, – что в этих условиях утверждение качеств социального историка в русском писателе могло вызывать какие-либо иные эмоции, кроме естественного «удовлетворения». Однако именно понятие «писатель – социальный историк», примененное Анциферовым к Достоевскому, вызвало одинаковый протест официальных оппонентов. Каждый по-своему, они попытались отделить Достоевского художника от Достоевского социального историка.

Хотя тема города – тема социальная по преимуществу, и в разработке проблем урбанизма у великих писателей сказались их отношение к «острым классовым битвам эпохи», как отметил в своем выступлении официальный оппонент Анциферова В.Я. Кирпотин, все же художник не просто социолог. Писатель – прежде всего, художник со своим углом зрения и воспроизведения действительности. И, в согласии с классиками марксизма, между мировоззрением писателя и его художественным талантом следует установить некую грань. В свете этого «дуализма» идея золотого века у Достоевского вытекала из всего того *трудного, противоречивого и реакционного*, «что есть в мировоззрении Достоевского» и что Анциферов, как указал первый официальный оппонент, предпочел не замечать. «Это облегчает ему его задачу, но вывод-то при этих обстоятельствах получается недостаточно обоснованный и убедительный». Кирпотина не убедило анциферовское соединение исторической идеи Петербурга с мечтой Достоевского о *земном* Преображении города «трагического империализма». «Является, однако, натяжкой, соединение понятия «золотого века» у Достоевского с двумя городами, противопоставленными Петербургу, с Царьградом <...> и Венецией» [ОР РНБ].

Второй официальный оппонент диссертанта А.Г. Цейтлин, со своей стороны, и вовсе не считал Достоевского писателем-социологом. В созданном Достоевским образе Петербурга, по его мнению, сказались «творческая идеология» писателя, подвергшаяся влиянию его религиозно-нравственных убеждений: «Отмечая, что Достоевский не касался <...> уголовной тюрьмы большого города, Н.П. Анциферов не находит объяснения этому факту. <...> Для того чтобы это сделать, ему, очевидно, нужно было припомнить, что Достоевский не является художником-социологом, что он стремится к нравственному наказанию своих преступных героев». Поэтому все сказанное Анциферовым о «Золотом веке», по мнению второго официального оппонента, выпадало из темы диссертации: «Конечно, Венеция и Золотой Рог – составляют в представлении Достоевского некоторую антитезу Петербургу, однако и здесь анализ выходит за грани поставленной Н.П. Анциферовым темы и нуждается в привлечении другого материала» [ОР РНБ: Ф. 27. Ед. хр. 84. Л. 353].

Цейтлин имел в виду то, что исходное положение Анциферова, процитированное им в начале отзыва, – «идеи Достоевского – это силы, рожденные Петербургом», – недостаточно убедительно, чтобы вписать «Небесный Иерусалим» в созданный Достоевским образ Петербурга эпохи капитализма. То же мнение высказал и В.Я. Кирпотин. По его словам, «смысл творчества Достоевского <...> слишком спиритуализируется <...>. Неверные положения в работе Н. Анциферова необходимо устранить» [ОР РНБ].

Кирпотин был прав. Анциферов действительно делал из «своего частного материала всеобщие выводы применительно ко всему творчеству Достоевского» [ОР РНБ]. Этим *частным материалом* Кирпотину показалась духовная атмосфера города, которую породил комплекс

природно-географических и социально-политических форм его существования. *Частным* следствием для него выглядело их воздействие на всякого, кто с этими формами даже кратковременно соприкасался. *Частной* особенностью было, по его мнению, свойство монументального города символически запечатлеть свое историческое предназначение, или «идею». *Частным* свойством представлялся ему талант социального историка (краеведа) у писателя, с сердечным переживанием воспринимающего местность. *Частной* способностью было и умение Достоевского «целокупно» и вместе с тем конкретно-индивидуально воспринимать действительность. *Частным* явлением было его стремление не к типизации, а к символизации явлений жизни в «мифе», объясняющем бытовое и историческое поведение населения. И потому идея Преображения города как исторический прогноз того будущего, к которому идет город и страна путем неизбежных преступлений и наказаний, – идея, которую Анциферов вслед за Достоевским «прочитал» в каменной летописи Петрополя, была отброшена его оппонентами, не обладавшими способностями «*поэта-историка*».

Анциферов хотел предпослать своей монографии эпиграф, заимствованный у изучаемого писателя: «Будучи больше поэтом, чем ученым (у Достоевского – художником), я вечно брал темы не по силам себе». В чем и сознался, повторив в заключительном слове цитату дословно. То не было исповедью собственной слабости как ученого, а утверждением присущего ему как исследователю своеобразия и даже научного преимущества – справедливое мнение, которое подтвердило выступление второго неофициального оппонента. Им был Е.Б. Тагер, в те годы старший научный сотрудник ИМЛИ, кандидат филологических наук.

Ему лучше других удалось сформулировать существо научного открытия, сделанного диссертантом. В своем выступлении, как кажется, предварительно не записанном, о чем свидетельствует естественность и эмоциональность изложения, было подчеркнута, что Анциферов впервые в науке о литературе представил проблему урбанизма как самостоятельный ее раздел. Она разрешалась им в единстве трех самостоятельных аспектов. Первый – отражение ликов города в художественном произведении, – и «это блестяще показано Н.П. на очень большом историческом материале, то, что смог сделать Н.П., как никто другой» [Архив РАН]. Второй представляет город как «социально-историческое содержание. Город не только в своей пейзажно-изумительной видимости дан нашему сознанию. Это есть и некое понимание действительной истории, и Петербург в этом отношении представляет собой нечто особое по насыщенности этого рода материалом. Совершенно естественно, что эта сторона работы вошла в поле зрения Н.П., причем она-то и вынудила его совершенно сознательно поставить социальные идеалы Достоевского, которые решаются в заключительных главах диссертации» [Архив РАН].

И, наконец, третий аспект, который Тагеру казался самым существенным, состоял в представленном Анци-

феровым опыте изучения города как «целостной образной структуры художественного произведения, не как частный мотив, отраженный в литературном произведении, а структурно-конструктивный, определяющий момент в творчестве художника» [Архив РАН].

Последнее обстоятельство, заметил выступавший, не позволяло ему согласиться с официальными оппонентами, считавшими рассмотрение проблемы «золотого века» в урбанизме Достоевского выходом за пределы темы. Это было бы так, сказал он, «если бы о Петербурге говорилось как о частном изобразительном мотиве. Но в том-то и дело, что образ Петербурга контрастирует в себе самом с такой единой, вполне конкретной, материальной, образной точкой (с образами города «золотого века» – Венецией и Царьградом. – Д.М.), что мы здесь имеем дело с такими существенными сторонами художественного миропонимания, что игнорировать этот образ <...> просто нельзя» [Архив РАН].

Что дали Анциферову как историку литературы выявленные грани подхода к в общем-то новой теме города? Они позволили ему наблюдать «воочию, как уничтожается та грань между сюжетом – в пределах психологии поведения и воли – и, с одной стороны, представлением о содержании всего произведения и, с другой стороны, стихией изобразителя, описателя. Эта грань между описательной, изобразительной стороной произведения и тем, что может быть названо драматическим, – эта грань реально никогда не существует. Она искусственно устанавливается нами в силу несовершенства наших навыков. Н.П. на теме своей диссертации – Петербург Достоевского – эту самую грань переступает». По словам Тагера, Анциферов избежал искусственных ограничений *лабораторно-научного подхода* к художественному творчеству. Тема города была рассмотрена им в необычном облике – как «некоторое социально-историческое сопереживание» [Архив РАН].

Опыт историка помог Анциферову увидеть *объективное историческое содержание* природно-архитектурного ландшафта, краеведческий опыт подсказал *ценностно-эмоциональное содержание*, которым наделяны его художественные воплощения. Был ли знаком Анциферов с исследованием М.М. Бахтина «Формы времени и хронотопа в романе», над которым тот работал во второй половине тридцатых годов? Вероятно, нет. Хотя Анциферова и Бахтина связывало знакомство, начавшееся в Ленинграде и продолженное в ссылке на Медвежьей горе, в конце 30-х Анциферов был под следствием и отбывал свою последнюю, третью ссылку. Однако присущий им обоим деятельностно-ценностный подход к художественному творчеству мог породить общие выводы.

Бахтин было замечено, что хронотопы определяют художественное единство литературного произведения в его отношении к действительности и всегда включают в себя ценностный момент. «Хронотоп как преимущественная материализация времени в пространстве является центром изобразительной конкретизации, воплощения для всего романа. Все абстрактные элементы романа – философские и социальные обоб-

щения, идеи, анализы причин и следствий и т.п. – тяготеют к хронотопу и через него наполняются плотью и кровью, приобщаются художественной образности. Таково изобразительное значение хронотопа» [Бахтин 1975: 399].

Философско-эстетические выводы, сделанные Бахтиным на широком материале развития жанра европейского романа, Анциферов подтвердил на примере произведений Бальзака, Диккенса, Достоевского благодаря разработанной им методологии историко-литературного анализа конкретного урбанистического хронотопа.

Тагер высоко оценил то, обнаруженное Анциферовым, особое ценностно-эмоциональное содержание, которое содержал образ Петербурга Достоевского, то содержание, которое, как считал М.М. Бахтин, может стать доступным только в результате *абстрактного* анализа. Задача, которую Анциферов воспринял от своего учителя И.М. Гревса на культурологических семинариях и которую он как ученый-историк неотступно решал в своей научно-теоретической и практической преподавательской и экскурсионной деятельности, была задача преодоления естественных ограничений и даже ошибок абстрактного научного подхода к литературным и историческим памятникам. С этой задачей, как утверждает отзыв Тагера, Анциферов блестяще справился.

Предложенная им методология позволяла работать с хронотопами Достоевского не чуждыми «художественному телу» «хирургическими» инструментами научной абстракции, но *одноприродными* средствами краеведческого собирания и наблюдения, накопления и соположения фактов, вживания в источники реальных впечатлений, что некогда поразили Достоевского и его героев. Кстати, на последнее обстоятельство обратил внимание Кирпотин и поставил диссертанту в упрек: «...иногда автор в своем изложении слишком сливается с Достоевским», не подозревая, что это обвинение Анциферов мог бы поставить себе в научную заслугу. Кирпотина же оно вело к иному заключению: «...неверные положения в работе Н. Анциферова необходимо устранить» [ОР РНБ].

Вслед за Достоевским Анциферов исследовал город «пешком». Благодаря предварительной научной проверке городского «маршрута», где заранее были намечены важнейшие «точки» и «углы» наблюдений, им было достигнуто беспрецедентное единство исследовательского видения реальности с позицией писателя. Ученый вошел внутрь сложнейшего образно-драматического единства художественного произведения, не разрушив его целостности, и оно предстало как динамическое взаимодействие творческих волей двух великих «художников» – материальной природы мира и его человеческой духовно-психологической ипостаси.

Тагер подчеркнул, что Анциферов подошел в своем анализе к тому моменту, когда следовало дать прямые выводы, касающиеся системы воспроизведения действительности и принципов соотношения героев Достоевского и той среды, в которой герой действует. Ведь диссертант собрал для этих обобщений «чрезвычайно интересный и соблазнительный материал».

Анциферов действительно не стремится к выводам, которые, как сказал Тагер, расширяли бы «наши горизонты» — даже тогда, когда они «напрашиваются». Его работы создают иллюзию перечислительности, оставляют ощущение недоговоренности; рассматривая научный объект, они указывают глубину проблемы, но не стремятся ее исчерпать. Концептуальные обобщения «растворены» и теряются в описании и перечислении. Он избегает «авторитетным авторским словом» «завершать», т. е., в терминах Бахтина, лишать развития соборный им «чужой» материал. И все же этот научный стиль Анциферова не был следствием недостатка способностей его как ученого. Это был его сознательный выбор — следствие разработанного им метода локально-исторического исследования беллетристики.

«Поэт», призванный в помощники ученому, оберегает живое художественное созерцание, полное мысли, однако не абстрактное, а потому не разделяющее ничего и ни от чего не отвлекающееся. «Поэтический» взгляд улавливает образ «целокупно», в то время как элементы абстрактного научного мышления проявляются в его исследовании лишь в структурном делении и соположении наблюдений, тем самым в минимальной степени нарушая целостность восприятия художественного мира. Поэт, соседствующий с ученым в момент историко-литературного «эксперимента», создает тот особый *творческий хронотоп*, в котором происходит *обмен произведения с литературоведом* — с историческим странством исследователя.

Особенности научного стиля Анциферова можно было бы отнести к явлению «автоцензуры» — следствию его жизненного трагического опыта. Более вероятно другое объяснение. «Идиографический» подход ученого к исследуемому материалу предполагал строго определенную форму участия исследователя в том диалоге, что начал художник с жизнью. Исследователь должен был добровольно принять на себя роль, предполагающую его исключительную «тактичность» по отношению к каждому из «собеседников» и желание принять и понять их точку зрения. Такой «диалогичный», «драматически-поэтический» подход противоположен «самозванному серьезничанью» [Паньков 1997: 89] науки, стремящейся к авторитетным обобщениям и непрерываемой, мертвенной абстракции общих выводов. Живущий в Анциферове социальный историк требовал от него как литературоведа накопления материала и предельной конкретности описания; момент выводов и обобщений им относился к неопределенному будущему, когда собранные и соположенные факты проявят свою историческую *действенность*.

В заключительном слове Анциферов откликнулся на обращенную к нему Тагером просьбу прокомментировать свою «научно-теоретическую сдержанность». И сделал это в свойственной ему манере: «Сегодня предстоит защита еще одной диссертации, ввиду чего я прошу разрешения у моих оппонентов ограничиться ответом только на один вопрос, который просто мне лично наиболее интересен. Это как раз вопрос о «золотом веке» [Архив РАН].

Этот вопрос он разрешал привычным для него соположением наблюдений. Первое было сделано при изучении текстологии «Преступления и наказания». В черновых тетрадях Достоевского есть описание, где Раскольников «стоит на мосту и смотрит на понурый Петербург, который был проникнут «духом немым и глухим», и дальше говорится (в стенограмме следует пропуск нескольких слов. — *Д. М.*) слышит речь камней Венеции, Золотого Рога, которые вопиют... И Достоевский указывает, что Раскольников после совершения убийства уже считал, что он не вправе возвращаться к мысли о Венеции и о Золотом Роге» [Архив РАН].

Второе наблюдение касалось восприятия города самим Анциферовым.

Он уже упоминал о своем обновленном взгляде на переживший блокаду город, который он посетил весной 1944 г. Картины Петербурга, нарисованные Достоевским, подчас исключительно мрачные, вновь показались ему узнаваемыми не только на страницах его романов, но и на реальных «пыльных, душных, туманных, мокрых, улицах» послеблокадного Ленинграда. Эти улицы, безусловно, некогда были прямыми возбудителями творчества писателя. Но если войти с этим «возбудителем» в *непосредственное соприкосновение*, то ощущение будет совершенно иное. «Я недавно почувствовал это поразительное ощущение Петербурга, ходил по его улицам в белые ночи и вывел заключение, что, несмотря на все изменения, несмотря на реконструкцию Сенной площади и пр. Петербург Достоевского в нем продолжает ощущаться. В Петербурге Достоевский видел большую идею, ради которой он прощал ему его мучительные стороны» [Архив РАН]. Сейчас он вернулся к этому воспоминанию, чтобы заключить свое выступление: «Я думаю, что красота белой ночи несовместима с тем, что нарушает гармонию мира. Эти перспективы, это сияние над Петербургом, который отражает мировую культуру, — его чувствовал Достоевский» [Архив РАН].

Этим ответом Анциферов ограничился.

Мысль, высказанная Томашевским, была повторена вторым неофициальным оппонентом Е.Б. Тагером: «Я присоединяюсь к словам профессора Томашевского, считающего, что действительное понятие диссертации и той в высокой степени интересной и содержательной работы, которая лежит перед нами, действительно несоизмеримые понятия» [Архив РАН]. По существу содержания диссертации он заключил: «Я хочу здесь подчеркнуть здесь существеннейшее <...> методологическое значение работы Н.П. Анциферова, действительно <...> открывающего новую страницу в нашем литературоведении, и страницу, обязывающую, чтобы она была продолжена общими усилиями работниками литературной науки» [Архив РАН].

Были ли приняты мнения и оценки неофициальных оппонентов ученым собранием? Отчасти — да. Об этом свидетельствует отзыв А.Г. Цейтлина, где в заключительных строках выражается поддержка публикации диссертационного исследования Анциферова. По-видимому, между Государственным издательством художественной литературы и Анциферовым был даже

заключен договор об издании текста диссертации. Однако при жизни ученого это не осуществилось. Последняя по времени попытка опубликовать исследование была предпринята уже после смерти ученого. Среди переданных С.А. Гарелиной (второй женой Н.П. Анциферова) материалов в фонде ученого Российской национальной библиотеки сохранился датированный 26 мая 1960 г. автограф рекомендации Л.П. Гроссмана к изданию работы: «Можно только присоединиться к положительным отзывам о работе Н.П. Анциферова «Проблемы урбанизма в русской художественной литературе» таких авторитетных ученых, как В.Я. Кирпотин и А.Г. Цейтлин, и к заключению Ученого совета Института мировой литературы <...>. Книга такого оригинального, талантливого и тонко эрудированного исследователя, как покойный Н.П. Анциферов, встретит несомненное сочувствие в широком кругу наших читателей, работающих в области художественной культуры, литературы и искусства» [ОР РНБ]. Однако кандидатская диссертация Анциферова, названная его ученицей и биографом О.Б. Враской «особенно ценной» [Враская 1982: 313], ни при жизни Николая Павловича, ни после передачи основного корпуса архива, согласно его воле, в Российскую национальную библиотеку, опубликована не была.

Сейчас, когда издание итоговой работы ученого «Проблемы урбанизма в русской художественной литературе», наконец, осуществлено, можно вернуться к сформулированной Е.Б. Тагером научной задаче.

Урбанистическая проблематика историко-литературных исследований Н.П. Анциферова, зародившись в Петербурге, в градоведческих семинариях И.М. Гревса, всю жизнь оставалась его главным научным интересом. Последний период жизни Николая Павловича на первый план выдвинул разработку локально-исторического метода в литературоведении – «литературоведческого урбанизма». Научный метод конкретного историко-литературного анализа, представленный Анциферовым в его диссертационном исследовании, не потерял научной актуальности и сегодня, когда гуманитарные науки освободились от догматизма теории и обрели вкус к первоисточнику.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 07-04-00116а «Русская литература 1920-1930-х гг. и краеведение (историко-культурный и идейно-творческий аспекты)».

Литература

- Анциферов Н.П.* Беллетристы-краеведы (Вопрос о связи краеведения с художественной литературой) // Краеведение. 1927. Т. 4. № 1.
- Анциферов Н.П.* Из дум о былом: Воспоминания / сост., вступ. ст., прим. А.И. Добкина. М.: Феникс: Культурная инициатива, 1992.
- Анциферов Н.П.* О методах и типах историко-культурных экскурсий. Пг.: Культурно-просветительское товарищество «Начатки знаний», 1923.
- Анциферов Н.П.* Проблемы урбанизма в русской художественной литературе. Опыт построения образа города – Петербурга Достоевского – на основе анализа литературных традиций / вступ. ст. Н.В. Корниенко; сост., послесл. Д.С. Московской. М.: ИМЛИ РАН, 2009.
- Анциферов Н.П.* Пути изучения города, как социального организма. Опыт комплексного подхода. Л.: Сеятель, 1925.
- Анциферов Н.П.* Теория и практика литературных экскурсий. Л.: Сеятель, 1926.
- Архив РАН. Ф. 397. Оп. 1. Ед. хр. 126. Л. 90, 103, 109-113, 115-116, 118.
- Бахтин М.М.* Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худ. лит., 1975.
- Враская О.Б.* Архивные материалы И.М. Гревса и Н.П. Анциферова по изучению города // Археографический ежегодник за 1981 г. М.: Наука, 1982.
- ГА РФ. Ф. А-629. Оп. 2. Ед. хр. 114. Л. 2об. –3.
- ГА РФ. Ф. А-629. Оп. 1. Ед. хр. 251. Л. 5–5об.
- Гревс И.М.* Город как предмет краеведения // Краеведение. 1924. Т. 1. № 3.
- Гревс И.М.* История в краеведении // Краеведение. 1926. Т. 3. № 4.
- Ключевский В.О.* Соч.: в 9 т. Т. 1. М.: Мысль, 1987.
- Литературный дневник // Красная газета. Вечерний выпуск. 1922. № 33, 2 ноября. Без подписи.
- ОР ГЛМ. Ф. 349. Оп. 1. Д. 55. Л. 3.
- ОР ИМЛИ. Ф. 427. Оп. 2. Д. 4. Л. 66.
- ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 31. Л. 21 об.
- ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 84. Л. 353.
- Паньков Н. М.М.* Бахтин: ранняя версия концепции карнавала // Вопросы литературы. 1997. № 5.
- Пумпянский Л.В.* Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. М.: Языки русской культуры, 2000.
- РГАЛИ. Ф. 1890. Оп. 3. Ед.хр. 40. С. 1-2.
- Томашевский Б.В.* Литература и биография // Книга и революция. 1923. № 4.

РЕГИОН КАК ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА И ОБЪЕКТ НАУКИ О ЛИТЕРАТУРЕ

Л.В. Полякова

В «Набросках статьи о русской литературе» А.С. Пушкин заметил: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости». Именно такой взгляд на личность человека продиктовал великому поэту и еще одно утверждение, уже давно ставшее не только историко-литературным фактом, философской истиной, но и житейской мудростью, степень освоения которой определяет наше отношение и к Отечеству, и к национальной истории, и к «малой родине». В письме к П.Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г. из Петербурга в Москву он писал: «...клянись честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал» [Пушкин 1964: т. 7, с. 225; т.10, с. 596-598]. Эту своеобразную клятву Пушкин произносил как ответ на размышления своего друга П.Я. Чаадаева об исторической миссии России, о психологии русского человека в сравнении с европейцем.

1 декабря 1829 г., в период своего «затворничества», Чаадаев, как известно, поставил точку в незавершенном обстоятельном письме к соседке по имени Е.Д. Пановой. Письмо разрослось до статьи, которая и была опубликована в «Телескопе» в 1836 г. (№ 15, с. 275-310) под названием «Философическое письмо к г-же ***». В ответ на ее «религиозные сомнения» он затронул давно интересовавший его вопрос о значении христианства, о необходимости усвоения для России опыта европейской цивилизации.

Автор этого, как принято его называть, «первого философического письма» дал весьма нелестную характеристику российской действительности. Для большей наглядности оценок Чаадаева процитируем «письмо» подробнее: «Мы все как будто странники... Мы живем в каком-то равнодушии ко всему, в самом тесном горизонте, без прошедшего и будущего. Если ж иногда и принимаем в чем участие, то не от желания, не с целью достигнуть истинного, существенно нужного и общего блага, а по детскому легкомыслию ребенка, который подымается и протягивает руки к гремушке, которую завидит в чужих руках, не понимая ни смысла ее, ни употребления... Мы принадлежим к нациям, которые, кажется, не составляют еще необходимой части человечества, а существуют для того, чтоб со временем преподать какой-нибудь великий урок миру... В наших головах решительно нет ничего общего; все в них частно, и к тому еще не верно, не полно. Даже в нашем взгляде я нахожу что-то чрезвычайно неопределенное, холодное, несколько сходное с физиономиею народов, стоящих на низших ступенях общественной лестницы. Находясь в других странах и в особенности южных, где лица так

В статье формулируется предмет филологической регионалистики как гуманитарного знания, определяется его тип, анализируется литературоведческий дискурс, соотношение с историей литературы. Осуществлена попытка дифференциации понятий «регионалистика», «регионоведение», «краеведение» («краезнание»), обращено внимание на трудности методологического характера в процессе формирования литературоведческой регионалистики как отрасли филологии.

Ключевые слова: гуманитарные науки, регионалистика, прикладное литературоведение, «край», «регион».

оживлены, так говорящи, я сравнивал не раз моих соотечественников с туземцами, и всегда поражала меня эта немота наших лиц... Я совсем не хочу сказать, что у нас только пороки, а добродетели у европейцев; избави Боже! Но я говорю, что, для верного суждения о народах, надобно изучить общий дух, их животворящий; ибо не та или другая черта их характера, а только этот дух может вывести их на путь нравственного совершенствования и бесконечного развития... Отшельники в мире, мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него, не приобщили ни одной идеи к массе идей человечества; ничем не содействовали совершенствованию человеческого разума и исказили все, что сообщило нам это совершенствование. Во все продолжение нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей: ни одной полезной мысли не возросло на бесплодной нашей почве, ни одной великой истины не возникло среди нас... Не знаю, в крови у нас есть что-то отталкивающее, враждебное совершенствованию...» [Западники 40-х гг. 1910: 3, 4, 6, 9-11].

Письмо получило преимущественно негативный резонанс. П.Я. Чаадаев был официально объявлен сумасшедшим. В письме «Къ...» 7 августа 1837 г. В.Г. Белинский задавался вопросом о том, полезна ли вообще политика для России. «Вино полезно для людей взрослых и умеющих им пользоваться, — писал он, — но губительно для детей, а политика есть вино, которое в России может превратиться даже в опиум» [Западники 40-х гг. 1910: 112]. А.И. Герцен в «Дневнике» в 1842 г. записал: «Спор с Чаадаевым о католицизме и современности; при всем большом уме, при всей начитанности и ловкости в изложении и развитии своей мысли, он ужасно отстал... Это голос из гроба, голос из страны

смерти и уничтожения. Нам странен этот голос...» [Западники 40-х гг. 1910: 196].

Обстоятелен в ответе Чаадаеву был Пушкин. 19 октября 1836 г. в письме к нему он писал: «...я далеко не во всем согласен с вами. Нет сомнения, что Схизма отделила нас от остальной Европы и что мы не принимали участие ни в одном из великих событий, которые ее потрясли, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас тылу... нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех... У греков мы взяли Евангелие и предание, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева... Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы – разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие – печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, – так неужели все это не история, а лишь бледный полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал... Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – по истине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши исторические воззрения вам не повредили... Наконец, мне досадно, что я не был подле вас, когда вы передавали вашу рукопись журналистам...» [Пушкин 1949: 866-868].

Пушкин и Чаадаев говорили об особенностях России, и, обратим внимание, Пушкин употребил как самостоятельные понятия «отечество» и «история». Собственно эти оценки, с одной стороны, Чаадаева, с другой – Пушкина о русском человеке, «жизнетворящем» «общем духе» народа, о национальной истории, России, отечестве и составляют ментальные черты географического, этнического, социально-бытового, пси-

хологического, характерологического, историко-культурного, экономического, политического, духовного пространства, которое вмещается в наши представления о крае, регионе, о нашем месте в нем. Оно, пространство, претендует на осмысление его в рамках особой науки, постижение которой ведет нас к пониманию того, что «история наших предков» – это и есть *МОЯ* история, и *Я* являюсь частью жизни того или иного локально-исторического края.

В последние два-три десятилетия под воздействием, с одной стороны, процессов глобализации общественного сознания, с другой – подъема национального самосознания, осознания единства и специфичности *Я* как существа, противоположного осознанию внешнего мира, в этих условиях актуальным и методологически обоснованным становится не только выявление общих, единых типологических характеристик, но и не в меньшей степени анализ специфических особенностей регионально-исторического развития, что и является одной из задач *регионалистики* как гуманитарной науки. Предметом ее изучения является жизнь региона в его историческом освещении. Задача *филологической регионалистики* – с использованием филологического инструментария системно исследовать и описать особенности характера, содержания, закономерностей развития жизни регионов в их историческом движении. И, на первый взгляд, здесь все понятно.

Литературоведческое краеведение, если остановиться именно на нем подробнее, – один из путей познания особенностей жизни региона, именно с опорой на тематические и жанровые классификации произведений; структурно-поэтический анализ текстов; литературно-критические, текстологические реалии; комментирование, толкование, издание, составление научной библиографии и написание научной биографии писателей. В процессе постижения филологической регионалистики возможно создать представление о месте того или иного края в истории всей отечественной культуры и литературы, о литературе края как об одном из важнейших компонентов культуры региона, об основных периодах становления и развития региональных литературных традиций. При этом надо иметь в виду, что отклики самих писателей о крае недостаточно лишь констатировать: следует в каждом отдельном случае учитывать ситуацию и обстоятельства, условия, в которых возникали те или иные характеристики и оценки. Тогда станет понятным, почему, например, А. Платонов оценивал тамбовскую жизнь однозначно негативно, а О. Мандельштам, спустя менее десятилетия, столь же однозначно пропел оду зимнему Тамбову.

В настоящее время существует несколько и весьма не схожих определений «комплекса научных дисциплин, различных по содержанию и частным методам исследования, но ведущих в своей совокупности к научному и всестороннему познанию края», «всестороннего изучения... какой-либо определенной территории, проводимого на научной основе, причем объектами изучения являются: социально-экономическое, политическое, историческое и культурное развитие микрорайона, села,

города, района, области, природные условия и т. д.», «области науки, которая находится на пересечении интересов специалистов по истории литературы, историческому краеведению, этнографии, фольклору и лингвистике» [Милонов 1985: 3; Стародуб 2003: 6]. Как явствует из приведенных и других аналогичных определений, краеведение – это «научная дисциплина», процесс изучения, «область науки на пересечении». Ясно, что речь идет о прикладном и пограничном характере науки, обращенной к изучению жизни края, региона, и эти понятия в принципе тождественны, как тождественны обозначения научных дисциплин: *краеведение, краеведение, краеведение, краеведение, краеведение*. Важно подчеркнуть: они реализуют себя в отдельности и вместе, полисемантические, полифункциональны и синкретичны, направлены на изучение края. Они пересекаются, но не взаимоотменяются. Однако *регионалистика*, в частности филологическая, литературоведческая, как отрасль гуманитарных наук имеет более артикулированный вектор движения, развития – через познание особенностей края к постижению тайн и загадок конкретных открытий в той или иной научной сфере, к получению нового научного знания. Например, через изучение истории Петербурга – к пониманию «маленьких трагедий» А.С. Пушкина или романов Ф.М. Достоевского.

Помимо собственно научной сферы регионалистики, частных ее разделов, существует комплекс учебных дисциплин, связанных с изучением специфики края, и среди них – литературное краеведение как отрасль литературоведческой науки, существующая наравне с историей литературы, теорией литературы, литературной критикой или текстологией. Сегодня не потерял актуальности подход Н.С. Травушкина, рассматривавшего литературное краеведение в системе литературоведческих наук и определявшего его следующим образом: это «та же история литературы, но отличающаяся особым подбором материала, особым аспектом его рассмотрения» [Травушкин 1967: 162]. В научной и научно-популярной литературе эксплуатируются и иные термины: «литературоведческое краеведение» (именно под таким названием помещена специальная статья в Краткой литературной энциклопедии (М., 1967. Т. 4), «краеведческое литературоведение» и др.

Реальные затруднения общетеоретического характера имеет работа над проблематикой литературоведческой регионалистики, в том числе учебной. Первые затруднения, встречающиеся на пути изучения этой отрасли науки, повторимся, имеют чисто терминологическое свойство. Как предпочтительнее назвать не только науку, но и учебный предмет, связанный с изучением территориальной литературы и литературы о той или иной территории, регионе, крае, если в научной литературе исторически существовало и продолжает существовать множество определений: «краевое, местное литературоведение», «краевая литература», «литературоведческое краеведение», «региональное изучение литературы», «областная литература», «литература края», «территориальная литература», «литературный регионализм», «локальное литературоведение» и т.п. – поня-

тия, явно по смыслу несовпадающие? В приведенных обозначениях, как и в работах специалистов в целом, как видим, не дифференцированы сама литература, принципы ее изучения и собственно наука о литературе. Видимо, надо согласиться с Н.А. Милоновым в том, что более привычным, устоявшимся следует считать понятие «литературное краеведение»: оно проще в употреблении, в нем выделен объект изучения в краеведческом плане – литература края. Однако, на наш взгляд, логично это «краеведение» или «краеведение», познание края через изучение литературы рассматривать как часть, отрасль не литературоведческой науки в целом, как утверждает Н.А. Милонов, а лишь конкретно *истории литературы*, изучение которой естественно никогда не исключало и не исключает опоры на литературную теорию. Потому ведущими методологическими принципами изучения литературы в аспекте литературного регионализма остаются два – историко-литературный (с учетом основных тенденций развития русской литературы) и региональный (с опорой на историко-литературный краеведческий материал).

Кстати, в статье двадцатипятилетней давности «Проблемы регионального изучения литературы» известный литературовед П.В. Куприяновский предложил рассматривать пять направлений, составляющих единый региональный принцип изучения литературы: изучение жизни и творчества местного писателя; изучение писателя-классика (крупного писателя) в плане регионально-краеведческого начала; исследование литературной жизни в области, крае, регионе; наша область (край, регион) в художественной литературе; история развития литературы в крае [Русская литература 1984]. И это оптимальный подход.

Второе, не менее серьезное затруднение для формирования литературоведческой регионалистики как отрасли науки связано с определением границ понятий «край», «регион». Уточним: в новейшие образовательные стандарты по литературе, как и по истории, географии, культуре, введен именно «*региональный*» компонент, а программа по литературному краеведению существует в рамках «Курса регионального компонента базисного учебного плана «Краеведение». На начальном этапе исследования или изучения этого компонента предполагается обязательное уточнение территориальных понятий. И здесь следует выбрать свой ранжир, свой подход, но он, этот подход, должен быть обязательно оговорен, ибо край, регион в своих географических границах может быть сужен до отдельного сельского района или города, а может охватывать целые материи и континенты. И дело не только в этом, но и в трудности идентифицировать, определить, распознать в общем историко-национальном, историко-культурном контексте собственно, скажем, тамбовский материал. В культурологии понятие «край», «земля» аналогично понятию «региональная культурная среда», географически обособленному, географически конкретному историко-культурному ландшафту, в котором различаются *региональные традиции*, местный колорит, специфика этнических реалий, быта, живой разговорный язык,

даже анималистика (например, преобладание той или иной породы домашних животных), ономастика (например, преобладание конкретных имен и фамилий) или топонимика (характеристика географических названий края).

В процессе исследования литературы, литературной жизни региона, региональной проблематики в художественной литературе предстоит преодолеть и еще одно немалое препятствие: определить, какими критериями измерять степень причастности писателя и его творчества к литературе края? Достаточно ли одного факта его рождения или непродолжительного проживания на этой земле? Нужны ли более фундаментальные контакты творца с жизнью края? Какими критериями определять региональный, локально-исторический колорит того или иного литературно-художественного текста?

Литературно-художественная, литературоведческая регионалистика, в том числе и как учебная дисциплина, предполагает изучение литературы, литературной жизни края в его исторических и современных географических границах. Методика исследования обязательно учитывает изучение междисциплинарных связей (литературы с историей, языком, фольклором, живописью, музыкой, архитектурой). В процессе выработки критерия отбора авторов и их произведений с целью выявления каких-то историко-литературных закономерностей для монографического исследования следует ориентироваться, прежде всего, на литературно-художественную классику, т. е. писателей и их произведения, которые в те или иные историко-литературные периоды определяли и определяют ведущие направления в национальном искусстве в целом, служат базово-накопительным художественным «капиталом» для утверждения традиций или новаторских решений. И это еще одно затруднение на пути формирования литературоведческой регионалистики как области гуманитарной науки.

В научной литературе понятие «классика», в том числе литературная, не имеет четкого, бесспорного определения и остается проблематичным. Французский мыслитель XIX в. Ш. Сент-Бёв в работе «Что такое классик?» уточнял: «Понятие «классик» включает в себе нечто такое, что бывает длительным и устойчивым, что создает целостность и преемственность, что постепенно складывается, передается и пребывает в веках», классик отвечает «мудрости, умеренности, логичности», он «способен придать жизни очарование» [Сент-Бёв 1970: 310]. Сент-Бёв ввел понятия «высший разряд классиков», «писатель среднего ранга», даже «малюсенький классик». Современные исследователи оперируют понятиями «сверхклассик», «классик первого ряда», «классик второго ряда», «просто классик», «полуклассик» [Кормилов 2001]. И, понятно, все эти обозначения весьма зыбки. Но понятно и другое: деятеля-классика, как правило, кроме выдающегося таланта, всегда отличает чувство родины, России, ее истории и национальной специфики. «Писатель, – утверждал М.Е. Салтыков-Щедрин, – которого сердце не переболело всеми болями того общества, в котором он действует, едва ли может претендовать на значение выше посредственного и очень скоропреходящего» [Салтыков-Щедрин 1933: 163].

Степень связи писателя, к примеру, с Тамбовским краем, регионом определяется содержанием и характером конкретных его произведений, создающих вместе с произведениями других авторов «тамбовский текст» русской литературы, существующий по аналогии с «петербургским», «московским», «пермским», «елецким», «сибирским», «крымским» и другими текстами, характеризующимися специфическими топонимическими сюжетами, героями, поэтикой, когда даже сам «край» может восприниматься как образ или герой литературного произведения: лирические и драматургические произведения Державина тамбовского периода, «Тамбовская казначейша» Лермонтова, лирика Баратынского, написанная в Маре, «Раскаты Стенькина грома в Тамбовской земле», «Оскудение. Очерки, заметки и размышления тамбовского помещика» Терпигорева, поэзия из сборников «Песни старости», «Прощальные песни» Жемчужникова, «Печаль полей» Сергеева-Ценского, «Уездное» Замятина, «Город Градов» Платонова, «Тамбовский мужичок в Москве» Серафимовича, «Вольный проезд» Цветаевой, «Одиночество» Вирты, «Случай на станции Кочетовка» Солженицына и некоторые другие. Они отличаются яркими художественными картинками жизни «тамбовского человека» (по Платонову) в разные исторические периоды.

Следует иметь в виду, что о «тамбовском тексте» русской литературы, как, впрочем, и о других вышеперечисленных, можно говорить лишь очень условно и то в пределах, главным образом, литературоведческой, филологической регионалистики. Пока в литературоведении научно обоснован лишь «петербургский текст», с его отношением к Петербургу как городу, являющемуся квинтэссенцией жизни России, в котором зашифрованы этапы ее духовного развития; с наличием в нем, этом «тексте», петербургского мифа (сакральной географии города, его творения «из ничего», его нереального вида и особых отношений с временем); с раскрытием темы призрачности, пустынности северной столицы. «Тамбовский текст» складывается из отдельных биографических реалий писателей и их произведений, имеющих связь с Тамбовским краем, из отдельных мотивов, образов, характеров, сюжетов, героев разных историко-литературных периодов, когда можно обобщенно говорить о тамбовской теме и «тамбовском человеке», о массовом образе *тамбовцев* на страницах отечественной художественной словесности в целом или в отдельные исторические периоды ее развития.

Логично в процессе изучения именно филологического краеведения, филологической регионалистики обратит внимание на целесообразность названия местных жителей нашего края – «тамбовцы» или «тамбовчане». Известно, что в последние годы в нашем регионе как бы закрепилось именование «тамбовчане», однако известно и другое: в Тамбове на здании областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина со стороны площади В.И. Ленина на протяжении многих последних лет красовался замечательный плакат «Тамбовцы, любите свой город!». История этого этнопонима убеждает в том, что сегодня нам

следует вернуть одну из лингвокультурных традиций, называть жителей нашей области «тамбовцы», а не «тамбовчане». В качестве аргумента сошлемся на весьма убедительные размышления известного тамбовского журналиста, краеведа И.И. Овсянникова. На страницах своих публикаций в местной печати он не раз выступал с идеей названия жителей нашего края именно «тамбовцы». Есть смысл для наглядности и убедительности аргументов привести хотя бы один материал краеведа более подробно.

В заметках «В Тамбове живут тамбовцы» [Тамбовская жизнь 1995] И. Овсянников, отвечая читательнице газеты, писал: «Прежде всего позволю себе высказать свое решительное несогласие с утверждением Нины Сергеевны, что коренные тамбовцы называют себя тамбовчане. Да нет же, как раз наоборот: аборигены нашего славного города, да если это еще интеллигентская косточка, именуют себя только тамбовцами. И это исторически верно. С древнейших времен, как только Тамбов появился на карте России, при образовании существительного от его названия использовался суффикс -ец. Вообще, замечу в скобках, три четверти нынешних слов-названий жителей образованы с помощью этого суффикса. Если мы полистаем «Повесть временных лет» (1069 г.), то встретим в ней новгородцев, ростовцев, белозерцев... Правда, мы не найдем там тамбовцев по одной-единственной причине: они тогда вообще не существовали. Ну, а если заглянем в более поздние документы, которые появились тогда, когда Тамбов уже поднялся на Диком поле «небольшую крайнюю крепостцой», то обнаружим, что в «Материалах по истории Воронежского и соседских губерний» (1652), а также в «Актах Московского государства» (1663) писали: «Бьет челом холоп твой тонбовец сын боярский Протаска Ульев», «привозят-де лебедей немногие люди в Тонбов тонбовцы... из вотчих своих». Как видите, уважаемая читательница, не «тонбовчане» писали три с лишним века назад, а «тонбовцы». Да и у историка нашего знаменитого С.М. Соловьёва в его труде «История с древнейших времен» можно прочесть: «На тамбовцев в нынешнее смутное время надеяться не на кого».

Вот как обстоит дело с «коренными» тамбовцами. Кстати, возьмите, если есть еще сомнение, и полистайте писателей-классиков – Шолохова, Сергеева-Ценского, Соколова-Микитова, Шишкова. На страницах их книг встретите десятки тамбовцев и ни одного тамбовчанина. Вот, например, Мамин-Сибиряк пишет: «Пароход отходил в одиннадцать часов, но тамбовцы забрались на пристань спозаранку...». Впрочем, может, хватит примеров? – продолжал краевед. – Это бесспорно, что предки наши не были тамбовчанами. Однажды по этому поводу разгорелся спор между уроженцами нашего края Н. Виртой и М. Зингером. Третьим судьей они решили избрать поборника за чистоту родного языка Фёдора Гладкова. По свидетельству еще одного нашего земляка-краеведа Семёна Евгенова, старый писатель горьковской школы ответил буквально следующее: «Скажите, кому придет в голову говорить воронежчанин вместо воронежца, саратовчанин вместо саратовца,

астраханчанин вместо астраханца?! Я уверен, что не позволят кишиневцы называть себя кишиневчанами, ялтинцы – ялтачанами, краснодарцы – краснодарчанами. А вот ваши земляки стали именоваться тамбовчанами. Какая в этом потеря чувства языка, какая несурезица! А главное – нет никакой надобности в этом, никаких поводов и мотивов!».

«Яростно выступал против употребления слова «тамбовчанин» и наш знаменитый земляк, академик, властелин русского языка Сергей Николаевич Сергеев-Ценский, – продолжал И.И. Овсянников. – Для краткости, без комментариев, приведу только одну его цитату по этому поводу: «Как объяснить такое: Тургенев был орловцем, а я на заре туманной юности – тамбовцем. Теперь же мы с Тургеневым стали: он – орловчанин, а я – можете представить себе – тамбовчанин! И я готов спросить кого угодно: не знаете ли, в какой бондарной мастерской были выработаны эти неуклюжие «чаны»?».

Думается, неуклюжие «чаны» рождаются от нашего беспамятуства, нашего духовного манкуртизма. Мол, какая разница, хоть горшком назови, лишь бы в печь не ставил. Не все ли равно, так или этак назвать? Так что «бондарная мастерская» находится в нас самих.

А какого мнения по этому вопросу ученые-лингвисты? Да, говорят они, суффикс -ец наиболее старый и наиболее продуктивный в словообразовании. До сих пор основная масса существительных слов и вновь образуемых имен жителей не обходится без этого словообразовательного кирпичика. «Названия на -ец, – писал А.А. Потебня, – оказались структурно связанными с основами оттопонимических прилагательных на -ск». К примеру: Баку – бакинский – бакинец, Тамбов – тамбовский – тамбовец. И связь эта установилась в далеком прошлом. Суффикс же -чанин исторически к середине нашего века превратился в самостоятельную словообразовательную единицу. В чем его достоинство, почему он так активизировался? А дело в том, что он единственный из суффиксов, оформляющих название жителей. Суффикс -ец уязвим, ибо поле деятельности его излишне обширно.

В заключение скажу следующее, – подводил итог журналист. – Лексика наша не стоит на месте. В русском языке происходят глубинные процессы, которые могут проследить и объяснить только специалисты. Так обстоит дело и в данном случае с этими двумя взаимозаменяемыми суффиксами -ец и -чанин. Да, правильно заметил Н. Карамзин, слова входят в наш язык самовластно. И никаким циркуляром здесь не запретишь и не разрешишь. Но есть же многовековые традиции, есть историческая память. Разве мы, люди XX в., не должны с ними считаться? Тогда давайте и петербуржцев именовать петербуржчанами. А почему бы и нет?».

Добавим и от себя: в рассказе С.Н. Сергеева-Ценского «Жестокость» действует студент-«тамбовец». А вот и еще более ранний историко-литературный факт: к сожалению, забытый сегодня тамбовцами поэт, прозаик и драматург конца XVIII – начала XIX в. князь Н.М. Кугушев подписывался тремя псевдонимами: «Тамбов», «Инвалид», а еще – «Ботамвец», который составлялся из слогов «там-бо-вец».

Кроме художественных классических произведений, не только составляющих историко-литературную базу, мощную опору для литературного краезнания конкретного региона, но и являющихся гордостью этого края и всей национальной литературы, следует не менее скрупулезно изучать такое явление, как «литературная жизнь» региона, представляющая собой своеобразную летопись деятельности литераторов, литературных групп и объединений. Она характеризуется исторически обусловленной спецификой литературного творчества, издательского дела, литературно-массовых мероприятий, творческими контактами писателей-современников.

Около тридцати лет назад Д.С. Лихачёв выступил на страницах «Литературной газеты» со статьей «Необходим справочник «Литературные места России» [Литературная газета 1980], где изложил свою концепцию изучения региональной литературы. «Понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена, – писал он. – Ни поэзия, ни литература не существуют сами по себе: они вырастают на родной почве и могут быть поняты только в связи со всей родной страной». Справедливость этих слов подтверждает история мировой культуры. Можно ли понять со всей полнотой эстетического содержания художественные творения, например, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана без представлений о ландшафтах Флоренции или Венеции? Лермонтов и Тарханы, А.Н. Островский и Петербург, Тургенев и Спасское-Лутовиново, Некрасов и Карабиха, Л.Н. Толстой и Ясная Поляна, М. Горький и Нижний Новгород, Блок и Шахматово, Есенин и Константиново, Шолохов и Вёшенская, Распутин, Астафьев, Вампилов и Сибирь, Белов, Рубцов и Вологда – разве можно представить творческое наследие этих писателей вне связи его с историей, бытом и природой этих неповторимых мест? «...Иногда эти места ничем совершенно не отличаются от сотен таких же мест, – писал и К.Г. Паустовский. – Взять хотя бы город Елец... Елец отчасти похож на Рязань, на бывший Козлов, на Липецк. Но в Ельце особенно сильно чувствуешь сотни раз описанные Буниным уголки России, ее прелесть, дыхание ее безграничных ржаных полей... Человек, проходя по земле, оставляет невидимый и неосязаемый, но отчетливый след пребывания. Только память по своей немогущности может стереть этот след, но, конечно, с трудом. Город, не связанный ни с каким воспоминанием, даже литературным, мертв для меня. И, очевидно, для многих из нас» [Паустовский 1982: 166].

Это высказывание русского писателя приводит в упоминавшейся книге «Литературное краеведение» Н.А. Милонов [Милонов 1985: 5] и, как бы развивая его, достаточно подробно излагает историю становления и развития в России литературного краеведения как науки, начиная с XIX в. Он ссылается на автора статьи «Литературоведческое краеведение» из Краткой литературной энциклопедии А. Кайева, утверждавшего, что краеведение в России «зарождается в 30-40-х гг. XIX в. как разновидность краевой библиографии». Н.А. Милонов справедливо считает, что к вопросу о зарождении

русского литературного краеведения следует подойти более широко: интерес к всестороннему познанию материальных и духовных богатств страны проявился значительно раньше, в периоды подъема национального самосознания. Известный краевед называет М.В. Ломоносова, О.М. Сомова, А.А. Бестужева и других деятелей культуры и литературы. Особое место в истории русского регионоведения в книге Н.А. Милонова отведено так называемой натуральной школе, в деятельности которой ведущее место занимал В.Г. Белинский, во вступлении к сборнику «Физиология Петербурга» высказавший мысль о «местном колорите» художественных произведений.

Большой интерес к вопросу о роли регионального фактора в становлении и совершенствовании писателей проявляли Герцен, Чернышевский, Добролюбов. Активную краеведческую работу проводил историк М.Д. Хмыров (1830-1872), автор проекта «Энциклопедия русского отечествоведения». Как пишет Н.А. Милонов, «ему удалось собрать огромное количество сведений об исторических событиях в России, памятниках истории и культуры, русских деятелях, городах, монастырях, музеях, учебных заведениях, библиотеках, театре, фольклоре. Коллекция Хмырова хранится сейчас в Государственной публичной исторической библиотеке» [Милонов 1985:23].

В развитии литературоведческой регионалистики второй половины XIX в. значительна роль культурно-исторической школы. А.Н. Пыпин и Н.С. Тихонравов ввели понятие «второстепенные писатели». По воспоминаниям одного из учеников Тихонравова, на его лекциях происходил «буквально перекрестный допрос литературных памятников, писем, автобиографий и воспоминаний, записок и мемуаров, альманахов, черновых бумаг и т. п. Каждый факт проверяется другим, ни одна мелочь не обходится без строгой критической оценки» [Милонов 1985:24].

В XX в. литературоведческая регионалистика стала не только уважаемой наукой, но и приобрела характер массового движения. Начал выходить журнал «Краеведение», зарождались – и интенсивно росло их число – краеведческие музеи, кружки, ячейки, общества и т.п. М. Горький не раз говорил о недопустимости «игнорировать областную литературу и прессу», и в статье «О литературе» (1930) он призвал литераторов к освещению жизни «даже самых темных и отдаленных от центров культуры «медвежьих уголков». «Я не навязываю художественной литературе задач «краеведения», этнографии, но все же литература служит делу познания жизни, она – история быта, настроений эпохи...». В «Беседе с молодыми ударниками, вошедшими в литературу» писатель с удовлетворением отмечал появление крупных литературных сил в самых различных областях Советской страны [Горький 1953: 37-38].

Огромную роль в становлении литературного краеведения и литературоведческой регионалистики сыграли работы Н.К. Пиксанова «Областные культурные гнезда. Историко-краеведческий семинар» (М., 1928), П.Н. Сакулина «Синтетическое построение истории ли-

тературы» (М., 1925), а также Н.Л. Бродского, Ю.М. Соколова, М.К. Азадовского и других выдающихся историков русской литературы и фольклористов XX в.

На страницах своей книги «Литературное краеведение» [Милонов 1985: 37, 40] Н.А. Милонов достаточно подробно рассказывает о состоянии литературного краеведения в годы Великой Отечественной войны. В самостоятельном разделе монографии – «Литературное краеведение на современном этапе (60-80-е гг.)» [Милонов 1985:40-51] – освещена общая картина созидательной деятельности отдельных краеведов, культурологов, литературных краеведов, писателей в области собирания и сохранения литературных памятников. Отмечена роль областных музеев, библиотек, музеев на общественных началах, школьных литературных музеев, издательств, кафедр, Всесоюзного добровольного общества любителей книги, клубов книголюбов, Общества охраны памятников истории и культуры. В 1970-1980-х гг. выходили своеобразные краеведческие литературно-художественные и литературно-критические антологии – «Литературный Белгород» (1970), «Очерки литературной жизни Воронежского края» (1970), О. Савинова «Пенза литературная» (1977), И. Баскевича «Курские вечера (литературно-краеведческие очерки и этюды)» (1979) и др. В Тамбове в 1986 г., к 350-летию города, в Центрально-Черноземном издательстве вышел литературно-краеведческий том «Тамбов на карте генеральной», в который включены произведения современных тамбовских писателей и наш развернутый историко-литературный очерк.

В статье «О народности в литературе» А.С. Пушкин записал: «Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей

и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу» [Пушкин 1964:39-40]. И это хороший ориентир для исследователей, акцентирующих литературоведческих изысканиях региональную специфику.

Литература

- Горький М.* Собр. соч.: в 30 т. М., 1953. Т. 25. С. 250; Т. 30. Западники 40-х гг.: Н.В. Станкевич, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Т.Н. Грановский и др. / сост. Ф.Ф. Нелидов. М., 1910.
- Кормилов С.И.* О соотношении литературных рядов (опыт обоснования понятия) // Известия Академии наук. Сер. лит. и языка. 2001. Т. 60. № 4.
- Литературная газета. 1980. 12 марта.
- Милонов Н.А.* Литературное краеведение. М., 1985.
- Паустовский К.Г.* Золотая роза. Кн. 2 // Дружба народов. 1982. № 7.
- Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: в 10 т. М., 1964.
- Пушкин А.С.* Собр. соч.: в 10 т. М., 1949.
- Русская литература. 1984. № 1.
- Салтыков-Щедрин М.Е.* Полн. собр. соч.: в XX т. М., 1933-1941. Т. V.
- Сент-Бёв Ш.* Литературные портреты. Критические очерки: пер. с франц. М., 1970.
- Стародуб К.В.* Литературное краеведение в школе. Методические рекомендации, материалы к урокам, литературные экскурсии. М., 2003.
- Тамбовская жизнь. 1995. 25 марта.
- Травушкин Н.С.* Литературное краеведение в системе литературоведческих наук // Научные доклады литературоведов Поволжья. Астрахань, 1967.

ГЛОБАЛЬНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ В КОНТЕКСТЕ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе

Глобализация (франц. *global* – «всеобщий»; лат. *globus* – «шар») – одна из ведущих тенденций в современном нестабильном мире, заключающаяся в интеграции, унификации и стандартизации. Глобализация – планетарное явление. Метафорами глобализации являются, как известно, «мировая деревня» и «сетевое общество». Аналогичное явление – сетевая литература.

Глобализацию определяют как экономическую взаимозависимость стран мира, возникающую в результате возрастающих международных потоков капиталов, товаров и услуг [Россия и мир 2008; Широков]. Мировая литература глобализованной эпохи – интерактивная сетевая литература, возникающая во множестве вариантов и продолжений при участии читателей нового типа. Читатель нового типа – интернет-пользователь, находящийся в сети и участвующий, по приглашению автора, в создании все новых вариантов выложенного в сети текста. Многовариантные, открытые нестабильные тексты постмодернистской литературы известны в высоком, элитарном и «массовом» вариантах. Образцы многовариантных постмодернистских текстов принадлежат, например, сербскому прозаику и драматургу М. Павичу.

Современная политология, культурология и теория литературы базируются на диалектике глобального и локального. Глобальное в отрыве от локального может вести к появлению новых центров управления миром в виде транснациональных институтов (организаций, союзов, корпораций). Свидетельствами глобализации в разных сферах являются ВТО (Всемирная торговая организация), Интернет и т. д. Глобализация снимает национальные границы в экономике, политике, культуре и языке. Так, английский язык, вытесняя другие мировые языки, претендует на роль «латыни» XXI в. Следствием языковой глобализации является порождение таких лингвистических метаартефактов, как Hinglish (индийский английский), Chinglish (китайский английский) и т. д. По мере экспансии английского языка, овладевающего все новыми регионами и сферами общения, происходит расширение норм классического British English. Глобализованный, сетевой, общемировой языковой метаартефакт опасен для региональных языковых вариантов. Утрачивается лингвистический полицентризм, нарастает унификация, нарушается диалектика глобального и локального.

Локальное (лат. *localis* – «местный, свойственный данному месту») – не выходящее за определенные пределы. Для межкультурной коммуникации, культурологии и теории литературы значима диалектика глобального и локального. Локальное в современном мире указывает на значимость национального элемента в экономике, политике и культуре, на связь этноса с его почвой [Гумилев 2008; Лихачёв 1981; Панченко 1999]. Интересно, что

Авторы фокусируют внимание на процессах глобализации регионализации в культуре. Ставится вопрос о взаимосвязях сетевой интерактивной литературы с глобализованной культурой. В контексте отказа от европоцентризма рассматриваются идеи сравнительно-исторического литературоведения в трудах академика А.Н. Веселовского и их интерпретация в современной филологической науке.

Ключевые слова: глобальное региональное, сетевая интерактивная литература, система «литература», европоцентризм, ряды культуры, принцип повторяемости, генетическая связь, типологические соответствия, суггестивность, «эстетический тип языка», сравнительная концептология.

Л.Н. Гумилев ввел для обозначения этой связи специальный термин «месторазвитие». Диалектика глобального и локального ставит вопрос о сохранении национальных и региональных традиций в культуре, о значимости региональных диалектов и литератур [Зинченко, Зусман, Кирнозе, Рябов 2001: 21]. Известно, что связь идеологии с «кровью» и «почвой» не раз приводила в истории к возникновению националистических, расистских историй литературы. Такова, например, история литературы немецкоязычных регионов, принадлежавшая перу профессора Й. Надлера (1884-1963) [Nichtung... 1939]. Равновесие между глобальным и региональным может нарушаться и по-иному, с перекосом в сторону регионального. В современном мире глобализация и регионализация вступают в сложные соотношения. Диалектика глобального и регионального – центральный момент современного подхода к сравнительно-историческому изучению литератур.

Сравнительно-исторический метод сложился в литературоведческих школах русских университетов в последней трети XIX в. Родоначальником его стал академик Александр Николаевич Веселовский (1838-1906). Широта интересов и культурный кругозор определяют основное направление научной деятельности Веселовского – история и теоретика литературы, лингвиста и издателя русских и западных средневековых текстов.

Среди разрабатываемых Веселовским проблем наибольшее значение для формирования нового метода имела его историческая поэтика. Основы метода изложены в программной лекции, прочитанной А.Н. Веселовским при вступлении в должность профессора

Петербургского университета, «О методе и задачах истории литературы как науки» (1870). В лекции А.Н. Веселовский заявляет о своей приверженности к культурно-исторической школе. Историю литературы он видит «как историю общественной мысли в образно-поэтических формах». В дальнейшем во «Введении к исторической поэтике» и в серии университетских курсов и статей А.Н. Веселовский намечает теоретическое обобщение огромного материала, изученного им самим и этнографами, лингвистами и литературоведами с использованием достижений культурно-исторической школы. Рассмотрев генезис поэтических категорий, А.Н. Веселовский первым показал, что они «суть исторические категории» [Фрейндерберг 1997: 20-21].

Признавая принцип историзма основой метода, он подмечает, что культурно-историческая школа проходит мимо повторяемости явлений, исключая тем самым рассмотрение дальнейших рядов культуры. Если рассматривать только ближайшие ряды культуры, то повторение может быть вариативным, содержать сдвиг, различие смежных членов. Более явственным может быть сходство «...на более отдаленных степенях рядов» [Веселовский 1989: 37; 1939, 1940; 1989а: 37; 1908-1938; 2006]. Задолго до ОПОЯЗа А.Н. Веселовский привлекает внимание к синхронному изучению различных, притом не обязательно соседних, рядов культуры. От этого положения отталкиваются Ю.Н. Тынянов и Р.О. Якобсон.

Придавая повторяемости признак закономерности, А.Н. Веселовский полемизирует с «европоцентристским» пониманием культуры. Каждая культурная область имеет свою специфику развития, а потому некорректно говорить об «отставании» или «застойности» неевропейских народов. В этом состоит преимущество созданной А.Н. Веселовским «всемирно-исторической школы» перед культурно-исторической [Гумилёв 1997: 188]. Сопоставляя «параллельные ряды сходных фактов» на самом широком литературном материале, А.Н. Веселовский ищет типологические соответствия в культуре разных «рас» и эпох. Как известно, европоцентризм – парадигма мышления, признающая западную, европейскую ментальность универсальной, общезначимой и единственно ценной. Европейская точка зрения на мир, концепты и константы западной культуры расцениваются как универсалии. Ценности, нормы, обычаи неевропейских народов с точки зрения европоцентризма квалифицируются как «локальные», «местные», «примитивные», лишённые общезначимого содержания [Бердяев 1990; Данилевский 1991; Тойнби 1991; Трубецкой 1999; Шпенглер 1998]. Отрицание европоцентризма – одна из центральных идей сравнительно-исторического изучения литератур и культур.

А.Н. Веселовский подчеркивает связь, существующую между «крупными явлениями» и «житейскими мелочами». Одним из первых он включает в контекст литературы бытовой фон с его лингвистическими и психологическими составляющими, дающими богатый «материал для сравнений». Наряду с «традицией» «реальность», «спросы жизни» – один из важнейших элементов системы «литература» в «Исторической поэтике» А.Н. Веселовского [Шайтанов 2002].

С начала 80-х гг. XIX в. оформляется тема «историче-

ской поэтики». В названиях работ «Из истории романа и повести» (1886), «Эпические повторения как хронологический момент» (1897), «Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля» (1899) прослеживаются и представление о художественном слове как об особой сфере духа, и мысль о необходимости найти в литературе закономерности, «параллели» не только исторические. Но сопоставить ряды сходных фактов можно лишь при наличии принципа повторяемости, общего основания для сравнения. Уже на материале греческой античности ученый замечает, что при всей исторической последовательности развития литературы «сходство мифических, эпических, наконец, сказочных схем не указывает необходимо на генетическую связь» [Веселовский 1939: 5]. И генетической связи в принципе не отрицая, А.Н. Веселовский находит в разных литературах сходство сюжетов.

В разделе «Язык поэзии и язык прозы» (три главы из исторической поэтики, 1898) исследователь рассматривает механизм возникновения простейших поэтических формул, сопоставлений, символов, мотивов, «стоявших вне круга обоюдных влияний». Эти древние элементы образности «могли зародиться самостоятельно, вызванные теми же психическими процессами и теми же явлениями ритма». Генезис поэтического мышления и стиля восходит к «психологическому параллелизму, упорядоченному параллелизмом ритмическим». Хотя «сходство условий вело к сходству выражения», подбор образов в литературах удаленных регионов существенно отличался. Это легко объясняется расхождением бытовых форм, фауны и флоры. Гениальное открытие А.Н. Веселовского состоит в указании на сходство «качества отношений» между этими образами [Веселовский 1939: 278-279]. Сближаются сами основы сопоставления, категории и признаки (движение, волевая деятельность и т. д.) [Веселовский 1939: 101]. Поставив перед собой задачу классификации сюжетов мировой литературы, исследователь видит, тем не менее, что сопоставлять произведения, выяснив родственные сюжеты, некорректно. В самых похожих сюжетах есть свои ходы, обусловленные национальной и исторической спецификой произведения, а научная приблизительность А.Н. Веселовскому была глубоко чуждой. Так рождается мысль найти мотив как «неделимую единицу сюжета», ибо «сходство объясняется не генезисом одного мотива из другого, а предположением общих мотивов, столь же обязательных для человеческого творчества, как схемы языка для выражения мысли; творчество ограничивается сочетанием данных схем. В этом смысле сказка может быть настолько же отражением мифа, насколько осадком эпической песни или народной книги» [Веселовский 1939].

Одновременно – это основание для типологических соответствий. Более всего А.Н. Веселовского занимает вопрос о соотношении «предания», традиции и личного «почина», индивидуального творчества. Если спроецировать на «Историческую поэтику» схему художественной коммуникации (автор – произведение – читатель), то станет очевидно, что отнюдь не всегда произведение занимает здесь центральное место. Главным звеном системы «литература» предстают «формулы, образы, сюжеты», самозарождающиеся или мигрирующие. Си-

стема «литература» принимает следующий вид: **коллективный автор – традиция – коллективный читатель.**

Традиция в этом случае и есть здесь главное произведение, плод развития литературы и культуры. Автор и читатель заняты по преимуществу общением с «преданием», которое ставит пределы их романтизму и импрессионизму. Так, в работе «Из введения в историческую поэтику» (1893) угадывается личная интонация. А.Н. Веселовский предостерегает современников от переживания мира «врозь», что ведет к утрате синтеза со своим временем. Однако большие поэты нуждаются в «общем сознании жизненного синтеза» [Веселовский 1939: 58]. Другими словами, гений становится таковым лишь при условии стабильной, множественной обратной связи в цепи автор – произведение – читатель.

Относительная неизменность традиции и изменчивость реальности ограничивают и расширяют свободу авторского творчества. «Новые спросы жизни» подсказывают автору новое содержание для старых, «готовых» форм. Долгое время русского ученого меньше занимает индивидуальность художника, его интересуют «типы». Если индивидуальность важна, то как индивидуальность «групповая», эпохальная. Поэт рождается, «но материалы и настроение его поэзии приготовила группа» [Веселовский 1939: 251].

А.Н. Веселовский сближает процессы творчества и процессы восприятия, различая их лишь по интенсивности. Автор «Исторической поэтики» уделяет пристальное внимание прямым и обратным связям в подсистеме «традиция – коллективный читатель». В работе «Определение поэзии» А.Н. Веселовский отмечал, что в ходе эволюции поэзии меняется содержание, но «формальный элемент» остается тот же. Сохраняющееся «согласие формальных элементов необходимо для того, чтобы художник мог творить и зритель наслаждаться его творением» [Веселовский 2006: 133-134]. А.Н. Веселовский отмечает диалектику устойчивости и изменчивости в литературе, объясняя устойчивость наличием прямых и обратных связей (художник творит – читатель наслаждается творением). В работе «Определение поэзии» ученый понимает поэзию «как живой процесс, совершающийся в постоянной смене спроса и предложения, личного творчества и восприятия масс, и в этой смене вырабатывающей свою законность» [Веселовский 2006].

«Восприятие» связано у русского академика с категорией «суггестивности», способностью слова, образа, сюжета «подсказывать» слушателю и читателю иной эпохи «новое содержание», удерживаясь и закрепляясь в памяти. Опираясь на сравнительно-исторический метод, современная культурология сопоставляет модели суггестивности различных литератур и культур. В позднем тексте «Задача эстетической поэтики» (1900) А.Н. Веселовский сосредоточивает внимание на «эстетических» моментах художественного творчества, на изображении как таковом. Он размышляет о «внутренних образах» предметов и «эстетических типах языка». Ученый подчеркивает, что «в эстетическом акте» происходит условное отображение предметного мира. Предметы «схватываются интенсивно, со стороны, которая представляется» художнику «типической». В результате изображенный мир обретает цельность и как бы «личность» (во всех слу-

чаях курсив – А.Н. Веселовского). Отчетливо видно, как отсюда тянутся нити к опоязовской концепции «игры» с миром, с одной стороны, и к персонализму М.М. Бахтина – с другой.

Суггестивными представляются идеи А.Н. Веселовского об «эстетических типах языка». Как и А.А. Потебня, он обращается к «содержательному анализу корнеслова», указывая на «разнообразие типических восприятий», которые удержались в народно-исторической традиции, развиваясь путем ассоциаций. А.Н. Веселовский подчеркивает, что «переживание этих внутренних образов и групп ассоциаций вызывает вопрос об условиях и законах их эволюции» [Веселовский 2006: 299-300]. Современная «сравнительная концептология» стоит на сходном фундаменте [Степанов 1993, 1997, 2007].

По определению В.М. Жирмунского, замысел «Исторической поэтики» А.Н. Веселовского – высшее достижение литературоведения XIX в. [Веселовский 1939]. Относительно недавно И.О. Шайтанов издал «Историческую поэтику»: «...отказавшись от хронологии прижизненных публикаций. «Историческая поэтика» предстала в новом виде. Издатель следовал логическому плану А.Н. Веселовского, соотнося с этим планом то, что «было им сделано» [Шайтанов 2002]. Реконструкция замысла «Исторической поэтики» открывает возможность нового взгляда на идеи А.Н. Веселовского о соотношении глобального и регионального в культуре, литературе и языке.

Литература

- Бердяев Н.А. Русская идея. М., 1990.
 Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика / сост. И.О. Шайтанов. М., 2006.
 Веселовский А.Н. Избранные статьи / вступ. ст. В.М. Жирмунского. Л., 1939.
 Веселовский А.Н. Избранные труды и письма / отв. ред. П.Р. Заборов. СПб., 1989а.
 Веселовский А.Н. Историческая поэтика / вступ. ст. В.М. Жирмунского. Л., 1940.
 Веселовский А.Н. Историческая поэтика / вступ. ст. И.К. Горского. М., 1989.
 Веселовский А.Н. Соб. соч. Т. 1-6, 8, 16. СПб.: М.-Л., 1908-1938.
 Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. М., 2008.
 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1997.
 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германороманскому. М., 1991.
 Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И., Рябов Г.П. Словарь по межкультурной коммуникации. Понятия и персоналии. М., 2001.
 Лихачев Д.С. Заметки о русском. М., 1981.
 Панченко А.М. Русская история и культура. СПб., 1999.
 Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут все изменить. М., 2008.
 Степанов Ю.С. Константы мировой культуры. Алфавиты и алфавитные тексты в периоды двоеверия. М., 1993. (совместно с С.Г. Проскуриным).
 Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М., 1997. (2-е изд. – 2001).
 Степанов Ю.С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. М., 2007.

Тойнби А. Дж. Постигание истории. М., 1991.
Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М., 1999.
Фрейденоберг О.М. Поэтика сюжета и жанра / подг. текста и общ. ред. Н.В. Брагинской. М., 1997.
Шайтанов И. Классическая поэтика неклассической эпохи. Была ли завершена «Историческая поэтика»? // Вопросы литературы. № 4. 2002.

Широков Г. Глобализация // Электронная энциклопедия «Кругосвет». URL: <http://www.krugosvet.ru/dict/articles/0/0b/1010376.htm?text>.
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии истории: Т. 1. Образ и действительность. Минск, 1998.
Nichtung und Schrifttum der deutschen Stämme und Landschaften. Bd.1. Berlin, 1939.

2. Художник и культурное пространство. Региональные исследования в литературоведении

ПТИЦЫ ТИХОГО ДОНА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА-ЭПОПЕИ М.А. ШОЛОХОВА «ТИХИЙ ДОН»)

Н.М. Муравьёва

Шолохов М.А. не только хорошо знал и любил птиц Донского края [Словарь языка Михаила Шолохова 2005: 58-64], но еще мог так проникновенно о них рассказать, что его любовь передавалась другому.

Ольга Карлайл-Андреева в своих воспоминаниях о встречах с М.А. Шолоховым пишет: «Еще он рассказывал о чудесной весне на Дону, о птицах в начале лета, о лебедях, усеивающих озера подобно жемчужинам, о селезнях, перекликающихся на глубоких топях вдоль реки, о гусях, печально прощающихся с осенней степью, пролетая над ней высоко в облаках» [Карлайл-Андреева 1990: 28].

Один из первых «птичьих» образов романа-эпопеи – ворон. У этого образа богатая фольклорная и литературная традиция. В творчестве И.А. Бунина, например, этот образ связан с теми трагическими ощущениями, которые испытывал писатель накануне революции и в первые годы становления советской власти. Его ворон – хтоническая птица [Трусова 2004: 112-121], потому что издавна считалось, что зловеющий крик ворона предсказывает смерть, несчастье, в народном представлении эта птица имеет дьявольскую природу. В «Тихом Доне» ворон подобной «дьявольской» окраски не имеет.

Содержание трех эпизодов, в которых появляется этот образ, позволяет утверждать, что в поэтической реальности «Тихого Дона» ворон символизирует мощное природное начало. Присутствие ворона проявляет авторское отношение к «вещам, может быть, глубинно самым важным для Шолохова, к двум экстремам при-

В статье раскрывается многообразие «птичьих» образов романа-эпопеи М.А. Шолохова «Тихий Дон». Могучие птицы (орел, беркут, ворон) являются символом древности степи, гармонии в природе, они принадлежат высокому небу, недостижимому для человека. Журавли, гуси, казарки – перелетные птицы – это вехи времени. Стрепет и перепел – символ продолжения рода, вечной жизни через смену поколений. Жаворонки своим пением олицетворяют мирное течение жизни, с ними связан привычный круг земледельческих работ. Через символику «птичьих» образов оцениваются люди, события и время.

родного бытия, которыми оно прежде всего определяется и движется: *любовь и смерть*» [Семёнова 2005: 143]. Крик ворона – знак необоримости того чувства, что связывает Григория и Аксинью. Мелеховы собираются на порубку, и дважды звучит крик ворона, который, повинувшись приказу природного инстинкта, летит в теплые края. Этот крик решает исход поединка «холода» (чувство к «холодной» Наталье) и «тепла» («огненная» страсть Аксиньи) в душе Григория. Глядя на его полет, Петро говорит: «К теплу, на юг правится», – а Григорий, уже в финале эпизода, неожиданно для себя повторяет: «Тепло будет. В теплую сторону летит... (т. 1, с. 134)».

Между этими двумя фразами символически значи-

мый пейзаж: лес, скованный морозной тишиной, как обречен, «немой, сонно мертвый». В таком же состоянии «мертвого сна» застыли и чувства Григория («стеклянная пустота» вокруг – пустота и в душе Григория). Внезапный клокочущий крик ворона (а в первый раз он был еще и полнозвучным) заставил Григория очнуться от «смертного сна». Выразительность эпитетов, сконцентрированных в этом эпизоде, определяется не только тем, что они передают объективные качества изображаемого явления – дают характеристику звука, тишины, состояния природы, но и выявляют очевидные причинно-следственные связи события внешнего мира и того, что чувствует Григорий. Ворон прощально машет крыльями, но он «разбудил» Григория: в жизнь шолоховских героев вновь властно входит любовь, страстная, мощная, губительная и «теплая», живая.

Символом природного начала является образ ворона и в другом, уже военном эпизоде, и теперь это символ необоримости смерти. В третьей книге Штокман, глядя на идущих впереди красноармейцев, размышляет о том, что сблизило их всех, почему они ему «так особенно милы и жалки»? Он понимает, что, помимо общей идеи, общего дела, по-особенному сроднило ощущение близости опасности и смерти... Штокман вызывает на разговор о страхе смерти в бою красноармейца, к которому чувствует симпатию. Портрет этого красноармейца дан глазами Штокмана: «Смуглое бритое лицо с плитями кровяно-красного румянца, тонкий мужественный рот, а сам – высокий, но складный, как голубь; ... в углах глаз – паутина старческих морщин» (т. 3, с. 205), взгляд холодный и пылливый. Детали портрета убеждают читателя, что перед ним человек мужественный, много переживший, такого нельзя заподозрить в трусости. Он говорит о себе: «Мне нельзя трусить. Сам себе приказал...» (т. 3, с. 206). Но рассказ о страхе, который он испытал дважды, взрывая мост, вступает в противоречие не только с впечатлением о нем читателя и Штокмана, но и с его собственным утверждением. Человек на войне не может не испытывать страха. Страх смерти можно преодолеть, но заставить себя не чувствовать его нельзя. Описание неожиданной смерти ворона, только что мощно и стремительно несшегося в вышине, а теперь безвольно падающего вниз, как огромный черный лист, подхваченный ветром, настолько ошеломляюще выразительно, что восторг красноармейца по поводу гибели птицы кажется совершенно неуместным, звучит диссонансом. Но в его словах «лихо его крутануло» – правда не только о вороне, это еще и правда о времени – о «коловерти» гражданской войны. Смерть ворона, убитого взрывной волной, переводит повествование в общеприродное русло, наглядно демонстрирует, с одной стороны, всевластие смерти, с другой – губительность вторжения человека воюющего в мир природы.

Еще раз крик ворона звучит в начале третьей книги, в пейзажной зарисовке по-зимнему мертвой степи: «Изредка пролетит в вышине ворон, древний, как эта степь, как курган над летником в снежной шапке с бобровой княжеской опушкой чернобыла. Пролетит ворон, со свистом разрубая крыльями воздух, роняя горловой стонущий клеткот. Ветром далеко пронесет его крик, и долго и грустно будет звучать он над степью, как ночью

в тишине нечаянно тронутая басовая струна» (т. 3, с. 115). В таком восприятии ворона Шолохов очень близок к И.А. Бунину. В автобиографическом произведении «Жизнь Арсеньева» акцентируется причастность ворона к ходу истории, мудрая птица предстает живым свидетелем времен давно минувших, символом «отходящей в преданье русской старины» [Бунин 1988: 312]. Писатель передает очарование того момента, когда Алёша увидел ворона и отец сказал ему, что этот ворон может быть жил еще при татарах: «В чем заключалось очарование того, что он сказал и что я почувствовал тогда? В ощущение России и того, что она моя родина? В ощущение связи с былым, далеким, общим, всегда расширяющим нашу душу, наше личное существование, напоминающим нашу причастность к этому общему?» [Бунин 1988: 312]. Подобное символическое значение образа ворона возникло в этимологических мифах, где ворон часто выступает как первопредок людей.

Одинокий и грустный крик ворона в «Тихом Доне» связывает не только прошлое и настоящее, он также связывает настоящее с будущим – крик является знаком тайной, скрытой жизни степи. Г. Ермолаев [Ермолаев 1997: 256] убедительно доказывает, что в первоначальном варианте в этом пейзаже М.А. Шолохов использовал открытое сравнение: все Обдолье, как степь зимой, жила потаенной, придавленной жизнью. Но в последующих вариантах писатель использовал эпический параллелизм: мертвая степь – затаившееся Обдолье. Еще в русском фольклоре ворон считается вещей птицей, предвестником смертельной опасности, смерти. Поэтому крик ворона, звучащий над степью, замершей в зимнем оцепенении, предвещает новые несчастья, новые потрясения.

Изображение ворон в романе-эпопее иное. Вороны – в русле народной традиции – изображаются как птицы, слетающиеся на пададь, крикливые, предвещающие смерть (именно такое значение имел в рассказе «Смертный враг» сухой и отчетливый крик ворон). В эпизоде самоубийства Каледина их крик повторяется дважды. Эта художественная деталь привлекала внимание исследователей. В.М. Тамахин, например, видел в ней исключительно социальный подтекст: карканье ворон, в его интерпретации, говорит о том, что и Каледин, и вся белогвардейщина обречены на поражение, они – «социальные трупы» [Тамахин 1980: 130]. Е.А. Ширина рассматривает введение фольклорного образа в этом эпизоде гораздо шире. Она считает, что сцена имеет экзистенциальный, психологический подтекст: «Смерть Каледина дана в видении близких атаману людей: жены, адъютантов, друзей. Описание их состояния и пейзаж создают нерасчленимое ощущение трагедии» [Ширинина 2004: 54]. Добавим, что эпитеты, характеризующие карканье ворон как «обрекающее, надсадное, звучное», создают идеальный параллелизм: в их криках – людские обреченность и боль, надрыв и тоска, безмерная усталость.

Образ дьявольской птицы появляется в «Тихом Доне» накануне войны. Пейзаж-предзнаменование строится на нагнетении признаков неблагоприятия в природе: тлеющее лето, мелеющий Дон, горящий в степи бурьян, а по ночам – ревуший на колокольне сыч.

Невидимый и таинственный, он бесшумно пролетает над кладбищем, бросает на хутор «зыбкие и страшные звуки», и Мартин Шумилин никак не может его «укараулить». В речах стариков – пророчества: «Худому быть», «Война пристигнет», «Перед турецкой кампанией накликал так вот»... (т. 1, с. 200). И Мартин говорит: «Беду, дьявол, кличет». Такое восприятие крика сыча очень близко к бунинскому. В рассказе «Несрочная весна» в крике ночной птицы герой слышит «и хохот и рыдание, ужас какой-то бездны, гибели» [Бунин 1988: 60], в повести «Митина любовь» сыч предстает самим дьяволом: «И вдруг опять раздался гулкий, всю Митину душу потрясший вой, где-то близко, в верхушках аллеи, затрещало, зашумело – и дьявол бесшумно перенесся куда-то в другое место сада. Там он сначала залаял, потом стал жалобно, моляще, как ребенок, нить, плакать, хлопать крыльями и клекотать с мучительным наслаждением... Но дьявол вдруг сорвался, захлебнулся и, прорезав темный сад предсмертно-истонным воплем, точно сквозь землю провалился» [Бунин 1988: 118-119]. Бунин подробно описывает особенности птичьего крика, Шолохов в описании краток, но его эпитеты «зыбкие и страшные», характеризующие звуки, производят не менее сильное впечатление, потому что подчеркивают таинственность появления этой птицы, неуловимость.

Крик сыча тревожит, вселяет страх и тоску. Звуко-смысловая корреляция этого крика («зыбкие и страшные звуки») отчетливо слышна в пейзажной зарисовке. Аллитерация *х-с-ш-щ-жж-ч* передает ощущение сухости везде: в воздухе (*сухое, сухостойные*), в степи (*прижженные*), на Дону (*раньше, шальные*), в ветре (*насыщал запахом*), в тучах (*густели тучи*), в громе (*лопались сухо, раскатило*), в молнии (*вхолостую палил*), на земле (*пышущую горячечным жаром*). В то же время в ассонансе *у-о(а)*, в повторе *и* (*переходили, невидимым, тучи*) уже зреет этот тревожный *клик*, пророчащий беду: *сухое* тлеет лето, *против хутора* мелел Дон, *пологом* над обдоньем, *густели* за Доном... Сыч – ночная птица. И его появление предваряется также повтором слова «ночами», свидетельствующим о многократности, повторяемости описываемых явлений, но изменение формы слова «по ночам на колокольне ревел сыч» придает этому повтору дополнительное значение: крик-стон дьявольской птицы направлен на людей, а образ колокольни создает ощущение неотвратимости приближающихся бедствий, их всеобщего характера, своеобразной «набатности», а неуловимый перелет сыча на кладбище и продолжающие звучать там пугающие звуки предвещают многие смерти.

Отношение к войне и миру – двум состояниям бытия шолоховских героев – нашло свое отражение в образе малой птицы – жаворонка. Жаворонки – один из константных образов шолоховской степи. «Волнующий выщелк» жаворонков звучит на страницах всех произведений Шолохова. Этот звуковой образ олицетворяет собой мирную, спокойную жизнь, поэтому уже в раннем рассказе «Коловерть» пение жаворонка противопоставлено звукам боя: «жаворонки вторил пулеметам бисерной дробью» (т. 8, с. 55).

В «Тихом Доне» пение жаворонка почти одновременно слышат и Григорий Мелехов («...сбоку млело

поле с нескошенными полями жита, с жаворонком, плясавшим на уровне телеграфного столба» (т. 1, с. 218) и Степан Астахов («...в стороне над чашечкой телеграфного столба надсаживался жаворонки» (т. 1, с. 238). Пение жаворонка убаюкивает Григория. Когда Степан едет на пост в местечко Любов, все вокруг тоже говорит о мирной жизни: восходящее солнце, девушка у колодца, смеющиеся казаки, но настораживает авторская характеристика птичьего пения – жаворонки «надсаживался». Такое пение через силу, преувеличенно громкое подчеркивало обманчивость мирного пейзажа: пограничный полк покинул границу, противник рядом, столкновение с ним неизбежно.

Затем антитеза – пение жаворонки как символ мирной жизни, жизни, слитой с природной цикличностью («...будет звенеть... апрельский жаворонки!» (т. 3, с. 115), и звуки выстрелов, разрушающие мирную жизнь, нарушающие природную гармонию, – возникает в повествовании часто. Похоронив деда Сашку рядом с могилой своей дочери, Григорий испытывает состояние отрешенности от земных тягот, слитности с природным миром: в степи «...неумолчно звучала гремучая дробь перепелиного боя, свистели суслики, жужжали шмели, шелестела обласканная ветром трава, пели в струистом мареве жаворонки...», но человек обозначил свое присутствие и в этой пасторальной картине: «...и, утверждая в природе человеческого величие, где-то далеко-далеко по сучодолу настоящей, злобно и глухо стучал пулемет» (т. 4, с. 39). Соединение в характеристике пулеметных выстрелов разноплановых эпитетов – *настоячиво* и *глухо* – еще можно отнести к бездушному механизму, но *злобно* – уже явно человеческое качество, имеющее самое непосредственное отношение к способу утверждения в природе «человеческого величия». Саркастическая резкость отрицания, высшая степень иронии и однозначность авторской позиции выявляется в данном пейзаже через противопоставление сугубо мирных природных звуков и чужеродных военных.

Иногда пение жаворонков создает в «Тихом Доне» иллюзию наконец-то наступившего мира, но авторское противопоставление мирных и военных звуков вновь показывает обманчивость подобного впечатления: «В степи властвовали одни жаворонки да перепела, но в смежных хуторах стоял тот неумолчный негромкий рокотный шум, который обычно сопровождает передвижения крупных войсковых частей» (т. 4, с. 31-32). Всеведущий автор знает, что «власть» жаворонков продлится недолго, и звуки их пения заглушат оружейные залпы.

И еще одно удивительное сравнение есть в «Тихом Доне», которое вообрало в себя и тонкое понимание народной песни, и тоску казаков по мирной спокойной жизни, и желание ощутить себя вновь в семейном кругу, в русле налаженной крестьянской жизни, где с пением жаворонка связано начало сельскохозяйственных работ, и красоту пения самого жаворонка: «Рассказывают голоса нехитрую повесть казачьей жизни, и тенор-подголосок трепещет жаворонком над апрельской талой землей...» (т. 1, с. 234). А когда навоевавшиеся вдосталь повстанцы возвращаются в отряд после самовольной

отлучки, их сопровождает пение жаворонков, оно звучит аккомпанементом к нерадостным разговорам стариков о подоспевшей к севу земле, о кинutom хозяйстве: «Столь невоинствен был вид возвращавшихся в сотню дезертиров, что даже жаворонки, отзвенев в голубом разливе небес, падали в траву около проходившей полусотни» (т. 3, с. 229). Явившиеся на Пасху, как поговору, казаки, прожив мирной, семейной жизнью один день, возвращаются в сотню. Возвращаются толпой, как богомольцы. И это сравнение заряжает энергией весь следующий далее текст. Идущие на Пасху невоинственного вида казаки все-таки не богомольцы: они нарушили главную христианскую заповедь «Не убий!», нарушили крестьянскую заповедь: бросили землю. Они дали втянуть себя в коловерьт гражданской войны.

Эпический размах повествованию придает авторское отступление о парнишках-повстанцах и слезах их матерей, о зачерствевших сердцах воюющих и горячий материнской тоске по всей великой Советской России. И с каждым нарочитым, стилистически оправданным повтором [Москвин 2006: 63-69]: «шли казаки», «шли они невеселые», «шла полусотня», «шла по песчаным разливам бурунов, по сиявшему малиновому красноталу», «шли они хмурые», «по пескам шли старики молча», «снова пошли», «шли мимо пахоты», «шли» – усиливается концентрация боли, тоски и авторского сочувствия. И не разбавляет этой боли ни эпизод с пострадавшим за истраченный патрон парнишкой, ни «портошное» молоко Пантелея Прокофьевича, ни сугубо штатский вид возвращавшихся в сотню казаков. Смысловым центром эпизода становится фраза: «А вот надо идти навстречу смерти... И идут» (т. 3, с. 228).

«Незамысловатая» песенка жаворонка, напоминая о родине, позвала в дорогу Аксинью, едва оправившуюся от тифа. Она «разбудила в ней неосознанную грусть» (т. 4, с. 219), всколыхнула воспоминания о жизни, полной мук и страданий, и учащенно забилося сердце, а на глазах у сильной Аксиньи, принимавшей все невзгоды с гордо поднятой головой, выступили две скупые слезинки – их «выжала» бесхитростная песенка жаворонка. Пение жаворонка, обычно воспринимаемое шолоховскими героями как жизнерадостное, звучит в минорной тональности, придает элегический оттенок всей сцене.

Особую роль играет пение жаворонков и в эпизоде со Стерлядниковым. Шолоховский пейзаж наполнен покоем: туман клубится над Доном, степные дали прозрачны и ясны, на синем небе перистые облачка и «великая и благостная тишина, распростертая над степью» (т. 4, с. 349). Только жаворонки нарушают эту тишину, но их пение – часть степного покоя, чужеродными оказываются человеческие голоса, а затем и выстрел, прекративший страдания Стерлядникова.

Трели жаворонков слышит Григорий в краткие минуты отдыха на косогоре и испытывает чувство отрешения и успокоенности. И в этом эпизоде пенье жаворонков над «повитой солнечной дымкой степью» (т. 4, с. 338) и сторожевыми курганами вместе с шелестом ветра в молодой траве и фырканием пасущихся рядом лошадей становится онтологически значимым. Оно напоминает шолоховскому герою об утраченном за годы войны созерцательно-любтивном отношении к при-

роде, характерном для казака, наряду с практическим, также оставшемся для воюющего седьмой год Григория Мелехова в прошлом.

Еще дважды появляется образ поющего жаворонка в конце романа-эпопеи. Звенят над степью жаворонки, усыпляют своим пением Григория на привале после бегства с Аксиньей. И таким умиротворением наполнен пейзаж, что хочется верить в то, что наконец-то появилась и у шолоховских героев возможность поискать счастливую долю! Но стонет поздней ночью выпь, пророча гибель Аксинье. И выжжена, как весенним палом, душа Григория. В степи, вокруг выжженной огнем земли, зеленеет трава, «трепещут над нею в голубом небе бесчисленные жаворонки, пасутся на кормовой зеленке гуси и вьют гнезда осевшие на лето стрепета» (т. 4, с. 361), но это – рядом, а обуглившаяся земля мертва. Также мертва душа Григория.

Но не случайно в этом пейзаже, кроме жаворонков, воспевающих мирную жизнь, упоминается другая птица – стрепет. В начале повествования Пантелей Прокофьевич, упрекнувший Аксинью в запретной связи, вызвал такую бурю чувств, что автор сравнивает ее с пленным стрепетом: «билась она под узкой кофточкой, как стрепет в силке» (т. 1, с. 54). И звучит ее вызов судьбе: «За всю жизнь за горькую отлюблю!.. А там хучь убейте» (т. 1, с. 54). А потом эта птица появляется в знаменитом описании могилы Валета, и она становится символом вечной жизни через продолжение рода, символом неистребимости и мудрости природного бытия. И далее, в третьей книге, в пейзаже, открывшемся Григорию, когда он ехал в Каргинскую после недолгой побывки дома, доминирующим становится изображение могущественности инстинкта продолжения рода, которое так наглядно демонстрируют Григорию страстно ухаживающие за невзрачными серенькими стрепетками самцы-стрепеты в броском брачном наряде: «Снежно-белый, искрящийся стрепеток, мелко и споро махая крыльями, шел ввысь и, достигнув зенита в подъеме, словно плыл в голубеющем просторе, вытянув в стремительном лете шею, опоясанную бархатисто-черным брачным ожерелком, удаляясь с каждой секундой. А отлетев с сотню сажений, снижался, еще чаще трепеща крыльями, как бы останавливаясь на месте. Возле самой земли, на зеленом фоне разнотравья в последний раз белой молнией вспыхивало кипенно-горючее оперенье крыльев и гасло: стрепет исчезал, поглощенный травой.

Призывное неудержимо-страстное «тржиканье» самцов слышалось отовсюду. На самом шпиле причирского бугра, в нескольких шагах от дороги, Григорий увидел с седла стрепетиный точок: ровный круг земли... был плотно утопан ногами бившихся за самку стрепетов» (т. 3, с. 265). Контрастное оперение, ярко выделяющееся и на фоне неба и на фоне земли, удивительно точные подробности полета степной птицы – все эти детали окружающего природного мира становятся не просто сценой из жизни птиц, но и средством косвенной характеристики героя, и отражением его видения мира, и гимном «кипучему биению» жизни. Пейзаж является частью шолоховской философской концепции. Он дан между двумя сценами: встречей с мертвыми хуторами и известием от Кудинова о Сердобском полке. Компози-

ционный прием противопоставления могущества природных инстинктов человеческому самоистреблению создает сложнейшие эмоционально-смысловые ассоциации, поэтому знаменательными становятся слова Григория, скачущего бешеным наметом спасать Мишку Кошевого, Котлярова: «Выручить... Кровь легла между нами, но ить не чужие ж мы?!» (т. 3, с. 267).

Это биение степной жизни, «оплодотворенной весной», являет себя еще раз в эпизоде со смертельно раненым Стерлядниковым, когда дребезжащий посвист крыльев стрепета заставил его очнуться от забытья, принять трудное решение. А потом, после смерти Аксиньи, когда стала жизнь Григория черна, как выжженная палами степь, вновь появляются в пейзаже и трепещущие над степью жаворонки, и выющие гнезда стрепеты. Все отняла у Григория смерть, но остались дети, мысль о них спасает шолоховского героя. Жаворонки и стрепеты, продолжающие жить в степи и во время войны и после нее, предопределяют его путь домой – к сыну.

«Тихий Дон» богат множеством индивидуальных художественных примет, особенностей, создающих в целом неповторимый шолоховский стиль. Одна из таких особенностей – поразительная точность деталей в описаниях, портретах, а отсюда – их запоминаемость. Таковы гусиные «портреты». В самом начале повествования яркая зарисовка, данная «мимоходом»: ктитор продает гуся, поднимает его высоко, выкрикивая цену, а гусь исполнен чувства собственного достоинства: «Гусь вертел шеей, презрительно щурил бирюзинку глаза» (т. 1, с. 27). Это гусиное «превосходство» не подчеркивается, но как бы подразумевается: и потому после унижительной процедуры осмотра, брезгливого шепота одного из «чинов» о бандитской роже, Григорий спешит поскорее уйти из волостного правления, и его взгляд выделяет гусей, плавающих в луже: «Лапы их розовели в воде, оранжево-красные, похожие на зажженные морозом осенние листья» (т. 1, с. 191). Яркость цвета возвращает шолоховского героя в привычный мир, но «обоженность» морозом, неприятные ощущения от только что пережитого унижения остаются.

В другом эпизоде уже сравнение: казаки ожидают отправки на фронт, и в их толпе «на голову выше армейцев-казаков, как гуси голландские среди мелкорослой домашней птицы, похаживали в голубых фуражках атаманцы» (т. 1, с. 213). Сравнение информативно: ведь имеется в виду и гордая гусиная поступь, и их важно вытянутые шеи, и презрительный прищур глаз-бирюзинок – и экспрессивно: атаманцы – это казаки высокого роста, крепкого сложения, красивой внешности, они несли воинскую службу при императорском дворе [Словарь языка Михаила Шолохова 2005: 171]. Но соединение образа гуся и былинно-фольклорного «похаживали» имеет обратный эффект – придает сцене сниженный характер (давая характеристику Христоне, богатырский рост которого подчеркивается не раз, Шолохов писал: «Правил здоровенный и дурковатый, как большинство атаманцев, Христоня» (т. 1, с. 40), это сравнение употребляет и сам Христоня, рассказывая о своем ранении: «Человек я из себя приметный, иду в цепи, как гусак промеж курей...» (т. 4, с. 133). Употреб-

ление фразеологизма «гусь щипаный» также создает определенные ассоциации: так Григорий называет Прохора, не сказавшего ему об «агромасном» восстании в Воронежской губернии (т. 4, с. 279).

В отличие от домашнего, в диком гусе подчеркивается его независимость, обособленность (в «Поднятой целине» Нагульнов с диким гусаком сравнивает Островнова, держащегося «на отшибе», «на отдалеке», как он говорит). В третьей книге «Тихого Дона» есть изумительно выписанная сцена охоты на дикого гуся. Вожак гусиной стаи изображается и как гордая, свободная птица, и как объект охоты. Такие же двойственные чувства испытывает и Григорий, глядя на подстреленную им дикую птицу: «Гусь лежал... словно обнимая напоследок эту неласковую землю. <...> Смерть уже в полете настигла и вырвала его из построенной треугольником стаи, кинула на землю» (т. 3, с. 223). Охотничья радость меркнет, усилительный эпитет «неласковая» земля напоминает о том, как бился головой об эту же землю всего день назад Григорий после боя под Климовкой...

В описаниях птичьего мира Шолохов часто дает сравнения, не только близкие по степени подобия (о чем свидетельствует использование бессоюзных вариантов сравнения), но и нацеленные на психологию читательского сотворчества: ворон падает огромным черным листом (т. 3, с. 207), лебеди искрятся рассыпанным жемчугом (т. 3, с. 218); несколько раз птицы сравниваются с хлопьями, причем эпитет всегда придает сравнению дополнительную экспрессивную окраску: голубыми хлопьями падают в воду острокрылые рыбники, горелыми хлопьями висят на тополиных ветках грачи, сизыми хлопьями кружатся голуби.

Есть подобные бессоюзные сравнения и в описании птичьего двора панов Листницких. Особенности Ягодного – барство, богатство и «одубелая скука» (т. 1, с. 182) – подчеркнуты птичьим миром: черные утки-шептунки, цесарки, рассыпавшиеся бисерным дождем, мяукающие «утробными кошачьим голосам», крикливо оперенные павлины, тоскующий журавль с подстреленным крылом – все обитатели необычны, это не казачье подворье, а барская усадьба, где птица разводится из прихоти хозяев. Чего стоит смех Листницкого-старшего, наблюдавшего из окна за безуспешными попытками журавля подняться в небо. Крик журавля его не трогает. «Заплесневелую в сонной одуре жизнь» (т. 1, с. 183) Ягодного встряхнули лишь два события: появление дочери у Аксиньи и пропажа гусака. К девочке привыкли, а от гусака нашли перья «и успокоились». И столько авторской иронии в этом «успокоились»! «Сонная одурь» Ягодного, после отъезда Григория лишь усилившаяся, вероятно, была в числе причин, толкнувших Аксинью к Листницкому-младшему.

Тоскливый осенний журавлиный крик впервые привлекательно звучал в шолоховской прозе в повести «Путь-дороженька», надрывая сердце Петьке, оставшемуся без отца. Также «кликали» они за собой Наталью, когда услышала она в степи мужнино признание в нелюбви. «Серебряные колокольца» их голосов звали за собой в недоступную черно-голубую вышнюю пустошь, вместе с мертвенным запахом увядших осенних трав усиливали тоску...

В Ягодном старый пан равнодушен к журавлиной тоске, но в авторском описании этот журавлиный крик – медногосый и тоскливый – дергает тонкие струны человеческих сердец. Похожее настроение вызывает крик журавлей и у С. Есенина. В стихотворении «Ночь и поле, и крик петухов...» он пишет:

Вот она, невеселая рябь

С журавлиной тоской сентября» [Есенин 1983: 86].

«Горько волнующий», звенящий журавлиный зов слышат быховские заключенные, и тюрьму они покидают, «похожие на нахохленных черных птиц» (т. 2, с. 148), словно следуя этому зову.

Совсем по-иному звучат трубные крики журавлей весной. Весной они «голубые», такими их слышит в своем воображении Григорий, мечтающий об отдыхе, о мирной, хлебобобовой работе на земле.

Описание прилета птиц во время Вешенского восстания глубоко символично. «Вокруг непокорных станиц сомкнулось стальное кольцо фронтов» (т. 3, с. 217), а весна сияет невиданными красками: прозрачные дни и «недоступный голубой разлив небес» наполнены птичьим гоготом, криком и неумолчным шипением, от которого «стоял стон» (этот звуковой образ появится потом в «Поднятой целине»). Глубокий анализ этого пейзажа дан Е.А. Шириной. Она справедливо считает, что он знаменует возрождение природной жизни, всем строем описания с повышенным вниманием к цвету, свету, запахам, звукам выражая авторское отношение [Ширина 2004: 36-37]. Пейзаж противопоставлен состоянию крайней ожесточенности людского сообщества. Анализ звукового оформления пейзажа позволяет расширить данную трактовку эпизода, выявить онтологически значимую доминанту. Пространство и по горизонтали, и по вертикали заполнено разнородными звуками, но они сливаются в один – полнозвучный, выражающий ненасытную жажду жить и любить. И это единое чувство, охватившее птичьи стаи, проецируется на людей, также охваченных жаждой жить и любить. Но у людей эта жажда вызвана не примером весеннего обновления в природе, сиянием и очарованием весны, а обреченностью, «степным всепожирающим палом взбушевавшегося восстания» (т. 3, с. 217). Они живут в состоянии вседозволенности, их жажда жить и любить выливается в беспробудное пьянство и распутство, в бешенство и лютость, в первобытную дикость.

А еще в этом пейзаже как-то по-особому трогательно говорит Шолохов о лебедях, словно больше всего жалея, что повстанцы не в состоянии оценить их красоту. Год назад, прошлой весной, люди еще проявляли интерес к этим грациозным птицам: на заре, «когда винно-красный восход кровавит воду, видели не раз и лебедей, отдохавших где-либо в защищенном лесом плесе» (т. 2, с. 264). Сейчас люди, живущие в разгуде и беспутстве, не способны восхищаться прекрасными птицами, издавна считавшимися символом верной, чистой любви, неразлучности. Такой любви нет места в «первобытной дикости» повстанцев. Жемчужная лебединая красота чарует и завораживает лишь автора. Но эта красота все-таки открывается потом Григорию на острове, такими он их и увидит: розовый отсвет зари на воде и взлетающие, ослепительно-белые лебеди...

Не раз звучит в весенних пейзажах «Тихого Дона» утиное кряканье. Утка и селезень в русских народных песнях – это аллегория супружеской пары. В поэтической реальности «Тихого Дона» призывные крики этих птиц также символизируют любовное томление: в тишине апрельской ночи раздается хрипчатый зов дикого селезня и ответный – кряк утки (т. 2, с. 117), неумолчное шипение охваченных любовным экстазом селезней (т. 3, с. 217) вливается в общий гимн весне и любви, и на острове Григорий в общем гомоне птичьих стай выделяет призывное «трещание» селезней и ответное кряканье уток (т. 4, с. 325). Писатель всегда подчеркивает «взаимность» этого птичьего влечения. О том, как трогательно он относился к птичьей «любви», говорит следующий пример.

Н.Т. Кузнецова во время экскурсии по дому-усадьбе М.А. Шолохова в станице Вешенской рассказала со слов Марии Петровны, что однажды, охотясь в Казахстане на гусей, Мария Петровна и Михаил Александрович сидели вдвоем в одном окопчике, и, увидев близко от себя двух пролетающих гусей, Мария Петровна прицелилась, но потом передала ружье мужу, чтобы выстрел сделал он. Но Михаил Александрович стрелять не стал. Мария Петровна сокрушалась: «Ну как же так, сам не стрелял и мне не дал...». А он ответил: «Ты разве не видишь, что их двое? А раз двое, значит, пара, нельзя же одного из них убивать...» [Дом-усадьба М.А. Шолохова... 2000: 30].

И еще одна поэтическая традиция нашла свое отражение в художественном мире «Тихого Дона». В народе птиц часто называют божьими птахами, завидуют их вольному, беззаботному житью. Именно такой представляется птичья жизнь Христоня. Но выбранный им «объект» зависти – сорока – никак «не тянет» на божью птицу, совсем другая у нее репутация. Иван Алексеевич и Христоня едут в Каменскую на съезд. В пейзажной зарисовке две детали передают настроение казаков и коррелируют с последующими событиями: стрекочущая сорока и ветер. Стремительный полет мелькающей рябым опереньем птицы вызывает у Христоня сравнение бездумно-счастливой птичьей жизни с людской (т. 2, с. 186), он завидует летящей по своим птичьим, бездумно-счастливым делам сороке. Во время поездки Христоня соглашается с Яковом Подковой, что на съезде надо постараться, «чтоб было без войны дело», но поступает совсем наоборот. Как ветер сносит сороку и она летит, «косо избочив хвост» (т. 3, с. 185), так и Христоня, «распалившись» на съезде, забывает о своем намерении не воевать больше, участвует в аресте каменских властей, и даже недоволен, что не дали по-настоящему отвести душу при аресте – разрушительный ветер революции захватывает и его. «Бездумно-счастливая», «птичья» жизнь в мире людей невозможна, и они сами виноваты в этом.

Пантелей Прокофьевич тоже завидует птицам: «Иной раз позавидуешь этим божьим птахам... Ни войны им, ни разору» (т. 4, с. 57), – говорит он Григорию. И завидует Пантелей Прокофьевич соловьям, которых, действительно, принято называть божьими птицами.

Примечательно, что в «Тихом Доне», богатом разнообразием «птичьего мира», пение соловьев упоминается

всего дважды, причем эти два эпизода противопоставлены друг другу и «замыкаются» на Григории. Прохор разыскивает Мелехова: «В непроглядной темени спала станица. На той стороне Дона в лесу наперебой высвистывали соловьи» (т. 4, с. 48). Находит он Григория на квартире у Аксины в обществе Степана Астахова. А следующую ночь Григорий проводит на «той стороне», в родном доме, с Натальей. «До рассвета полыхали на небе зарницы, до белой зорьки гремели в вишневом саду соловьи. Григорий проснулся, долго лежал с закрытыми глазами, вслушиваясь в певучие и сладостные соловьиные выщелки...» (т. 4, с. 51). Под пень соловьев покидает Григорий и родной дом, и Наталью: «... никогда Григорий не покидал хутора с таким тяжелым сердцем, как в это ласковое утро» (т. 4, с. 57), а оглянувшись, увидел Наталью: «... свежий предутренний ветерок рвал из рук ее черную траурную косынку» (т. 4, с. 58). Соловьиное пение становится показателем того, как изменилось отношение Григория к Наталье: наконец-то ему открылась ее сияющая внутренней чистотой красота, но траурная косынка в руках Натальи говорит о том, что это их последняя встреча.

И еще один птичий образ употребляет Шолохов в сравнениях – образ чибиса, небольшой болотной птицы, пугливы. Оба сравнения, подразумевая характерность полета этой птички, отражают смятение в душах шолоховских героев. Наталья, вернувшись в родительский дом, доведенная до отчаянья Митькой, «металась в своей девичьей горенке, как подстреленный чибис по эндовой куге» (т. 1, с. 160), Пантелей Прокофьевич, получив известие от Петра о том, что Григорий жив и получил георгиевский крест, возвращается снова и снова к строчкам из письма: «... и опять мысль его, как чибис над болотом, вилась вокруг Григория...» (т. 1, с. 290). И в том и в другом случае ассоциативные связи сравниваемых явлений позволяют почувствовать боль, переживаемую сейчас – у Натальи – и пережитую раньше – у Пантелея Прокофьевича, который говорил о себе: «подкосил меня Гришка трошки» (т. 1, с. 290).

Особое место в повествовательной структуре романа-эпопеи занимают образы грачей. Е.А. Ширина обращает внимание на два сравнения: сотня Григория Мелехова отражает атаку матросов под хутором Колодезянским, и на тоскливом снежном поле лежат трупы одетых в черное матросов, похожие на стаю «присевших в отлете грачей». В той же главе – обратное сравнение: молчаливые грачи на обочине дороги, как «пешие кавалеристы», провожают отступающие казацкие сотни и обозы. Исследователь справедливо отмечает, что за внешним сравнением «птицы – люди» стоит скрытое сравнение отступления с парадом, что показательное «для шолоховского художественного мышления, в котором человеческое видится через природное, а природное через человека» [Ширина 2004: 30]. Добавим, что появление грачей как в сцене с матросами, так и в эпизоде отступления казаков в очередной раз демонстрирует бессмысленность взаимоубийства в гражданской войне.

После смерти Натальи Григорий уезжает в поле, чтоб забыться в работе, но воспоминания о жене не оставляют его, в ушах звучит ее голос, наказывающий жалеть

детей. Сценка из жизни грачиных семей, вроде бы оставшаяся вне внимания погруженного в свои думы Григория, становится параллелью к изменившимся отношениям отца и детей: Григорий мастерит им игрушки, а потом забирает с собой в поле Мишатку, чтобы растить будущего хлебороба, опекать, как в грачиной семье, «из клюва в клюв». А какой привлекательной становится для Мишатки в словах отца степь: «Сколько там кузнецов в траве! Сколько разных птах в буераке!» (т. 4, с. 134). Он словно сам возвращается в детство.

Воспоминания о собственном детстве связаны для Григория с братом Петром. Они всплыли в памяти под стрекотание крохотной желтопузой синички-зимнухи в то утро, когда Григорий ждал подводу с мертвым братом. Пение птички он невольно переводил на знакомый с детства язык: «точка-плуг! Точка-плуг!». Брат – белоголовый мальчуган с облупленным носом – тогда мастерски изображал индюшиное бормотание. Пение синички на несколько мгновений вернуло ощущение счастья: детского, незамутненного, оставшегося в далеком и невозвратном прошлом... Вот и своих собственных детей сравнивает Григорий с крохотными степными птицами, и это ошеломляюще простое и выразительное сравнение передает и трогательную детскую незащитность, и отеческое стремление оградить их от бед и тревог внешнего мира.

Так образы и малых, и больших степных птиц органично входят в художественную ткань романа-эпопеи, создают особый, философски насыщенный символический план повествования.

Литература

Текст произведений М.А. Шолохова цитируется по изданию: *Шолохов М.А.* Собр. соч.: в 9 т. М.: Терра-Книжный клуб, 2001.

Бунин И.А. Собр. соч.: в 4 т. Т. 3. М.: Правда, 1988. С. 312. Дом-усадыба М.А. Шолохова в станице Вешенской / автор текста Н.К. Кузнецова. Ростов н/Д: Изд-во «Юг», 2000.

Ермолаев Г. Сравнения в художественном строе «Тихого Дона» // Проблемы изучения творчества М.А. Шолохова: Шолоховские чтения – 1997. Ростов н/Д, 1997.

Есенин С.А. Собр. соч.: в 3 т. Т. 1. М.: Правда, 1983.

Карлайн-Андреева О. «Вы дома» // Вопросы литературы. 1990. № 5.

Москвин В.П. О типах и функциях звуковых повторов // Русская словесность. 2006. № 8.

Семёнова С.Г. Мир прозы Михаила Шолохова. От поэтики к миропониманию. М.: ИМЛИ РАН, 2005.

Словарь языка Михаила Шолохова. М.: ООО «ИЦ «Азбуковник», 2005.

Тамахин В.М. Поэтика Шолохова-романиста. Ставрополь, 1980.

Трусова А.С. Генезис и функции образа хтонических птиц в «Окаянных днях Бунина» // Трусова А.С. Мифопоэтическая парадигма «Окаянных дней» И.А. Бунина: дис. ... канд. филол. наук. Мичуринск, 2004.

Ширина Е.А. Образ природы в романе-эпопее М.А. Шолохова «Тихий Дон». Белгород: Изд-во БелГУ, 2004.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПОТАЕННОСТИ В СЛУЧАЕ С С.Н. СЕРГЕЕВЫМ-ЦЕНСКИМ

Л.Е. Хворова

Проблема так называемой потаенности в настоящее время чрезвычайно востребована в литературоведческой науке. Она многопланова, разносторонне выражена. Один из важнейших аспектов – исключение какого-либо художественного явления из литературной жизни. В числе «потаенных» в данном случае оказываются те произведения или те фрагменты «биографического автора», которые не существуют открыто по причине тех или иных политических ситуаций, складывающихся на каком-либо этапе общественного развития. В этом смысле важнейшим критерием «познания» становится актуализация выше-названного в рамках иной, отдаленной эпохи, их включение в иной, далекий от автора контекст, а также их осмысление в современную автору эпоху.

Проект, поддержанный грантом РФФИ № 08-04-70-407 а/Ц, «Подготовка к изданию сборника архивных документов «Потаенный Сергеев-Ценский. Письма к различным адресатам 1910-1930 гг. и научный комментарий» нацелен на актуализацию творческих положений одного из интереснейших художников XX столетия – С.Н. Сергеева-Ценского, обогатившего национальную литературу яркими открытиями в области философии и поэтики словесного искусства. Он вместе со своими известными современниками – М. Горьким, И. Буниным, Л. Андреевым, М. Шолоховым, А. Платоновым, Е. Замiatиным, А. Ремизовым и другими писателями стоял у истоков обновляющейся русской прозы, поставленной судьбой под тяжелый общественно-политический пресс истории.

Сергееву-Ценскому суждено было стать свидетелем величайших социальных преобразований. Он пережил три революции, две мировых и гражданскую войну. Разумеется, сложность, противоречивость, трагичность судьбы Отечества не могли не отразиться на мировоззрении и творчестве художника.

Сергеев-Ценский – писатель трагической судьбы. Долгие годы исключалась возможность составить четкое представление о творческих взглядах и общественно-политической позиции писателя послереволюционного времени. Одна из причин – чрезмерная политизация истории литературы и литературоведческой науки, а как результат – искажения критических оценок, неизбежные противоречия. Но, надо сказать, о Сергееве-Ценском и писали сравнительно немного: мало монографических литературно-критических исследований, не составлена полная и четкая библиография его произведений, не уточнены детали жизненного и творческого пути, не выверены художественные тексты. Трудность в изучении творчества писателя обусловлена тем обстоятельством, что

В статье идет речь о причинах потаенности в практике современного литературоведения и в случае с С.Н. Сергеевым-Ценским. Анализируется многоаспектность данной проблемы, проводятся случаи купирования авторского материала в рассказах 1920-х гг. Впервые публикуются письма С.Н. Сергеева-Ценского к редакторам журналов.

Ключевые слова: потаенность, традиция, цикл рассказов, современные проблемы литературоведения, литературная ситуация.

во время Великой Отечественной войны личный архив Ценского исчез из оккупированной немцами Алушты. По свидетельству работников Алуштинского мемориального Дома-музея С.Н. Сергеева-Ценского, следы архива могут быть обнаружены в Германии, Румынии или США. Не исключен вариант, что документы были просто ликвидированы или сгорели. В связи с этим большой научный интерес представляют сохранившиеся архивные материалы, новые для современного читателя, по понятным причинам не опубликованные ранее и только теперь частично открытые для изучения.

Трагична судьба писателя, к сожалению, и в наши дни, поскольку он попадает в разряд «немодных» авторов. Аргументы таковы: Сергеев-Ценский – «советский» классик, не эмигрант, его произведения «устарели», не вписываются в разряд «востребованных» в настоящее время литературных направлений – декаданса, модернизма и пр. Парадоксы судьбы Сергеева-Ценского заключаются в том, что во все времена его обвиняли в прямо противоположных и взаимоисключающих друг друга положениях: в дореволюционные времена – в принадлежности к декадансу, в послереволюционные десятилетия – в неумении перестроиться и стать «советским», в наше время – в закоренелой «советскости». Именно поэтому публикации писем писателя абсолютно необходимы для восстановления научной истины.

Особенно интересным и перспективным для анализа остается период 1910-1934 гг. Его, как правило, исследовали либо весьма тенденциозно, поэтому поверхностно, либо вовсе обходили молчанием. Чаще рассматривалось самое раннее творчество или же 1934-50-е гг. (время создания больших романов, в том числе эпопеи «Севастопольская страда»). Отрезок длиной почти в 20 лет, когда художник находился в благоприятнейшем для расцвета писательского таланта – в возрасте от 40 до 60 лет, – не удостоился должного вни-

мания со стороны ученых. Причины – в основном, политического характера.

Произведения Ценского 1910-1934 гг. не только практически не исследованы, но и опубликованы с большими купюрами и под разными названиями либо неопубликованны вовсе. Поэтому в случае с Ценским важен именно текстологический аспект изучения.

Все вышеизложенное и обусловило актуальность настоящего исследовательского проекта.

Целью исследования стала подготовка к публикации сборника архивных материалов (писем) писателя, хранящихся в Российском государственном архиве литературы и искусства, распределение их по тематическим группам и в соответствии с этим рассмотрение широкого спектра вопросов творчества Сергеева-Ценского: анализ героя, традиций, поэтики его прозы.

В 1910-1934 гг. Сергеевым-Ценским было написано много: роман, повести, рассказы, драматические произведения, стихотворения. Сложность, многожанровость и многопроблемность произведений Ценского этих лет, а также строго определенные рамки проекта не позволили подготовить к публикации наследие писателя этих лет в полном объеме. На страницах проекта (в разделе научного комментария) – исследование представленных к публикации писем и произведений Сергеева-Ценского 1910 – первой половины 1930-х гг. Бесспорно, что их анализ дает достаточно полное представление об идейных и формальных исканиях, общественно-политической позиции и эстетических принципах писателя переломного периода в истории России.

В рамках научного обоснования представленных к публикации писем уточняются взгляды писателя на эпохальные исторические события в России, на литературный процесс 20-х гг.; определяются его творческие принципы, отношение к литературным обществам и группировкам; выносятся некоторые неизвестные подробности биографии Ценского; аргументировано корректируется версия о «десятилетнем молчании» Ценского-писателя; представляется всесторонний анализ истории создания и публикации произведений заявленного периода, идейной и философской основы, проблематики, особенностей поэтики полных, восстановленных авторских текстов повестей и рассказов Сергеева-Ценского.

Повести Ценского первой половины 20-х гг., вошедшие в цикл под общим названием «Крымские рассказы», относятся к ряду произведений русской литературной классики (и рассматриваются в этом ряду), выразивших почти моментальную реакцию автора на богатую противоречиями эпоху. Сергеев-Ценский осмысливал послеоктябрьский период с позиций христианских ценностей начала XX в. Специфика художественной философии Ценского-писателя, которая была абсолютно оригинальной, непохожей ни на какую другую, – одна из ключевых проблем, решаемых в проекте.

Рассказы и повести Сергеева-Ценского послеоктябрьского периода на страницах критических работ

советской эпохи оценивались, как правило, весьма предвзято. Практически никто в те годы не рассматривал эти произведения в общем контексте творческого развития художника, никто подробно не говорил об их роли в процессе развития мироотношения Сергеева-Ценского.

На страницах проекта на основе анализа высказываний писателя предлагается новая, отличная от общепринятой, концепция развития творческого мироотношения Ценского.

Публикация писем, результаты исследования позволяют существенно откорректировать уже прочно сложившиеся, во многом неверные представления о творческих взглядах и общественно-политической позиции писателя, которые отнюдь не прямолинейны, а сложны и противоречивы, но одновременно достаточно цельны и выстраданы. Это позволяет в несколько ином, чем принято, ракурсе представить литературный процесс эпохи в целом.

К публикации представлены письма Сергеева-Ценского к А. Горнфельду, П. Зайцеву, В. Полонскому, А. Грину, К. Тренину, Н. Клестову (Ангарскому), Н. Замошкину, И. Белоусову, А. Дерману.

Осуществлено внимательное прочтение и «расшифровка» ряда неясных, плохо читаемых слов, словосочетаний, предложений, выражений, авторских устойчивых оборотов, которые имели место в связи с обветшалостью бумаги, а также «пульсацией» личного психологического состояния Ценского, вызванного целым рядом чрезвычайных обстоятельств – революциями, гражданской войной, голодом, преследованиями со стороны властей, непониманием его позиции редакторами, издателями и цензорами, предательством со стороны других писателей. В соответствии с тематической подборкой писем для публикации был разработан подробный научный комментарий, который представляет собой необходимую составляющую, без которой данные письма не могут быть понятны как специалистам, так и широкому кругу читателей. Осуществлена попытка начала решения проблемы потаенности, которая в случае с Сергеевым-Ценским имеет актуальнейшее значение для адекватного прочтения его творчества. Восстановлен личностный и литературный имидж писателя. Концепция «советского классика» полностью разрушена, в связи с чем через аналитические комментарии сформулирована позиция Сергеева-Ценского как «внутреннего эмигранта», никогда не шедшего на поводу у правящей власти (это стало причиной либо полной непрочитанности, либо абсолютно неадекватной прочитанности его произведений), антикоммуниста, писавшего и после кровавых революционных событий произведения, сходные с позициями И. Шмелева, В. Вересаева, А. Ахматовой. Восстановлены авторские названия произведений, искаженные советской цензурой, в том числе и тех, которые никогда не были опубликованы либо публиковались частично в местных изданиях. Поскольку сохранившиеся письма писателя – единственный на сегодняшний день и поэтому уникальный источник получения правдивой информации о нем (его

немногочисленные биографы либо многое замалчивали, либо намеренно искажали целый ряд фактов в угоду советской идеологии), им придавалось первостепенное исследовательское значение. Развернутый научный комментарий состоит из целого ряда разделов: об изучении творчества писателя в дореволюционные и советские времена; о причинах зарождения потаенности в случае с Ценским; о его оригинальном отношении к Первой мировой войне и революциям; о «достоевском» генезисе восприятия идеи революции; о выживании в послереволюционном быту; о никогда неизданных «крымских рассказах»; об истории создания и борьбы за публикации; о проблематике, структуре и смысле допускаемых купюр; об оригинальной технике письма; о причинах обращения писателя к большой форме; о поэтической оригинальности эпопеи «Преображение России» в его творчестве. Тематическое распределение актуальных научных аспектов позволило обнаружить некоторые важные биографические подробности, связанные с предполагаемыми выездами за границу, проанализированы причины невыезда писателя за рубеж, недоброжелательного отношения к тем или иным писателям, мелких конфликтов, имеющих место в отношениях с теми, кто считался «приятелями».

Такой принцип подачи материала был выбран не случайно. В одном из писем к А. Горнфельду обнаружены уникальные материалы, связанные с взглядами Сергеева-Ценского на литературный процесс 1910-1930 гг., на художественное творчество в целом, на творчество ряда авторов как современников, так и классиков, на проблему, связанную с так называемой массовой литературой и «массовым», незлитным прочтением классического наследия. Кроме того, он писал следующее: «Всякому известно, конечно, что т. наз-го искусства для искусства в природе не существует. Всякий беллетрист представляет сумму 3-х слагаемых: мироощущения, философию творчества и технику творчества». Такой подход к самому себе Сергеева-Ценского и стал поводом к распределению научного материала по соответствующим группам.

Большое место в проекте уделено так называемой теории прозы (М.М. Бахтин) Сергеева-Ценского. Хотя сам он постоянно настаивал на своей «чисто художественной» позиции, в его творческой лаборатории отчетливо просматриваются конкретные закономерности, которые можно обозначить тем же бахтинским термином «полифонизм». В комментариях осуществляется попытка продолжения размышлений Бахтина в случае с Сергеевым-Ценским и делается ряд выводов культурно-аксиологического характера. Целесообразность такого подхода обосновывается на базе писем к П.Н. Зайцеву, где он доказывает необходимость публикации его повести из цикла «Крымские рассказы» под названием «Смерть ребенка» (опубликована с купюрами в советские времена под другим названием – «В грозу») без купюр. На страницах писем есть и другие намеки на необходимость изучения его творчества в рамках отличного от «марксистского» метода.

В письмах к редакторам журналов в 1920-е гг.

(в частности, в письме к Н. Клестову (Ангарскому) Сергеева-Ценский подчеркивает принцип подачи художественного материала как «сказовый». В связи с этим в научных комментариях рассматривается функционирование сказовых элементов в его восстановленных произведениях и высказываются соображения о причинах использования данного принципа письма именно в послереволюционные годы. В данном аспекте рассматриваются неизвестные в бескупюрном варианте повести цикла «Крымские рассказы». В разделе изучаются также другие особенности «техники письма» Ценского – введение «мистических» и ретро-персонажей, эксплуатирование категории памяти, расширение функции пейзажа, пристальное внимание к категории цвета, разработка темы преобразования человека и России в целом, интенсивный поиск «героя» эпохи и воспроизведение на его месте «антигероя», «уход» от взглядов с позиции одного класса (на чем настаивал, в частности, В. Полонский).

В научных комментариях большое внимание уделено письму В. Полонскому от 1 марта 1926 г., поскольку оно имеет весьма солидный содержательный пласт. Позиция Сергеева-Ценского вырисовывается четко, ясно и абсолютно бескомпромиссно.

В связи с тем, что писем Сергеева-Ценского оказалось много, от услуг некоторых архивов пришлось временно отказаться в связи с материальным и объемным ограничением данного проекта. Данное обстоятельство в то же время обосновало необходимость продолжения аналогичных исследований по проблемам потаенности в будущем.

Письмо В. Полонскому, редактору журнала «Новый мир», от 1 марта 1926 г. представляется в какой-то степени «программным», поэтому считаем необходимым привести его в целостном варианте:

Крым, Алушта
1 марта 1926

Многоуважаемый Вячеслав Павлович!

Получил Ваше письмо, я думал ответить на него тогда, когда увижу 2-ю книгу «Н.(ового) М.(ира)» с урезанной «Жестокостью», но книги этой что-то нет, да, кажется, по поводу купюр, Вами сделанных, никто не помешает мне написать и после.

Когда я читал Ваше письмо, мне показалось, что наши роли странным образом перепутались, что я – автор не «Жестокости», а критической статьи под заглавием на Ваше произведение, заглавие которого – «Октябрьская революция».

Я – беспартийный, и всегда был беспартийным и беспартийным останусь. Никто, конечно, не требует от меня партийности, и было бы странно, если бы требовали этого не только от меня, человека уже сложившегося, но и от всякого вообще художника слова. Солнце беспартийно, а художник – только дитя солнца, и на земле он не хозяин, а гость. В такой-то год, в такой-то месяц и день я появился на свет, я – будущий художник, в такой-то год, месяц и день уйду из жизни я – худож-

ник. Нужны ли кому-нибудь мои произведения или нет, каким это образом может занимать меня, художника? Разве я принес с собою на землю рецепт человеческого счастья? Я вижу, как солнце ласкает и море, и берега, и человеческие лица на палубе парохода, — я радуюсь и пишу «Улыбки»; я вижу, как «по земле тьма стелется, как дым» — мне больно, и я пишу «Жестокость полей», как раньше когда-то — в 8-м году — «Печаль полей». Под моим заглавием «Жестокость» был подзаголовок «эпизод борьбы за советскую власть». Эпизод, — один из миллиона эпизодов всяких оттенков. Даже и у меня-то «Жестокость» — только этюд, как и все «Крымские рассказы» — к последним частям романа «Преображение». Этюдов этих у меня наберется листов 60. Если удастся напечатать их все, они составят сами по себе несколько книг. Действующих лиц в них и всяких положений очень много. Рассказов этих, если бы Вы захотели их печатать в «Новом мире», хватило бы для каждой книжки журнала года на два. 2-я часть «Преображения», кажется, будет напечатана в больших отрывках в «Красной Нови» в этом году.

Вы говорите: «Или рукой Ценского иногда водит поручик Бабаев?» — «Поручика Бабаева» я написал лет двадцать тому назад и вывел в нем только поручика Бабаева. Бабаев такой же объект моего творчества, как пристав Дерябин, полковник Алпатов (в «Медвежонке»), Антон Антонович из («Движений») и масса других. Я же сам так же похож на Бабаева, как на беременную Анну из «Печали полей». Если я мог говорить от лица охотничьего поляка (в «Движениях»), или от лица Вареньки в «Недрах», или от лица пристава в «Дерябине» или от лица горного инженера в «Наклонной Елене», то почему мне нельзя было говорить от лица поручика Бабаева? Это — обыкновенный протеизм художника, заставивший одного известного критика написать в «Русском слове» некогда: «Трудно даже и представить, чтобы Ценский сам никогда не был полудевочкой-полудевушкой Варенькой из своих «Недр»... Нет, я Варенькой никогда не был, и Бабаев моей рукой не водил. «Помещиком», разоренным революцией, я тоже никогда не был. И если я, вследствие невозможности печатать написанное, и терпел нужду, то революции я все-таки могу быть только благодарен. Роман «Преображение» я начал писать и печатать в конце 13-го — в начале 14-го г. — и вдруг — война — чем не Преображение? И за ней революция русская... Преображение из преобразования!.. Это ничего не значит, что за последние десять лет я не высовывал носа из Алушты. Зачем идти Магомету к горе, когда гора сама все время шла к Магомету! Я и в Алуште видел множество деятелей всех цветов.

Вам кажется, что у меня мрачный взгляд на жизнь. Откуда это? Мне никогда не бывает ни скучно, ни тоскливо. А революции я еще к тому же очень благодарен и за то, что она сняла с меня тяжесть былой известности. Какой это гнусный груз! Совершенно не понимаю, как выносят его политические деятели, актеры и люди других выставочных профессий. Карточка моя последняя, — Вы говорите? — Я не снимался уже лет семнадцать. Статью обо мне? Благодарю за внимание, но какая для

меня выгода. Если меня будет знать современный читатель, который меня теперь совершенно не знает? Не знает, — и в высшей степени чудесно, — ни малейшего для меня беспокойства. Важно для меня за годы революции не только свой «скудельный состав», но еще и критерий событий чисто художнический. И это — в полном одиночестве. Это было не так легко — смею Вас уверить. Нельзя было даже на час допустить себя преобразиться, наблюдая преобразование, ибо преобразиться самому значило потерять себя, как художника. До получения первого аванса из «Нового мира» т. е. до января этого года я ходил в лохмотьях, писал на оборотной стороне обоев, две трети дня тратил на физический труд, которым жил. Но писать об этом совершенно не стоит, конечно, разве только затем, чтобы Вы не считали меня каким-то «помещиком».

Но вот пришла, наконец, февральская книжка «Нового мира», и я прочел 1-ю половину «Жестокости». Прежде всего мне бросились в глаза очень грубые опечатки, искажающие смысл.

На стр.

2) не «вот-от», а «во — от» (В ряз. (анской) губ.(ернии) нет таже «от», а есть «то».

4) не «куар», а «куа» (по латински «что?»)

5) не «Да вси», а «Даси?», т.е. «дать?»

4б и 4в не «Фуил», а «Фиул» и немало других.

За эти опечатки мне очень неловко и перед рязанцами, и перед украинцами, и перед латышами.

Затем, я заметил, выброшена целая страница сравнения революции с вакхическим танцем и прочим. Мне кажется и теперь, что «политического» в этой странице ничего не было: просто — размах и темп революции. Вам показалось, может быть, что это я говорил «от себя», а не от своих героев, а мне думалось совсем обратное. «От себя» в строгом смысле этого слова я, кажется, еще нигде и ничего не говорил в своих произведениях. Добросовестно припоминаю и ничего не могу припомнить. Если где и «выражаюсь», то я просто хочу ввести читателя в философию того или иного героя, а не в свою собственную. Сумма этих частных «философий» может дать только понятие о том, какие персонажи бывают интересны мне для моей живописи, в каких положениях рельефно освещаются эти персонажи, и тому подобное.

Так, например, не примите за нечто мистическое тот рассказ, который я Вам послал: — «Не имеющий лика». «Не имеющий лика» или «Невидимый», даже немножко и не смерть, а переход из одного состояния в другое, в котором, правда, есть элемент безмолвия и холода, но страшного, по существу ничего нет. Сообразно с этим рисуются картины совершенно спокойными штрихами, как нечто происходящее в природе на большом отдалении. Нецензурного же в этом рассказе совершенно ничего нет.

А «Таинство брака»? Подошел отрывок этот «Красной Ниве» или нет?

Вы пишете, что можно было бы подать кое-что из моих прежних писаний. Это было бы очень для меня существенно, и если бы Вы могли мне в этом помочь, я был бы Вам очень благодарен.

Жду Вашего отзыва о «Не имеющем лика», и только положительный (хоть на 3 с двумя минусами). Отзыв подвинет меня на присыл «Орла и решки» и еще одного рассказа из той же серии.

Почему «Новый Мир» не присылает оттисков? Очень неудобно (для всякого автора) иметь свою вещь только в одном экземпляре. Пожалуйста, введите это старое, правда, но очень необходимое правило.

Всего Вам доброго!

Желаю счастья.

Загляните, если будете в Крыму.

Ваш С. Сергеев-Ценский

P.S. Пропущенную в конце первой главы страницу мне жаль, как музыкальную концовку. Это был разрешающий аккорд, и без него теперь глава кажется недоигранной. И хоть бы отдаленно понимал я, что в ней нашлось нецензурного!.. Это была музыкально необхо-

димая страница... Ведь пропущено и еще что-то насчет «партии, сказавшей то же самое и почти теми же самыми словами: «Все к чертовой матери!» Однако я не скажу Вам, что это – необходимо было нужно напечатать: музыкальное (как и живописное) значение этой фразы совершенно ничтожно, и пропуск ее в общей мелодии не заметен.

Большая просьба, чтобы хоть во второй половине «Жестокости» не было опечаток, искажающих и правду художественную, и ритм речи.

Жду появления в печати 2-й части «Преображения», которая пойдет в «Красной Нови». Жду присыла денег [РГАЛИ].

Литература

РГАЛИ. Ф. 1328. Оп.1. Ед. хр. 313.

АМУРСКИЙ САША ЧЁРНЫЙ (О ФЁДОРЕ ИВАНОВИЧЕ ЧУДАКОВЕ)

А.В. Урманов

В предреволюционное десятилетие самым ярким, самым талантливым художником слова Приамурья был Фёдор Иванович Чудаков – сатирик, поэт, сотрудник ряда благовещенских газет и журналов, печатавшийся под псевдонимами Гусяр, Амурец, Босьяк, Язва, Кузьма Резниченко, Гражданин Уклейкин и др. Его острые стихотворные фельетоны, в том числе на темы местной жизни, пользовались огромным успехом у читателей, но при этом часто вызывали недовольство властей. Чудаков многократно подвергался цензурному давлению, судебным преследованиям, арестам. Известность его в то время выходила за пределы Приамурья и распространялась на обширный сибирско-дальневосточный регион. Автор вышедшего в 1916 г. в Иркутске «Словаря сибирских писателей, поэтов и ученых» М.Е. Стож писал: «Язва псевдоним – талантливый поэт-фельетонист дальневосточных газет, прекрасно владеет стихом, остроумен. Дарование его широко выбивается из рамок газетного фельетона» [Стож 1916: 40]. Спустя несколько лет, уже после трагической смерти Ф. Чудакова, высокую оценку его творчеству дал сибирский критик М. Басов [Басов 1922: 158-161]. Чудаков назван был им «несомненно крупным поэтом», в стихах которого можно найти «ценные отзвуки целой эпохи и жизни Приамурья».

Однако в настоящее время имя Фёдора Чудакова незаслуженно забыто, упоминаний о нем нет ни в одном современном сибирском или дальневосточном справочнике; произведения в течение почти столетия не переиздавались[1]. Иначе говоря, современные читатели

Статья посвящена Ф.И. Чудакову (1887-1918) – самому талантливому писателю Приамурья предреволюционного десятилетия, личность и творчество которого почти на столетие оказались незаслуженно забытыми. В статье воссоздаются малоизвестные страницы его трагической судьбы, причины и обстоятельства самоубийства. В центре внимания находятся недавние сенсационные находки автора материала – две считавшиеся утраченными книги Чудакова, изданные в 1909 г. в Благовещенске: лирический сборник «Пережитое» (под псевдонимом «Босьяк») и сборник стихотворных фельетонов «Шпильки» (под псевдонимом «Язва»).

Ключевые слова: литература Приамурья, Фёдор Чудаков, сатира, стихотворный фельетон.

практически лишены возможности познакомиться с творчеством одного из немногих подлинных мастеров художественного слова Приамурья начала XX в. Возможно, по этой причине литературная жизнь Благовещенска данного периода даже искушенным людям кажется иногда пустынной и малоинтересной, а произведения типа низкопробного бульварного романа «Амурские волки» (1912), в создании которого активное

участие принимал скандально известный журналист А.И. Матюшенский, – «бестселлерами начала века».

Перу Чудакова принадлежат не только стихотворные фельетоны и лирические стихи (в чем он был особенно силен), но и произведения других жанров – приключенческая повесть «Дочь шамана», повесть «Из детства Ивана Грязнова», пьеса «Изгнанники» [Чудаков 1918], многочисленные очерки и рассказы. В сравнении с лирикой и стихотворной сатирой прозаические и драматургические опыты Чудакова менее выразительны в художественном плане, хотя и превосходят по всем статьям, например, романы того же Александра Матюшенского «Фальшивые сторублевки» и «Взаимный банк» [Матюшенский 1913, 1916].

Вообще же судьба весьма обширного (и, разумеется, неравноценного) литературного наследия Чудакова незавидна: большая часть его произведений, в том числе и весьма талантливых, актуальных и поныне, затерялась на страницах амурской периодики начала XX в. и сейчас практически недоступна. Печально, но факт: ни в одной из библиотек Благовещенска (равно как в областном краеведческом музее и областном архиве) нет более-менее полных комплектов местных периодических изданий дореволюционного времени. Но и в центральных российских архивах и библиотеках ситуация ненамного лучше.

Большая часть творческого наследия Чудакова (в том числе и его личный архив), видимо, навсегда утрачена. Но есть и факты обнадеживающие. До недавнего времени считался утраченным сборник лирических стихотворений Ф. Чудакова «Пережитое», изданный под псевдонимом «Босьяк» в Благовещенске в 1909 г. и сразу же конфискованный по распоряжению властей. В то, что сохранился хотя бы один экземпляр сборника, не верил даже автор. Через девять лет, в 1918 г., включая в первый номер своего сатирического журнала «Дятел, беспартийный» новый вариант стихотворения «Евшантрава», Чудаков не преминул указать в примечании, что впервые оно было напечатано в «Пережитом». Что касается судьбы самого сборника, то он, по словам поэта, «по постановлению прокурора был конфискован и сейчас едва ли где имеется хотя один экземпляр этой книжечки» [Дочь шамана... 1918]. В седьмом выпуске альманаха «Амур» (2008) автор этих строк сообщил, что, вопреки утвердившемуся мнению, книжка «Пережитое» [Босьяк 1909] не исчезла: оригинал этого раритетного издания находится в Российской государственной библиотеке, а копии – в отделе редких книг Амурской областной научной библиотеки и в литературно-краеведческом музее БГПУ. Здесь же, в альманахе, была напечатана и небольшая подборка стихотворений из нее – первое переиздание за целый век [Чудаков 2008: 57-58].

Безвозвратно утраченным считался и сборник стихотворных фельетонов Чудакова «Шпильки» (1909). После его выхода против автора и издателя возбудили судебное преследование, в результате чего сборник был изъят из обращения и бесследно исчез. Спустя годы в воспоминаниях, печатавшихся в журнале «Дятел, бес-

партийный», Фёдор Чудаков рассказывал об этом с прищущим ему чувством юмора: «Главному управлению по печати так понравился сборник «Шпильки», что оно через прокурора распорядилось приобрести все издание для нужд правительства и тщательно сохранять его в архивах жандармского управления. Приобретение состоялось, как говорится, «даром», ибо денег автору не заплатили, но так как все-таки было неловко ничего не платить, то автору дали в виде единовременного пособия шесть месяцев тюрьмы» [Чудаков 1918а: 4-6].

В течение столетия о судьбе «Шпильек» ничего не было известно, хотя, как мы знаем, основатель литературного краеведения Приамурья А.В. Лосев (1927-2002) много усилий и времени потратил на то, чтобы обнаружить сборник в региональных и центральных книгохранилищах и архивах (в том числе в архивных делах жандармского ведомства). Тщетно. И вот сегодня, спустя ровно век после выхода книги, произошло то, на что мало уже кто надеялся – сборник стихотворных фельетонов Фёдора Чудакова «Шпильки» [Язва 1909] обнаружен, найден. Это настоящая литературная сенсация, причем отнюдь не местного, не областного масштаба. Книга (единственный на сегодняшний день известный экземпляр) находится в Благовещенске, хранится в одной из частных библиотек [2].

Прежде чем обращаться к сборнику «Шпильки», вспомним биографию автора – особенно те факты, которые имеют непосредственное отношение к найденной книге – к обстоятельствам, связанным с ее созданием, а также к ее содержанию, тематике и проблематике.

Фёдор Иванович Чудаков родился в 1887 г. (более точная дата рождения, к сожалению, не установлена) в городе Чембаре (ныне г. Белинский) Пензенской губернии в семье сапожника. Учился в Чембарском городском трехклассном училище, окончил его в 1903 г. Сведений о том, что Чудаков получил образование в каком-либо ином учебном заведении, нет. Между тем творческое наследие писателя (в том числе сборник «Шпильки») ярко свидетельствует о том, что он имел обширные познания в разных сферах жизни и культуры, был весьма начитанным человеком, обладал развитым эстетическим вкусом.

В 1906 г. за участие в революционной деятельности, а именно за связь с партией социалистов-революционеров (обратим внимание на этот факт, так как он найдет продолжение), Чудаков был арестован, но вскоре освобожден. Второй раз его арестовали в 1907 г. за распространение эсеровских революционных прокламаций. На этот раз царская Фемида оказалась не столь милостивой: Саратовская Судебная палата приговорила Ф.И. Чудакова по статьям 128 и 129 Уголовного Уложения к трем годам ссылки, которую ему пришлось отбывать в одном из сел далекой от родных мест Енисейской губернии. Однако через год Чудаков бежал в Красноярск, где сблизился с еще одним беглым политическим ссыльным – Дмитрием Чернышёвым, а также с его гражданской женой Варварой Протопоповой, приехавшей в Сибирь из Вятской губернии для того, чтобы ухаживать за любимым человеком, заболевшим чахоткой.

Скрываясь от розыска, в сентябре 1908 г. втроем они отправились в Приамурье, в далекий и потому, видимо, казавшийся спасительным Благовещенск, куда молодые люди добрались в начале октября. Поселились тоже вместе, на одной квартире, в доме по Амурской улице.

Ф. Чудаков, живший в городе по подложному паспорту, выданному на имя крестьянина Енисейской губернии Кузьмы Ивановича Резниченко, начал сотрудничать в газетах «Амурский край» и «Торгово-промышленный листок объявлений», опубликовав там несколько стихотворений, рассказов и очерков за подписью «К. Рез.» и «К. Резниченко». В. Протопопова, которая на родине была учительницей женской гимназии, стала зарабатывать на жизнь частными уроками. А вот Д. Чернышёв вскоре после приезда в Благовещенск покончил жизнь самоубийством, потеряв надежду на излечение и не желая быть обузой для близких людей. Варвара Протопопова вскоре стала женой Фёдора Чудакова.

В конце декабря жандармское ведомство вышло на след беглеца, и в первые дни января 1909 г. он был арестован и препровожден в Благовещенскую тюрьму. Воспоминания об этой странице своей биографии Чудаков опубликовал в 1918 г. [Чудаков 1918а: 4-6]. После отбытия наказания за побег с места ссылки (сравнительно короткого – в 1909 и более продолжительного – в 1910) Чудаков жил в Благовещенске под гласным надзором полиции.

В сборнике лирических стихотворений «Пережитое» (1909) отразились факты биографии Чудакова, относящиеся ко времени его бегства из енисейской ссылки и первых месяцев жизни в Благовещенске: знакомство со ссыльным Дмитрием Чернышёвым и его гражданской женой Варварой Протопоповой, побег на Амур, трагическая смерть товарища по революционной борьбе, любовь к Варваре Ипполитовне. Автобиографическая природа этих произведений, в частности, помогает понять характер отношений Ф. Чудакова и В. Протопоповой, позволяет сделать вывод, что они строились не только на чувственном влечении, но и на идейной близости:

Ты в трауре... Лицо твое бледно,
И темные полосы под глазами.
Не плачь о нем, утешься! Все равно,
Его не воскресишь слезами!
Он был герой. Он мужественно пал
В защиту драгоценнейшей идеи.
Его народ своей надеждой звал,
И трепетали фарисеи...
Он был герой. О нем ты не грусти!
Его не воскресишь слезами!
Сильнее будь! Иди и мсти!
Иди за нами!

«Майское...», «Смерть Икара», «Тюремные мотивы», «Из пережитого», «Побег», «Крепок мой посох дубовый» и некоторые другие стихи, вошедшие в сборник «Пережитое», свидетельствуют о незаурядности

поэтического дарования Фёдора Чудакова.

Что касается Варвары Протопоповой, то история взаимоотношений с Дмитрием Чернышёвым и Фёдором Чудаковым, история, которая привела ее, девушку из небольшого вятского городка Малмыж, вначале в Сибирь, а затем на Дальний Восток, в Благовещенск, нашла отражение и в сборнике «Шпильки» – в венчающей книгу стихотворении «Светлана». Оно строится как подражание одноименной балладе В.А. Жуковского, но содержание сна, конечно же, иное – в нем воссоздается канва подлинных, реальных жизненных событий, приведших героиню в Сибирь и на Дальний Восток. И здесь следует сказать об одном важном обстоятельстве. Найденный экземпляр сборника «Шпильки» содержит две уточняющие приписки от руки, сделанные кем-то, кто, похоже, знал Чудакова и был посвящен в его творческую лабораторию. Первая приписка – расшифровка фамилии городского врача в эпиграфе стихотворного фельетона «Эстетты». В авторском тексте он обозначен одной буквой – Т. В рукописной приписке фамилия восстановлена полностью – Таубер. Вторая рукописная вставка имеет отношение к стихотворению «Светлана», к заключительному его фрагменту:

...Вся в поту, дрожа слегка,
Девушка проснулась,
И тяжелая рука
До нее коснулась.
«Ну, чего ты дрыхнешь? Встань!»
И Светлана, точно лань,
Задрожала в страхе.
Перед ней стоял гигант:
То жандармский был сержант,
В бурке и папахе...
(Прод. известное.)

Так вот, прямо под финальной строчкой «Прод. известное» (прод. здесь – продолжение. – А.У.) от руки, характерным женским почерком дописано: «(Три месяца в тюрьме)». Прототипом Светланы в стихотворении Чудакова, как нетрудно догадаться, была Варвара Протопопова. Если допустить, что автор рукописной вставки знал обстоятельства ее жизненной судьбы (а это очень похоже на правду), тогда, возможно, следует внести важное уточнение в имеющиеся биографические сведения о благовещенском периоде жизни Варвары Ипполитовны. В своем неоконченном очерке о Фёдоре Чудакове А.В. Лосев писал по этому поводу: «Поскольку за учительницей гимназии из Малмыжа, кроме отношений с политическими, не числилось никаких «преступных деяний», она после задержания и допроса в жандармском розыском пункте была выпущена на свободу» [Лосев 2008: 53]. Приведенные выше обстоятельства дают основание считать вопрос о сроках пребывания Варвары Протопоповой-Чудаковой за решеткой, по крайней мере, открытым, нуждающимся в уточнении.

Но вернемся к автору найденной книги. После отбытия в начале 1909 г. кратковременного тюремного за-

ключения он продолжил сотрудничество с рядом местных периодических изданий, опубликовав на их страницах, в том числе, и сатирические стихотворения, часть из которых в том же году была включена в «Шпильки».

На титульном листе сборника, помимо указания на типографию, выпустившую книгу («Типография т-ва Б.С. Залеский и Ко»), значится: «Издан Д. Челеби». Д. Челеби – это Даниил Абрамович Челеби. Под такой фамилией (с паспортом на это имя) в Благовещенске с 1907 г. жил Иосиф Александрович Постернак. Как установил А.В. Лосев, он родился в 1887 г. в городе Очакове Николаевской области Украины и происходил из мещан. Челеби был сотрудником ряда периодических изданий Приамурья, редактором-издателем газет «Амурский телеграф» (1913-1914), «Амурский листок» (1913-1914), «Алексеевская жизнь» (1915), журнала «Амурские волны» (1914) и т. д. Именно Челеби (Постернак) в 1909 г. выступил в явно рискованной роли издателя сборника сатирических стихотворений Ф.И. Чудакова «Шпильки», за что, как и автор книги, подвергся судебным преследованиям.

Сборник включает 17 стихотворных произведений. Почти все они (за исключением разве что цитировавшегося выше стихотворения «Светлана») имеют ярко выраженный сатирический характер. Собственно, на это указывает уже псевдоним, под которым автор выпустил книгу, – Язва, а также название сборника. Шпилька по Далю – в одном из прямых значений «спица, острокопечный прут», «род острого гвоздочка»; в переносном – «намек, либо наветка, обиняк, укор, попрек, колкое слово» [Даль 1981: 643]. Современный словарь дает следующее толкование: «Колкое, язвительное замечание, колкость» [Словарь русского языка 1984: 728].

Чудаков подобрал на редкость удачное название для своей книжки. Действительно, колкость, язвительность – отличительные черты стиля «Шпилек». Судя по всему, стихотворный фельетон – любимый жанр Фёдора Чудакова; жанр, наиболее органичный для него. Как известно, фельетон – это остро злободневное художественно-публицистическое произведение сатирической направленности, как правило, предназначенное для публикации в газете или журнале. По складу своего характера и темпераменту, по своей бескомпромиссной гражданской позиции, по художественному дарованию, наконец, Фёдор Чудаков был прирожденным фельетонистом. Его талант расцветал в те годы, когда в России появилась целая плеяда блестящих сатириков – Аркадий Аверченко, Надежда Тэффи, Саша Чёрный, когда издаваемый в Петербурге еженедельный сатирический журнал «Сатирикон» (1908-1914) стал одним из самых популярных в стране периодических изданий. Сложись судьба Фёдора Чудакова иначе: оказался он в столице, среди профессиональных литераторов и критиков, в творческой атмосфере «Сатирикона», художественный талант его получил бы необходимую огранку, и мы бы сейчас говорили о нем как о художественном явлении не регионального, а национального масштаба. Впрочем, значимость и уровень созданного Чудаковым гораздо выше, чем это принято считать. Лучшие из его сатирических стихов вряд ли уступают большей части

произведений, печатавшихся в том же «Сатириконе». Не следует забывать и о том, что фельетоны, вошедшие в сборник «Шпильки», – лишь первые пробы пера Чудакова-сатирика, что ему тогда было всего двадцать два года, что в полную силу художественный талант автора раскроется позже.

1909 г. – это разгар реакции, наступившей после поражения первой русской революции. Это было время, когда власть видела в независимой печати источник опасного вольномыслия, от которого один шаг до революционной крамолы, а потому применяла целый комплекс мер давления на свободное слово: драконовскую цензуру, экономическое удушение независимых печатных органов, административное воздействие, судебное преследование редакторов и авторов. Впрочем, журналистов, писателей, готовых рисковать своим положением и своим благополучием ради сохранения верности идеалам свободы, оставалось к тому времени не так уж много. Особенно это касалось отдаленной провинции, где административное давление на прессу было более грубым, а вмешательство в ее дела – более бесцеремонным, чем в столице или крупных городах европейской России. Саша Чёрный писал об этом времени в стихотворении «Отбой» (1908):

По притихшим редакциям,
По растерянным фракциям,
По рутинным гостиным,
За молчанье себя награждая с лихвой,
Несется испуганный вой:
Отбой, отбой,
Окончен бой,
Под стол гурьбой!

Реакция затронула все стороны российской действительности, жестоко ударив по демократическим иллюзиям, смертельно напугав большую часть либеральной интеллигенции. Общественную атмосферу того времени определяли растерянность и отчаяние, вызванные потерей веры в возможность демократического обновления общества. Завинчивание идеологических гаек, судебные и административные преследования, жесткий цензурный намордник, давление официоза были столь сильны, что немало представителей интеллигенции, в том числе творческой, отрекались от прежних идеалов и убеждений. Но гораздо больше было тех, кто занял выжидательную позицию, кто не решался высказывать свои политические взгляды, а тем более действовать в соответствии с ними. Откликом автора «Шпилек» на эту общественную ситуацию, на нежелание российской интеллигенции открыто отстаивать свою гражданскую позицию явилось «Сказание об Исаакии витязе». В этом сатирическом стихотворении Чудаков аллегорическим сюжетом отвечает на приведенный в эпиграфе вопрос из газетной передовицы: «Итак, за кем же пойдет русская интеллигенция?». Интеллигенцию в произведении представляет витязь, оказавшийся на политическом распутье, не знающий, что выбрать – терновый венец, сытый покой мещанина или борьбу против правды и света:

...Опешил наш витязь, когда прочитал
Такие с доски наставленья
И долго в раздумье затылок чесал:
Какое же взять направленье?
Конечные пункты различных дорог
Мешались и путались вместе.
К чему же стремиться, решить он не мог
И начал топтаться на месте.
За месяцем месяц летит и летит,
Один, три, десяток... сто... двести...
А он на распутье, как прежде, стоит,
И топчется, бедный на месте.

Один из традиционных для русской литературы данного периода (в том числе для авторов журнала «Сатирикон») объектов сатирического изображения – сонный российский обыватель, равнодушный к тому, что происходит в стране, безучастный к настоящему искусству, к высоким общественным идеалам, требующим от него жертвенного служения. Обыватель, предпочитающий услаждать свои зоологические инстинкты и примитивные вкусы, находящийся в состоянии духовного анабиоза. В «Сатириконе», к слову сказать, по мере нарастания реакции тема разоблачения сытого и сонного царства мещанства вышла едва ли не на первый план. Российский обыватель, погрузившийся в мертвую спячку, не желающий принимать участие в общественно-политической жизни страны, стал постоянной мишенью для сатириков. Аркадий Аверченко писал: «Теперь вся Великая Россия сквозь сон извивается в смертельной нудной тоске» [Сатирикон 1909: 3].

Сонному обывателю посвящено стихотворение Ф. Чудакова «Спящий красавец» с подзаголовком «Оперетка в 1 действии». В прозаической преамбуле автор рисует условно-аллегорическое сценическое пространство, на котором и будет разыгрываться «опереточное» действие: «глухой, непроходимый лес», в котором растут огромные деревья с выразительными табличками: «Усиленная Охрана», «Чрезвычайная Охрана», «Военное Положение» и т. п. А между деревьями – множество пней с надписью: «срублено 1905 года». Среди леса стоит избушка на курьих ножках, а в ней «сном праведника почивает ОБЫВАТЕЛЬ». К избушке чередой являются аллегорические образы – «тени» прекрасных женщин, которые безуспешно пытаются пробудить обывателя.

Тень: Пусти! Я – тень Культуры!
Я светом знания твой хочу нарушить сон!
Я принесла тебе сокровища скульптуры,
Науки, зодчества, литературы...
Обыватель: Вон!
Не надо твоего заморского подарка!
Уйди! А то проснусь, так небу будет жарко!..

Тень: Скорей пусти меня!
Я гордая прекрасная Идея!
Тебя я поведу в волшебные края,
Где так светло, где дышится вольнее.

Где Братство, Равенство...
Обыватель: Гони ее по шее!
Ишь, принесла богатый клад!
Впусти тебя – тотчас велят
Пасти Макаровых телят!
Шалишь! Повертывай назад!..

Первые «тени» с плачем покидают сцену, и тут появляется целый рой других «теней»: «бесстыдные, циничные женщины и мужчины, грубо-обнаженные, с нескромными жестами»:

Первый: Милый, добрый Обыватель!
Отвори, ты будешь рад!
Я – старинный твой приятель –
Необузданный Разврат!
Второй: Отвори ты нам, не труся,
Сон нарушить не жалея!
Порнографией зовуся
Я издавна у людей!..
Остальные голоса: Мы – клубничное искусство,
Наслаждение – наша цель!
Мы в тебе разбудим чувство,
Незнакомое досель!
Обыватель с распростертыми объятиями:
Скорей же, милые друзья!
Забудем мы и сон и горе!
Забуду с вами страхи я
И... запируем на просторе!..

Качества, которые Чудаков наблюдал у большинства российских обывателей (равнодушие, холопство, отказ от всего возвышенного, склонность к низменным удовольствиям), вызывали у него острое неприятие.

Большая часть сатирических стихов Чудакова была реакцией на события политической жизни страны и мира. Понятно, что в этих произведениях автор, сторонник эсеровских (и – шире – левых, революционно-демократических) взглядов, высмеивал своих идейных противников: представителей консервативных и черносотенных партий, одиозных депутатов Государственной думы, недальновидных и корыстных чиновников.

Уже сам выбор тем для фельетонов и фактов реальной действительности, на которых они основывались, несет на себе отпечаток личности автора. Так, например, Ф. Чудаков не оставлял без насмешливо-язвительных комментариев правительственную политику, направленную на реализацию планов премьер-министра П.А. Столыпина по разрушению общинного устройства крестьянской России. Являясь по своим взглядам сторонником эсеровской партии и предлагаемой ею земельной программы, суть которой – укрепление и развитие коллективных, кооперативных, общинных форм общественного и экономического устройства страны, автор «Шпилек» подвергает саркастическим насмешкам депутатов III (октябристской по составу) Государственной думы, поддержавших планы Столыпина. Этой теме посвящен сатирический фельетон «Подвиг»:

Раз в Таврических хоромах [3]
 Депутаты заседали,
 Обсудив мужичью долю,
 Ей сюрприз приготовляли:
 «Наш мужик и наг и беден, –
 Говорили депутаты, –
 И ему ужасно вреден
 Призрак общины проклятой.
 Этот голод, недороды,
 И прикладыванье к чарке,
 И искание свободы, –
 Все лишь общины подарки.
 С давних пор мужик бунтует,
 Полон злобы беспричинной.
 Этот бунт ему диктует
 Тот же старый дух общинный.
 Ведь не даром эту «гадость»
 Защищают так эсеры,
 (Чтоб они, стране на радость,
 Все пропали от холеры!)
 Так давайте дружным взмахом
 Уничтожим Минотавра –
 «Им» главу покроем прахом,
 А себе – венком из лавра.
 И, воспрянув с буйным жаром,
 Размахнулись депутаты
 И снесли одним ударом
 Призрак общины проклятой.

—
 А мужик пустил меж уха
 Депутатские подарки,
 И, стянув покрепче брюхо,
 Снова топит горе в чарке.
 А кулак, весьма довольный,
 В мутной речке рыбу удит...
 Уничтожен дух крамольный...
 Что-то будет, что-то будет?

Как видим, центр тяжести в фельетоне Чудакова, в полном соответствии с законами жанра, перемещен с непосредственного описания событий на их осмысление и анализ, а это немислимо без выражения собственной позиции – прозрачной и недвусмысленно ясной. А так как позиция сатирика радикально расходилась с позицией органов государственной власти, произведение становилось уязвимым и в цензурном отношении, и с точки зрения возможной реакции административных и судебных инстанций, а также полицейского и жандармского ведомств. Собственно, судьба сборника «Шпильки» и не могла быть иной, благополучной. Книга изначально была обречена. Удивление вызывает не то, что ее изъяли из обращения, а то, как автору и издателю удалось напечатать книгу, провести ее через цензуру.

В любом случае, нужно отдать должное гражданскому мужеству автора «Шпилек» – беглого ссыльно-поселенца, находящегося под гласным надзором полиции, только что выпущенного из тюремной камеры (и вскоре вновь туда водворенного). Ф. Чудаков не мог не осознавать, что от того, насколько лояльно он ведет

себя по отношению к существующему порядку, напрямую зависело его благополучие, благополучие семьи, возможность заниматься любимым делом, его свобода, наконец, да и вся его дальнейшая судьба.

Пожалуй, самая политически острая шпилька Ф. Чудакова – стихотворный фельетон «Сколько их!..», с подзаголовком «Из тюремных мотивов». И дело не только в том, что произведение это оппозиционно по своему характеру. Самое чувствительное и самое неприемлемое для цензуры и в целом для власти (особенно – провинциальной, губернской) то, что в стихотворении подвергнуты осмеянию конкретные, названные поименно, государственные мужи.

Столичной прессе провести через цензуру подобные материалы было значительно легче. Так, в 1908-1909 гг. едва ли не все номера «Сатирикона» содержали язвительные намеки, а иногда и прямые выпады, направленные против государственной политики силового «успокоения» России, против той твердой внутривнутриполитической линии, идеологом и главным проводником которой был премьер Столыпин. Из номера в номер журнал давал иронические и сатирические портреты администраторов-усмирителей, имена которых, благодаря прежде всего либеральным печатным органам, были широко известны на Руси. Объектом язвительных уколол сатириков часто становились наделенные в условиях непрекращающихся революционных беспорядков чрезвычайными полномочиями градоначальники и генерал-губернаторы, действующие в наиболее беспокойных российских регионах. Некоторые из них, прежде всего военные люди, генералы, воспринимались общественностью как диктаторы. С точки зрения российских «прогрессивных» кругов, самые одиозные администраторы этого типа: генерал-майор Думбадзе (Ялта), генерал-лейтенант Толмачёв (Одесса), генерал от инфантерии Меллер-Закомельский (Рига), князь Горчаков (Вятка) и т. д. Репутация этих «столпов» правительственного порядка на страницах «Сатирикона», как говорится, не просыхала, к ним было приковано повышенное внимание авторов журнала [Евстигнеева 1968]. Так, например, А. Аверченко писал об усмирении крестьян в Вятке. По распоряжению генерал-губернатора князя Горчакова, их «прогоняли сквозь строй стражников с нагайками... Били в трех случаях: до уплаты недоимок, во время уплаты и после уплаты. Народному ликованию не было конца» [Сатирикон 1909: № 8, 11]. В другом номере журнала рассказывалось о том, как в Калугу явился одессит с предложением поменяться генерал-губернаторами. Изумленные калужане ответили: «Да ведь у нас тот самый, Вятский», – имея в виду скандальное прошлое теперешнего своего генерал-губернатора Горчакова. Но одессит продолжал уговаривать, в полной уверенности, что хуже их градоначальника Толмачёва не бывает. О порядках, которые царили в Одессе при Толмачёве, рассказывал А. Аверченко. Герой его «Испытанных средств» – одесский обыватель Недобитов, у которого после усмирения по методу генерал-губернатора Толмачёва голова пробита железной палкой. Как объясняет Недобитову врач, «это

хирургический отдел трепанации мозговых функций фармакопеи, согласно пункта девятого, первого раздела статей об усиленной охране» [Сатирикон 1909: № 1, 2-3].

Ф. Чудаков выступил в своем стихотворном фельетоне «Сколько их!..» вроде бы как типичный сатириконец. По крайней мере, произведение показывает, что амурский автор являлся постоянным читателем петербургского еженедельника и разделял его позицию. Однако, судя по всему, лишь до определенной черты. Отнести Ф. Чудакова всецело к лагерю либеральной интеллигенции нельзя. Да, как и авторы «Сатирикона», он упоминает все тех же одиозных столыпинских администраторов-усмирителей – Горчакова, Толмачёва, Меллер-Закомельского, Думбадзе. О первых трех речь пойдет в комментариях к стихотворению (см. приложение к данной статье). О последнем, Думбадзе, есть необходимость поговорить развернуто.

Итак, один из персонажей произведения, узник острога, представляется: «– Я Думбадзии счастливой / Горемычный гражданин!». Никакой Думбадзии в составе Российской империи, конечно же, не было. «Счастливой» Думбадзией, которую населяют «горемычные граждане», Ф. Чудаков остроумно называет Ялту – в период, когда ее градоначальником был полковник (с 1907 – генерал-майор) Думбадзе. Иван Антонович Думбадзе (1851-1916) – известный административный деятель правых взглядов. На должность градоначальника полковник был назначен осенью 1906 г., в самый разгар революционных беспорядков. С первых же дней он заслужил репутацию твердого монархиста и непримиримого противника погромщиков и революционеров всех мастей. Стремясь на корню пресекать не только прямые антиправительственные выступления, но и малейшие проявления политического вольнодумства, Думбадзе действовал по-военному решительно и жестко, не всегда считаясь с существующими юридическими нормами, без оглядки на общественное мнение (которое в ту пору было почти сплошь либеральным). Он создал в Ялте режим личного контроля едва ли не над всем происходящим, превратив город фактически в свою вотчину, в подобие государства в государстве. Журнал «Сатирикон» язвил по этому поводу: «– Вы русский подданный? – Нет, ялтинский» [Сатирикон 1908: 15]. Либеральные круги ненавидели ялтинского градоначальника, «прогрессивная» пресса травила его или, в лучшем случае, иронизировала. Так, в № 4 за 1908 г. «Сатирикон» поместил выразительную телеграмму: «Генерал Думбадзе выслал в 24 часа из Ялты свою собственную шинель за ношение красной подкладки». Революционеры ультимативно требовали от Думбадзе подать в отставку, угрожая ему смертью. На эту угрозу градоначальник ответил: «Я уже собирался подать в отставку и даже рапорт заготовил по этому поводу, но теперь остаюсь на службе и докажу на деле, что никаких угроз не боюсь и остаток дней своей жизни посвящу на службу Царю и Родине» [Сатирикон 1908]. В феврале 1907 г. на Думбадзе было совершено покушение, но брошенная бомба лишь контузила его. Организатором покушения был Пётр Войков, в будущем один из убийц царской семьи. Несмотря на

шумные газетные скандалы, которые сопровождали «диктаторские» поступки ялтинского градоначальника, это не сказалось негативно на его карьере, в чем, видимо, не последнюю роль сыграло личное расположение к Думбадзе Николая II. В одной из бесед со Столыпиным, касаясь событий 1905-1907 гг., император заметил, что беспорядки были бы невозможны, если бы у власти стояли люди более энергичные и смелые. Если бы у меня в те годы было несколько таких людей, как полковник Думбадзе, все пошло бы по-иному.

Разумеется, бывшему социалисту-революционеру, беглому ссыльному Фёдору Чудакову все виделось тогда совершенно иначе. Убежденный противник царизма, он по определению не мог быть на стороне рьяного слуги самодержавия, ни при каких условиях не мог принять его сторону или хотя бы с уважением отнестись к его гражданской позиции. Взгляды автора «Шпилек» в этом отношении максимально сближаются со взглядами либеральной столичной интеллигенции.

Однако если сатириконец главный акцент делали на ущемлении градоначальником Думбадзе и другими высокопоставленными чиновниками гражданских свобод, на подавлении политического инакомыслия, т. е. на действиях, которые наносили ущерб преимущественно левым политическим партиям, радикальной и либеральной интеллигенции, то Чудаков заостряет внимание на другом: по его мнению, от самодурства и произвола властей страдает прежде всего простой народ, «люди в серых армяках». Причем, по мнению автора стихотворения «Сколько их!..», жертвами жестокого административного насилия становятся не только подданные нескольких находящихся в центре общественного внимания градоначальников и генерал-губернаторов, а буквально все население обширной Российской империи. В тюремном остроге (этот образ является предельно обобщенным) оказались собраны представители простого народа из Финляндии, Польши, Украины, Прибалтики, Пензы, Перми, Вятки, Рязани, Суздаля, Ярославля, Пошехонья, Тамбова, Северного Кавказа, Ялты, Сибири, Приамурья...

Ты скажи, каких губерний
Представителей здесь нет? –
Но... сгустился мрак вечерний
И – не слышен был ответ.

Иначе говоря, по Чудакову, вся Россия – не чаемый Чеховым «вишневый сад», а один большой острог, вселенский «дом печалей».

Еще одна заслуживающая особого внимания шпилька – «Гоголевский юбилей». Это стихотворение Ф. Чудакова органично вписывается в русло сатирической традиции начала XX столетия. Тот же «Сатирикон» не раз использовал юбилеи известных писателей как повод для обличения лицемерия государственной политики и официозной прессы. Специальные номера журнала были посвящены юбилеям Толстого, Чехова, Гоголя. По общему признанию, самый яркий и острый из них – 12-й (гоголевский) номер за 1909 г. На его

обложке – рисунок известного карикатуриста Ре-Ми (Николая Ремизова) «В участке». Изображенный там городской ждет указаний от начальства по поводу столетнего юбилея автора «Мертвых душ»: «Ваше благородие! На Толстого приказывали не пущать, на Суворина – тащить... Как теперь прикажете?» Как это ни парадоксально, «на Гоголя», казалось бы, крайне неудобного для нее, власть посчитала необходимым народ «тащить». В ряде материалов гоголевского номера проводится мысль, что государство использует авторитет русских классиков в собственных интересах – ради «освящения» существующего порядка. Пышные официальные торжества по случаю юбилеев стали для самодержавия способом препарирования, извращения творческого наследия великих авторов, формой выхлещивания из их произведений подлинного идейного смысла. В центральном материале гоголевского выпуска – «Юбилейной газете» – с помощью остроумного обыгрывания «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Шинели», «Мертвых душ», авторы «Сатирикона» демонстрируют неувядающую актуальность произведений Гоголя. Юмористически и сатирически переиначивая классические гоголевские сцены и образы, сатириконцы превращали их в средство обличения современных российских порядков.

Ф. Чудаков и здесь, обращаясь к той же самой теме, что и сатириконцы, расставляет иные смысловые акценты. Он пишет о непреодолимой пропасти, которая пролегает между «сливками общества», т. е. господствующим классом, интеллектуальной элитой страны, и простым народом. А причина этого разрыва, как считает автор шпильки, – слепота, глухота, нечувствительность к народным страданиям, непонимание чаяний «младших братьев». Но самое главное – вошедшее в плоть и кровь российской интеллигенции лицемерие, заставляющее ее «с умиленным, елейным лицом» вести «игру», ломать «комедию», принимая участие в казенных официозных празднествах. В представлении рабочих, ждущих от просвещенной части общества не пустого трезвона, а «хлеба насущного» (не только в буквальном смысле, разумеется), российская интеллигенция, источающая в угоду власти приторный елей, создающая «шумиху уродскую» вокруг очередного писательского юбилея, «от жиру бесится».

Несмотря на то, что в 1909 г. Фёдор Чудаков только только начинал ощущать себя амурцем, уже тогда в части своих фельетонов он так или иначе затронул проблемы местной жизни. Неудивительно, что именно они вызвали наибольший резонанс у амурских читателей. К числу таких произведений можно отнести стихотворный фельетон «Закрытие порто-франко». Небольшая справка: порто-франко (итал. *porto franco* – «свободный порт») – порт, пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров. Порто-франко не входит в состав таможенной территории государства и создается с целью оживления приграничной торговли, увеличения товарооборота, с целью насыщения внутреннего рынка дешевыми импортными товарами. В Российском импе-

рии порто-франко существовало в Одессе, Феодосии, Батуми, Владивостоке и т. д. Право беспошлинной торговли распространялось и на Благовещенск. Для Приамурья и в целом Дальнего Востока такой режим международной торговли был особенно важен, так как государство не в состоянии было обеспечить население этих удаленных от центра регионов дешевыми российскими товарами.

Исходным началом в фельетоне, как известно, выступает жизненный факт, от которого отталкивается сатирик. Стихотворение Чудакова «Закрытие порто-франко» – реакция автора на решение правительственной комиссии якобы исключительно ради блага простого народа ликвидировать в Приамурье режим беспошлинной, не облагаемой таможенными сборами торговли. А это, понятно, могло привести только к одному – к существенному удорожанию импортных (китайских) товаров, к обеднению их ассортимента и, следовательно, к снижению в конечном счете жизненного уровня местного населения, того самого простого народа, о благе которого якобы неустанно пекутся высокие государственные мужи. Стихотворение представляет собой воображаемый, виртуальный диалог, который ведут, с одной стороны, члены правительственной комиссии, объясняющие смысл своего явно лоббистского и по сути антинародного решения, а с другой – «скептический голос», выражающий авторскую позицию.

Финансовая комиссия:

Фортель мы такой устроим:

Порто-франко призакроем

В приамурской стороне.

Этим цены мы утроим

На изделия извне.

Ведь без пошлин и таможен,

Все понятно, невозможен

Быт российских мужиков.

К черту импорт безвозмездный,

Иностранцам лишь полезный!

К черту немцев маклаков!

Нас китайцы обижают

И работу отбивают

У российских христиан.

Нашим потом набивают

Азиатский свой карман.

Как подымутся расходы,

Так китайцы – ходу-ходу –

Так и бросятся бежать!

Объектом сатирического изображения в этом и ряде других фельетонов Чудакова более позднего времени является такая чрезвычайно активная категория государственных деятелей, правительственных чиновников, думских политиков, которая в корыстных целях лицемерно разыгрывает беспроектную карту «патриотизма». Колоритный образ записного «патриота», картинно плачущего о русском народе и одновременно нарциссически любующегося собой, собирающего свои

драгоценные слезы во флакон, нарисован в стихотворном фельетоне Чудакова «Желчные песни», опубликованном в издававшемся в Благовещенске сатирическом журнале «Колючки» (1909-1910):

Эти слезы я пролил за русский народ!
Эти слезы – печаль мировая!
Бескорыстные слезы! Их лил патриот
За дымящейся чашкою чая!

Казенных псевдо-патриотов, якобы неустанно пекущихся о благе русского народа, якобы защищающих интересы российского государства, а на деле часто решающих свои узкогрупповые и даже коррупционные задачи, Чудаков как человек и как гражданин презирал, а как журналист и писатель высмеивал со всем присутствующим ему остроумием и язвительностью. Так он поступает и в фельетоне «Закрытие порто-франко», вошедшем в сборник «Шпильки»:

Скептический голос:
Ну, а русскому народу
От чрезмерного расхода
Не придется... подыхать?

Комиссия:
О, не верьте диким слухам,
Будто голоден мужик:
Ведь питаться святым духом
Он давным-давно привык.
Значит, будет все так гладко,
Без войны, без громких слов!

Голос:
Преклоняюсь пред догадкой
Государственных умов!

Хотя фельетон «Закрытие порто-франко» воспринимался современниками как злободневный, обращенный к событиям тогдашнего времени, к тогдашней социально-экономической ситуации в Приамурье и в России в целом, он, спасибо сегодняшним чиновникам, до сих пор не утратил своей актуальности.

Среди произведений более позднего периода, ярко иллюстрирующих масштаб сатирического дарования Ф. Чудакова, – стихотворный фельетон «Сотворение Приамурья», опубликованный в газете «Амурское эхо» 13 (26) сентября 1915 г. за подписью Гусяр. Произведение построено в форме диалога персонажей индуистской мифологии: Браммы (Брахмы) – верховного божества, творца мира и Сивы (Шивы) – его антагониста. В произведении Чудакова они тоже выведены как антиподы: Брама излучает пафосный, казенный оптимизм, Сива же – воплощение иронии и скепсиса. Благостный и сияющий Брама, сотворив гармоничный по его представлениям мир, в котором есть все («Экватор и тропики зверем кишат, / В умеренном поясе пушки рычат, / Есть камень для каждой могилки / И край Туруханский для ссылки»), собирается почтить, отдохнуть от

великих трудов, но тут появляется скептик Сива и напоминает ему, что творец забыл про Приамурье: «Лежит оно вот уж с какого числа / Пустынно и голо, как череп осла». И Бrame приходится нехотя, наспех устранять собственные недоделки, отпуская Амурскому краю то, что осталось:

Дадим Приамурью мы семь городов
С положенным кворумом стражи.
Там будут обильны различных родов
Растраты, убийства и кражи.
Процент преступлений там будет высок,
А около города будет острог,
Чтоб житель без лишней заботы
Шагал в арестантские роты.
Насыплем там золота в русла ключей,
В наносные мели, в овраги, –
Пусть это заставит досужих людей
Просить у правительства драги.
А умные люди построят амбар,
Сберут туда всякий негодный товар,
И будут они, между прочим,
Питаться китайским рабочим.
И будет основой блага везде
Китаец, отверженный парий.
А там и проблема о «желтом труде»
Родится в тиши канцелярий.
И будут китайцев туда не пущать,
Потом разрешать, и опять запрещать,
А приставу будут доходы
И с желтой, и белой породы...

Сегодня, спустя век, можно в полной мере оценить остроумие, меткость, художественную выразительность, а главное, – неувядающую актуальность сатиры Ф. Чудакова. Его фельетоны выдержали самое трудное испытание – временем. А все потому, что перо сатирика нацелено было не на бытовое мелкотемье, а на явления масштабные, государственно, национально и социально значимые.

После Февральской революции Фёдор Иванович сотрудничал в эсеровской газете «Народное дело», в начале 1918 г. редактировал еженедельный сатирический журнал «Дятел, беспартийный» (всего вышло семь номеров). Октябрьский переворот 1917 г. Чудаков встретил враждебно, критиковал большевиков с позиций «беспартийного» демократа. 28 февраля (13 марта по новому стилю) 1918 г. Ф.И. Чудаков покончил жизнь самоубийством. Подобности его смерти ужасают. Приняв совместное решение уйти из жизни, Фёдор Иванович и его жена взяли на себя тяжкий грех – насильственно оборвали жизнь своей единственной дочери Наташи, родившейся в 1909 г.

Какова причина столь трагического исхода? Предсмертная записка ясности не вносит. Она гласит: «Ко всем. Прощайте! Уходим от вас честными и чистыми: на наших руках нет крови. Будьте счастливы! Да здравствует разум! Фёдор Чудаков. В.И. Чудакова. 28 февраля».

Из этой записки видно, что Фёдор Иванович первоначально не собирался проливать кровь родных ему людей. Как выяснили газетные репортеры, судя по всему, Чудаковы решили покончить с собой с помощью угарного газа, постелив общую постель на полу в прихожей и закрыв раньше времени печные заслонки. Однако спустя какое-то время взрослые пришли в себя. Дочь была мертва (а может быть, находилась в бессознательном состоянии). Выбора не было. Остаться в живых после смерти дочери было выше их сил. И тогда Фёдор Иванович вспомнил о хранившемся в доме двуствольном охотничьем ружье. Первый выстрел Чудаков, по-видимому, произвел в дочь. Вдвоем с Варварой Ипполитовной они сложили руки ребенка на груди. Вторым выстрелом Фёдор Иванович покончил с женой. После этого он подозвал к себе любимую собачку Максимку, неоднократно упоминавшуюся в его юмористических рассказах и очерках, и тоже застрелил ее. Затем выстрелил себе в рот. Смерть наступила, по-видимому, мгновенно. Выстрел обезобразил, сделал неузнаваемым его лицо. Жена и дочь были убиты выстрелами в область сердца.

Как комментировали газеты того времени, главной причиной трагического ухода из жизни талантливого поэта стало то, что он не смог перенести дискредитации святых для него революционных идеалов, веры в разум, честь и свободу... Понять истинный смысл этих слов нельзя без обращения к историческому контексту.

Что же происходило в те дни в Благовещенске, что могло спровоцировать самоубийство? С 6 по 13 марта 1918 г. здесь разворачивались драматические события, получившие название Гамовский мятеж. Накануне, с января, в городе фактически установилось двоевластие: городской Совет рабочих и солдатских депутатов провозгласил власть Советов, а земская управа, поддержанная казачьим войсковым правлением, отстаивала полномочия органов местного самоуправления. Неприемимые политические противоречия переросли в открытое столкновение, в результате которого город был захвачен отрядами добровольной гражданской милиции, сформированной земскими органами. Атаман Гамов был назначен военным руководителем исполкома Народного совета, сформированного из руководителей областной земской и городской управ. В Благовещенске прошли массовые аресты членов Совета, красногвардейцев, комиссаров. Сторонники советской власти отступили в Астрахановку, где начали формировать вооруженные отряды для захвата (или освобождения – это как посмотреть) города. Решающие события произошли 12 марта, когда отряды Красной гвардии повели наступление на Благовещенск. Бои на улицах города были жестокие и кровавые, применялась артиллерия, использовались пулеметы. К вечеру Благовещенск был в руках войск революционного штаба, а 13-го, в день самоубийства Чудаковых, оказались подавлены все оставшиеся к тому времени очаги сопротивления. Жертвами этих событий стали, по самым скромным подсчетам, более 200 человек.

В эти страшные дни до Фёдора Ивановича доходили

слухи о гибели друзей, об убийствах безоружных граждан в их квартирах, о грабежах и всяческих насилиях, о валяющихся на улицах раздетых донага трупах «буржуев», о залитых кровью тротуарах. Во всех этих рассказах, конечно, было много преувеличений, но в общих чертах они вполне отвечали кошмарной действительности. Знакомые поэта свидетельствовали, что в дни уличных боев Чудаков ждал, когда к нему придут мародеры и избавят от необходимости быть свидетелем той мерзости, которая творилась святым для него именем революции. И якобы когда он увидел, что «избавители» не являются к нему – «решил сам избавить себя и свою семью от дальнейших душевных мук и страданий за оплеванную и поруганную веру в святое дело революции».

Литература

- Басов М. Ф.И.* Чудаков // Сибирские огни. 1922. № 1.
Босяк [Чудаков Ф.И.]. Пережитое: стихи. Благовещенск: Типография Г.И. Клитчоглу, 1909.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Русский язык, 1978-1981. Т. 4.
Дочь шамана // Дятел, беспартийный. 1918. № 1-7 (подпись: «К. Резниченко»); *Из детства Ивана Грязнова // Дятел, беспартийный.* 1918. № 3, 6 (подпись: «Язва»);
Лосев А.В. Об одном забытом поэте (Фёдор Иванович Чудаков). Публикация А.В. Урманова // Амур: Литературный альманах БГПУ. № 7. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2008.
Матюшенский А.И. Взаимный банк: Роман из местной жизни. Ч. 1. Благовещенск: Изд-во газеты «Благовещенское утро», 1916.
Матюшенский А.И. Фальшивые сторублевки: Роман из местной жизни. Благовещенск: Изд-во газеты «Благовещенское утро», 1913.
Сатирикон. 1908. № 4
Сатирикон. 1908. № 9.
Сатирикон. 1909. № 35.
Словарь русского языка: в 4 т. 2-е изд., испр. и доп. М.: Русский язык, 1981-1984. Т. 4.
Стож М.Е. Словарь сибирских писателей, поэтов и ученых. Иркутск, 1916.
Чудаков Ф.И. Изгнанники: Картина из жизни в ссылке. Благовещенск, 1918.
Чудаков Ф.И. Из воспоминаний // Дятел, беспартийный: еженедельное литературно-сатирическое издание. 1918. № 4. 4 (17) февраля.
Чудаков Ф.И. Пережитое: стихи // Амур: Литературный альманах БГПУ. № 7. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2008.
Язва [Чудаков Ф.И.]. Шпильки: сборник стихотворений. Благовещенск: Издал Д. Челеби; Типография т-ва Б.С. Залеский и Ко, 1909.

Приложение

Шпильки [4]

Сказание об Исаакии витязе

«Итак, за кем же пойдет
русская интеллигенция?»
(из газетной передовицы)

Скакал Исаакий сквозь тьму и туман.
Богато одет он и важен.
Был конь под ним черен, как сам Крушеван, [5]
Как сам Пуришкевич [6], – отважен.
Несутся конь с витязем ночи и дни,
Споткнутся и мчатся сугубо,
И вот, наконец, подъезжают они
Ко пнищу столетнего дуба.
От этого пнища, среди голых полян,
Легли три большие дороги.
Затпрукал наш витязь и вмиг из стремян
На резвые вскакивал ноги.
На пнище прибита большая доска,
Покрытая илом и грязью,
И чья-то на ней начертала рука
Узорной славянскою вязью:
«Коль скоро налево пойдешь, молодец,
По самой кремнистой дороге,
Обрящешь колючий терновый венец
И звонкие кольца на ноги.
Трудна та дорога и муки полна,
Найдешь на ней радости мало,
И только на кончике самом видна
Златая заря идеала.
А если средней дорогой пойдешь,
Иную судьбу испытаешь:
Хорошего мало на ней ты найдешь
И мало на ней потеряешь.
В огромное царство она приведет,
Где правит Царица Рутиня!
В том царстве обрящешь довольство, почет
И сытый покой мещанина.
Послушай же, витязь, мой добрый совет:
Смелее пускайся по правой.
И будешь не только обут и одет,
Но также вернешься со славой,
Научишься светлые грезы глушить,
Идти против правды и света
И будешь в сердцах православных ты жить
На многие, многие лета!».
Опешил наш витязь, когда прочитал
Такие с доски наставленья
И долго в раздумье затылок чесал:
Какое же взять направленье?
Конечные пункты различных дорог
Мешались и путались вместе.
К чему же стремиться, решить он не мог
И начал топтаться на месте.

За месяцем месяц летит и летит,
Один, три, десяток... сто... двести...
А он на распутье, как прежде, стоит,
И топчется, бедный на месте.

Сколько их!..
(Из тюремных мотивов)

Окруженный цепью палей [7],
Неприступен и высок,
Предо мною дом печалей –
Грозный высится острог.

С визгом двери расперлися,
Взвыли цепи на ногах.
«Вы откуда собралися,
Люди в серых армяках?» [8]

«Я оттуда, где когда-то
Раздалось на белый свет,
Что «земля у нас богата,
Только в ней порядка нет» [9].

Но теперь – теперь порядок,
А богатства – ни-ни-ни!
Тот порядок хоть не сладок,
Но начальства не вини!».

– «Я простой рабочий сельский
Из баронских батраков.
Там, где Меллер-Закомельский [10],
Я оставил отчий кров!».

– «Я из рижского музея
С божьей помощью утек.
У меня свихнута шея
И исчезли ступни ног!».

– «Генерала Толмачёва
Верноподанным я был!» [11]
– «Я у князя Горчакова
Задом подати платил!» [12]

– «Я Думбадзии счастливой
Горемычный гражданин!» [13]
– «Я угрюмый, молчаливый,
Гельсингфорса вольный сын!» [14]

– «Я – дитя крамольной Польши!»
– «Я – полтавский малорусс!»
– «Я оттоль, где гор всех больше
Седовласый Эльборус!» [15]

«Я из Пензы толстопятой!» [16]
«Я пермяк – сосновый лоб!» [17]
Я на шулки тароватый [18]
Ярославский водохлеб» [19].

– «Я рязанский толоконник!» [20]
– «Я – суздальский богомаз!» [21]
– «Пошехонский балахонник [22],
Я – коров на бане пас!»

– «Я – таежный медвежатник,
Енисейский гробовоз!»
– «Я тамбовский саламатник!» [23]
«Я – амурский спиртонос!»

Черт возьми, да разве можно
Всех запомнить, записать!
Трудно прать противу рожна,
Но трудней «шпану» считать.

Ты скажи, каких губерний
Представителей здесь нет? –
Но... сгустился мрак вечерний
И – не слышен был ответ.

Эстеты

По заключению городского врача Т. перелом носа и оторвание ушной раковины у потерпевшей ввиду социального ее положения (крестьянка) нельзя признать безобразящими ее лицо.

(Из обвинительного акта по делу об истязании кр. Ив-ой свекровью и мужем)

В наш век правды и гуманности,
Торжества святых идей,
Удивительные странности
Мы встречали у людей.

Если личико смазливое
Милой барыньки – о, стыд!
Бородавка некрасивая,
Вдруг вскочивши, осквернит, –

Мы кричим: Природа дерзкая!
Как ты смела сей алмаз
Бородавкой этой мерзкою
Осквернить хотя на час!

Гей, на помощь парфюмерия!
Медицина! Марш сюда!
Уничтожь сию «материю»,
Чтобы не было следа!

Увенчались старания...
Мы ликуем без конца:
Вновь прекрасное создание
Услаждает нам сердца!

—
Ну, а если злообычная
Баба – дикая свекровь,
Над невесткой горемычною
Издеваясь, «пустит кровь»,

Вырвет ухо, вырвет волосы,
Переломит палкой нос
И кнутом ременным полосы
Нанесет, куда пришлось.

Мы смеемся: «Вот умора-то!
Полюбуйтесь, господа:
Рожа надвое распорота,
И от уха нет следа!

Тут увидеть преступленья
Могут только простаки:
Ведь в крестьянском положении
Это, право, пустяки!

Говорят, что безобразие,
Что она теперь глуха!
Ну, и что же? Вот оказия!
Ловко, право, ха-ха-ха!»

Гоголевский юбилей

Есть у русских обычай прекрасный:
Если в ком искра Божья горит,
Кто о нашей рутине ужасной
И невежестве сердцем болит,
Кто страдает за наши пороки,
К идеалу святому ведет,
И горчайшие сыплет упреки
Всем, кто в пропасть толкает народ, –
Мы того отвратительно травим,
Гоним в ссылку, в могилу, в тюрьму,
А по смерти торжественно ставим
Мавзолей из гранита ему.
Нашей русской натуре богатой
На течение веков наплевать.
Мы стараемся, хоть поздно вато,
Мертвецу по заслугам воздать.
И горят юбилейные площадки...
С умиленным, елейным лицом,
Наподобье ошпаренной кошки,
Мы хвалебные гимны поем.
Сливки общества (жирные сливки)
«Младших братьев» любезно зовут
И читают умильно «отрывки»,
И умильные речи ведут.
Раздают пятаковые книжки,
Безвозмездно портреты дарят,
В промежутке зевка и отрывки
«На-ка, вот почитай!» – говорят.
Все, что выше простого понятия,
Им стараются растолковать.
Ухмыляются младшие братья,
Ухмыляются: как не понять!
И когда, получивши подарки,
По нетопленным хатам идут –
Мастерят из брошюрок сигарки,

А портрет на божницу кладут.

—
 Вы в восторге от вашей комедии!
 Да и как не куражиться вам:
 Вы искусств вековое наследие
 Разделили и темным умам.
 Манной кашкой кривляния скучного
 Вы помазали алчущий рот
 Тем, кто хочет лишь хлеба насущного,
 А для вас пироги отдает.
 Вы хвалиться торжественно станете,
 Что исполнили долг пред страной.
 Но, скажите, кого вы обманете
 Этой жалкой, ненужной игрой?
 Эту вашу шумиху уродскую
 Понимает рабочий и в ней
 Видит только затею господскую
 И затрату ненужных рублей.
 Ждете вы, что на шею повесится
 Вам рабочий за этот трезвон?
 Нет: «От жиру... мы знаем, кто бесится»,
 Рассуждает скептически он.
 «Красноречья не надо елейного!
 Для чего огород городить,
 Коль, придя с торжества юбилейного,
 Мы не знаем, чем брюхо набить!»

Светлана

Раз в крещенский вечерок
 Девушки гадали:
 Крепко-крепко на крючок
 Двери запирали.
 На валета да туза,
 Широко раскрыв глаза,
 Взглядывали в страхе...
 За окошком ветер выл,
 И урядник проходил
 В бурке и папахе.

Светит бледная луна
 В сумраке тумана.
 Молчалива и грустна
 Милая Светлана.
 Смех подружек, их задор,
 Их трескучий разговор
 Не милы Светлане.
 Ей веселье в ум нейдет:
 Милый друг ее живет
 В диком Турухане.

Что, красавица, с тобой?
 Вымолви «словечко»,
 И от милого с зарей
 Будешь недалечко!
 Пой, красавица: «Кузнец!
 Скуй браслетку в шесть колец,
 Крепкую, стальную!

В той браслетке дорогой
 Поведет меня конвой
 Прямо к Акатую!».

Вот под пение подруг
 Снится сон Светлане:
 На почтовой тройке вдруг
 Прикатили сани.
 И откуда ни возьмишь,
 Милый друг ее явись
 В армяке острожном.
 Потихоньку подошел,
 Взял за ручку и повел
 Шагом осторожным.

Сели в сани, и взвилась
 Удалая тройка!
 Словно вихорь понеслась
 Дико, рьяно, бойко.
 Только гул шел от саней,
 Только ветер меж ушей
 Заунывно плакал,
 Да ямщик на облучке,
 Подскачив на бугорке,
 Вдохновенно крикал.

Через реки и поля,
 Через буераки,
 Мчались, душу веселя,
 Добрые коняки.
 Час ли, год ли промелькнул,
 Неизвестно... Только гул
 Слышался Светлане.
 И у низенькой юрты,
 Средь кромешной темноты,
 Осадили сани.

Из саней Светлана – скок!
 И подходит к двери.
 Мрак загадочно-глубок,
 Близко рыщут звери.
 Оглянулась – друга нет.
 И забитый снегом след
 Чуть заметен рядом.
 Вот вошла она в юрту,
 Озирая темноту
 Любопытным взглядом.

Посредине камелек
 Гаснет, догорает...
 На полу лежит дружок,
 Стонет... умирает...
 Запеклись его уста,
 Окружила чернота
 Бархатные брови.
 Грудь колеблет тихий стон...
 «Милый, ты ли?». Вздогнул он
 При знакомом слове.

Приоткрыл глаза, узнал,
Протянул к ней руки
И протяжно застонал
От глубокой муки.
Приподняться захотел...
И упал... Едва белел
Лик его туманный...
Вот ее за руку взял,
Тихо жаловаться стал
Он перед Светланой.

Он сказал, что много дней
И ночей суровых
Тосковал он здесь по ней
В неисходных думах.
Как ее он призывал,
Как томился и рыдал
В ожиданье встречи.
Всюду думал лишь о ней
И во сне шептал он ей
Ласковые речи.

А теперь вконец его
Покидает сила:
Назади – нет ничего,
Впереди – могила.
Приподнялся, стихнул вдруг...
Руку девушки из рук
Выронил, слабея...
Ветер выл, свиреп и груб,
И лежал холодный труп,
Тихо коченея...

.....
.....
.....
.....
Вся в поту, дрожа слегка,
Девушка проснулась,
И тяжелая рука
До нее коснулась.
«Ну, чего ты дрыхнешь? Встань!».
И Светлана, точно лань,
Задрожала в страхе.
Перед ней стоял гигант:
То жандармский был сержант,
В бурке и папахе...
(Прод. известное.)

Примечания

1. Единственное исключение – небольшая подборка произведений Ф. Чудакова в 7-м выпуске (2008) альманаха «Амур», который издается в Благовещенском государственном педагогическом университете.

2. Владелец раритета – благовещенский библиофил С.Н. Лафин, который, по его словам, приобрел сборник Чудакова года три назад. «Шпильки» переплетены вместе с еще одной редкой книгой – «Осада Благовещенска

и взятие Айгуна» (Благовещенск, 1901), автором которой является редактор-издатель «Амурской газеты» А.В. Кирхнер (1860-1903). Ранее эта сдвоенная книга находилась в личной библиотеке жителя Зеи В.А. Ланкина. Сведениями о том, каким образом, когда и от кого она попала к нему, мы не располагаем. С.Н. Лафин не придавал особого значения своему приобретению, так как не предполагал, что «Шпильки» считаются утраченными. Сегодняшней литературно-краеведческой сенсации предшествовала цепочка и случайных, и закономерных обстоятельств. Все началось с того, что несколько месяцев назад автору этих строк предложили написать главу о литературной жизни Приамурья для книги о дореволюционном Благовещенске. В этой главе и было упомянуто, что сборник Ф. Чудакова «Шпильки» пока не обнаружен. Затем рукопись главы попала к редактору книги А.В. Телюку, а он вспомнил и сообщил автору, что некоторое время назад видел сборник Чудакова, когда по его просьбе С.Н. Лафин приносил в издательство книгу Кирхнера. Таким образом все «сцепилось» в единое целое, и чрезвычайно важное открытие состоялось.

3. Таврический дворец в Санкт-Петербурге – выдающееся произведение русского классицизма конца XVIII в. Построен в 1783-1789 гг. по указанию Екатерины II для ее фаворита, светлейшего князя Г.А. Потёмкина (Таврического). В начале 1900-х гг. в Таврическом дворце размещалась Государственная дума.

4. Печатается по книге: Язва [Чудаков Ф.И.]. Шпильки: сборник стихотворений. Благовещенск: Издал Д. Челеби. Типография т-ва Б.С. Залеский и Ко, 1909. 31 с.

5. П.А. Крушеван (1860-1909) – журналист, прозаик, публицист праворадикального толка, известный как активный черносотенец, депутат II Государственной думы. – Здесь и далее примечания А. Урманова.

6. В.М. Пуришкевич (1870-1920) – политический деятель ультраправого толка, монархист, черносотенец, один из лидеров организации «Союз русского народа», создатель «Союза русского народа имени Михаила Архангела», депутат II, III и IV Государственной думы.

7. Цепью палей – то же, что палов (от «паль» – устаревшей формы слова «пал»), т. е. цепью выжженных мест.

8. Армяк – верхняя долгополая распашная одежда из домашнего сукна, которую носили в прошлом русские крестьяне. Ко времени создания произведения Ф. Чудакова (1909) образ человека в сером армяке воспринимался культурным читателем как реминисценция, за которой тянется шлейф узнаваемых литературных ассоциаций. См., например, стихотворение А. Блока «Барка жизни встала...» (1904): «Песни и тревога / На пустой реке. / Входит кто-то сильный / В сером армяке».

9. Неточная цитата из сатирической поэмы А.К. Толстого «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (1868): «Послушайте, ребята, / Что вам расскажет дед. / Земля наша богата, / Порядка в ней лишь нет...»

10. Очевидно, имеется в виду А.Н. Меллер-Закомельский (1844-?) – барон, генерал от инфантерии, с

1904 г. – командующий корпусом. Во время Первой русской революции участвовал в подавлении восстания матросов в Севастополе (1905), возглавлял карательную экспедицию на Транссибирской железной дороге. В 1906-1909 гг., занимая должность временного генерал-губернатора Прибалтийского края, принимал жесткие меры в борьбе с революционным движением. С 1918 г. в эмиграции.

11. И.Н. Толмачёв (1863-после 1929) – генерал-лейтенант. В годы первой русской революции, являясь начальником экспедиционного отряда, отличился решительной борьбой с революционными организациями в Кутаисской губернии. В декабре 1907 г. по личному настоянию премьер-министра П.А. Столыпина был назначен одесским градоначальником. В этой должности покровительствовал право-монархическим организациям города. По словам С.Ю. Витте, премьер-министра в 1903-1906 гг., политика Толмачёва, «с особенной силой преследовавшего евреев», вызвала к нему ненависть левых и либералов. Вслед за убийством Столыпина (1911) Толмачёв был отправлен в отставку. После революции эмигрировал из России.

12. С.Д. Горчаков (1861-1927) – князь, известный государственный деятель. В июне 1906 г. был назначен вятским губернатором. На этом посту проявил твердость и решительность, особенно при подавлении революционных выступлений. А это, в свою очередь, не могло не вызвать к нему неприязни со стороны либеральной интеллигенции. В 1907 г. на губернатора покушался бывший гимназист И.М. Левитский. В 1909 г. Горчаков был назначен калужским губернатором и пробыл в этой должности шесть лет.

13. Под Думбадзией автор стихотворения подразумевает Ялту, градоначальником которой с 1906 г. был полковник И.А. Думбадзе – русский офицер, грузин по национальности. См. о нем выше, в статье, предваряющей данную подборку произведений Ф. Чудакова.

14. Гельсингфорс – шведское название Хельсинки, столицы Финляндии, в то время входившей в состав Российской империи.

15. Эльборус, т. е. Эльбрус, – гора на Кавказе, на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, самая высокая горная вершина России.

16. В старину жителей почти каждого региона России соседи награждали меткими прозвищами, определявшими некую общую особенность населения. Так, торговавшие в основном лаптями пензяки получили прозвище «толстопятые» – из-за того, что лапти у них были не такие, как у прочих, а с особой, двойной пяткой и потому очень удобные в носке и долговечные.

17. Вообще-то широкое распространение и всероссийскую известность получило иное шутивное прозвище коми-пермяков: «пермяк – солёны уши». Нужда заставляла пермяков ходить лесными тропами за двести сотни километров к соляным заводам, что были расположены на реке Каме в районе г. Соликамска, чтобы там закупать соль на целый год для всей семьи. Закинув за плечи мешок с солью, пермяк пешком возвращался обратно. За время долгого пути соляная пыль от мешка оседала у него на ушах. Отсюда, по преданию, и пошло название «пермяк – солёны уши».

18. Тароватый – щедрый, расточительный.

19. Шутивное выражение «ярославский водохлеб» появилось из-за особого пристрастия жителей Ярославля к чаепитию. Доступность воды хорошего качества из Волги и ее притоков, зажиточность горожан сделали обильное чаепитие у самовара с баранками и пряниками традицией каждой семьи – от купцов до простых крестьян и ремесленников.

20. Толоконник – любитель толокна, овсяной муки, употребляемой крестьянами в пищу с водой или молоком.

21. Богомаз – неискusный иконописец. Именно к суздальским богомазам принято относить известную – поговорку об иконах: «Годится – молиться, не годится горшки покрывать».

22. Балахонник – тот, кто носит балахон; бедный крестьянин (обычно с оттенком пренебрежительности). Пошехонье – небольшой город, административный центр Пошехонского района Ярославской области. В широком смысле, Пошехонье – местность по реке Шексне (прежде – Шехоне).

23. Саламатник – любитель саламаты, т. е. жидкой каши из муки с маслом или салом.

ЛИТЕРАТУРА НА СТРАНИЦАХ «АМУРСКОЙ ПРАВДЫ» 1921 г.: ФЕЛЬЕТОНЫ П. СУСЛОВА

С.И. Красовская

Амурская литература начала 20-х гг. прошлого века – понятие столь же неопределенно-зыбкое, как и политический, административный статус края. Статус буфера. Историческая справка. Буферное государство – государство, искусственно созданное с целью смягчить международный или вооруженный конфликт. Красная армия, одержав победу над колчаковскими войсками, к началу 1920 г. вышла к Иркутску. Продвижение ее дальше могло вызвать столкновение с японскими войсками и привести к войне РСФСР и Японии. Это было нежелательно. Страна была истощена, нависла угроза нового похода Антанты, главная роль в котором отводилась Польше. В таких условиях необходимо было не допустить войны с Японией. Тут и возникла идея создания на Дальнем Востоке временного буферного государства, способного с помощью РСФСР ликвидировать интервенцию. 6 апреля 1920 г. в Верхнеудинске (Улан-Удэ) была провозглашена Дальневосточная республика, правительство которой возглавил А.М. Краснощёков. В нее вошли дальневосточные области: Забайкальская, Амурская, Приморская, Сахалинская, Камчатская и Полоса отчуждения Восточно-китайской железной дороги. Главной задачей ДВР была борьба за полное освобождение всего Дальнего Востока. Почти три года, с 1920 по 1922 г., Амурская область являлась непосредственным тылом действующей армии. Все это тяжело отразилось на ее экономике, на общем политическом состоянии. Временные уступки буржуазной демократии в политической и экономической жизни привели к оживлению деятельности мелкобуржуазных партий, росту капиталистических элементов. В условиях буфера активизировалось кулачество, оживилась деятельность меньшевистских и эсеровских групп. Пользуясь ослаблением власти, поднимали голову уголовники. Положение было очень тяжелым.

В те беспрецедентные годы амурская литература нашла себе приют в газете. Газета была почти единственным пристанищем для художественного слова и способом его существования. Разумеется, это накладывало на литературу определенные «обязательства». Впрочем, «условия» ставило само переходное жесткое время, требовавшее молниеносного живого отклика. Поэтому отличительным качеством тогдашней литературы была публицистичность, а самым актуальным жанром, судя по газетным публикациям, – фельетон, универсальная форма выживания литературы в газетно-журнальных условиях военного времени. По определению, фельетон – художественно-публицистическое произведение сатирической направленности, занимающее промежуточное положение между газетной или журнальной статьей и малыми жа-

Статья посвящена исследованию своеобразия литературного процесса в Амурской области в 20-е гг. XX в. Проанализировав материалы областной газеты, на страницах которой тогда развивались главные литературные события, автор статьи приходит к выводу, что отличительным качеством литературы того времени была публицистичность, а самым актуальным жанром – фельетон. Положение дел в амурской литературе начала 1920-х гг. отражало общероссийскую литературную ситуацию и обнаруживало общие тенденции постепенного перехода к авторитарной риторике императивного, монологизированного слова.

Ключевые слова: амурская литература, жанр, фельетон, жанровое клише, дискурс.

рами художественной прозы и поэзии. По сути, это жанр-буфер между литературой и публицистикой.

Надо заметить, что положение дел в амурской литературе начала 1920-х гг. отражало общероссийскую литературную ситуацию, не последнюю роль в которой играла фельетонистика В. Маяковского, Д. Бедного, М. Булгакова, М. Зощенко, В. Катаева. Только то, что в литературе метрополии составляло часть, мощную, яркую, но часть, в провинциальной амурской словесности, возможно, являлось ее ядром.

Для анализа была взята газета «Амурская правда» за 1921 г., которая еще в довоенное время была главным областным изданием. С 1921 г. ее выпуск стал вновь регулярным. Во всяком случае в архиве сохранились все ее номера, тогда как за 1920 г. подшивка явно неполная.

Что представляла собой «Амурская правда» в то время? Это была крупно-форматная четырехполосная газета, на первой странице которой печатались передовицы – «горячие» вести с фронтов гражданской войны, зарубежные новости, правительственные телеграммы. Вторая и третья полосы были посвящены хронике внутренней жизни. На четвертой размещались сообщения, большей частью, рекламного характера. «Литературная жизнь» шла на второй и третьей полосах. Проявлялась она в двух формах – стихотворной и прозаической. Причем первая по понятным причинам была более распространена: на страницах «Амурки» печатались стихи местных поэтов, перепечатывались стихи Д. Бедного, появлялись фельетоны в стихах, подписанные псевдо-

нимами: В. Северный, Дик, Гекльберри Финн, М-ко. С прозой дело обстояло труднее, ее было меньше, но то, что удалось разыскать, на наш взгляд, представляет несомненный интерес. Не только с точки зрения, так сказать, литературной археологии, но и с собственно литературной точки зрения.

Речь идет о фельетонах в прозе. Под фельетоны в целом (и в стихах, и в прозе) была выделена отдельная рубрика – «Маленький фельетон». Название ее печаталось иным, отличающимся от главного, «танцующим» шрифтом. Надо сказать, что подзаголовок – «Маленький фельетон» – не совсем верен с точки зрения жанрового генезиса. Здесь его использовали, судя по всему, исходя из малого объема произведений. Исторически же «маленький фельетон», созданный во Франции в XIX в. Ж. Жанненом, писавшим свои произведения в форме легкой беседы, бессодержательной болтовни, имел чисто развлекательную функцию и был чужд социально-политической направленности. Амурский «маленький фельетон», напротив, обладал ею в полной мере.

В 1921 г. фельетоны в прозе публиковал в «Амурской правде», в основном, один автор – П. Суслов. Нам пока ничего не известно о его жизненной и творческой судьбе. Но кое-что все же реконструировать по его текстам можно. Можно сказать определенно, что был он человеком образованным, хорошо знающим литературу, чувствующим язык и обладающим художественным талантом стилизатора и пародиста; что в 1921 г. он был уже зрелым, со сложившимися убеждениями человеком.

За основу для своих фельетонов Суслов брал жанровые формы, изначально обладающие идеологической направленностью, тенденциозностью, символично-аллегорическим потенциалом, – бытовую сказку, рождественский рассказ, притчу. Все они в силу своей каноничности легко подвергались пародийному обыгрыванию, а главное, все они, в основе своей имея одну, общую для всех коммуникативную стратегию притчи, предполагали наличие четкой «учительской» авторской позиции, организующей весь текст. Речевая маска такого дискурса – авторитарная риторика императивного, монологизированного слова – вполне отвечала жанровым требованиям фельетона.

Рассмотрим некоторые из них.

В Рождество, 7 января 1921 г., в «Амурской правде» в означенной рубрике был опубликован фельетон Сусллова под названием «О рождественских мальчиках» с жанровым подзаголовком «пародия». Тот факт, что автор выбрал для своего фельетона-пародии жанр рождественского рассказа, достаточно красноречив и говорит сам за себя. По сложившейся за десятилетия русской традиции газеты и журналы обязательно печатали под Рождество рассказы о рождественских чудесах. К моменту опубликования данного рассказа этот жанр, пережив кризис в конце XIX в., давно перекочевал в разряд массовой литературы, имел необыкновенную популярность, воспринимался как обязательный атрибут религиозного праздника, а потому вдвойне был благодатной почвой для стилизации и пародии.

Кроме того, были и сугубо внешние, политические причины актуализации этого жанра, причем не только в амурской литературе. Анализируя отношения «праздничной литературы» и политики, исследователь этого вопроса Х. Баран пришел к любопытному выводу о том, что «царский манифест 17 октября 1905 г., образование новых политических партий, а также смягчение цензуры» привели к появлению массы новых газет, связанных с теми или иными политическими партиями. «Получив свободы, пресса» начинает постоянно использовать «литературу христианских праздников, чтобы высказать свою позицию по отношению к переменам во внутренней жизни, а также для открытой политической полемики» [Баран 1993: 293].

Вот и в нашем случае жанровое клише рождественского рассказа было использовано с целью обнародования острой критики в адрес некоторых политических сил, как минимум в адрес демократов, эсеров и меньшевиков. Как и положено фельетону, основной текст предварялся своеобразным «врезом», в котором автор актуализировал особенности рождественского сюжета и заодно пояснял читателю, о каких мальчиках будет идти речь: «Рождественские мальчики обязаны замерзнуть под окнами в сочельник, где есть елка, причем они традиционно разуты и раздеты, как объединенные «демократы»». Сатирический момент обозначен уже здесь за счет перевернутого сравнения: не «демократы» похожи на традиционно разутых и раздетых рождественских мальчиков, а наоборот. Примечательно, что в фельетоне упоминаются и конкретные имена «демократов» – Бродовихов и Матюшенский. О последнем известно, что он был популярной в то время одиозной фигурой: журналистом, фельетонистом, автором «бульварных» романов и общественным деятелем [Лосев 2007: 39-60].

Суслов сатирически обыгрывает традиционный мотив «раздетости» – жалкой, дырявой одежкой, не греющей мальчиков и, в конце концов, ставшей причиной их смерти, являются «лохмотья демократических воззрений». Суть их передается через классический мотив сна. Сон настигает героев, как принято в «рождественском рассказе», под ярко освещенными окнами «Учредительного собрания Д. В. Р.», в котором устроена «кумачовая» елка для пролетариев. Во сне «мальчики» видят свершение своих заветных желаний: «Ходят они в рубашонках белых вокруг, в манишках поют:

– Боже, царя храни!

...А в зале добрых дядей с золотыми эполетами не перечесть... и весело на сердце. У дверей с нагайками стоят, а на елке в виде подарочков и сусального золотца, целые золотые прииски висят, предприятия..., собственные дома, фабрики, а вместо свечек большевистские деревни горят... И стало вдруг разутым и раздетым ребятишкам тепло и хорошо. Шепчут они немеющими устами:

– Сильный, дерррржавный!...».

«Наутро нашли у того здания несколько трупиков. Так замерзли наши «раздетые» рождественские мальчики» – завершает основное повествование автор.

Любопытно, что в фельетоне есть непредусмотренный жанром «рождественского рассказа» постскрипtum, выполняющий функцию новеллистического пуанта и разрушающий монологизм авторской позиции, диалогизирующий ее. В нем говорится о замерзающих под окнами капиталистов «малютках» эсерах и меньшевиках и «вовсе незамерзающих» китайских мальчишках, о которых печется обыватель. Таким образом, возникает отчетливая оппозиция: внутренние политические силы и внешние – Китай. В этом контексте читательское отношение ко всем «замерзающим мальчишкам» корректируется в сторону амбивалентности (карнавальности). «Мальчишки» начинают выглядеть не только глупо-смешными, но и обманутыми и даже вызывать сочувствие. Авторская позиция убеждения в вышеизложенном тексте, характерная для притчи, приобретает новый коммуникативный статус – статус мнения (сомнения), свойственный анекдоту. Таким образом, истинная политическая позиция автора – позиция, отнюдь не радикальная – находит свое выражение не в зафиксированной в прямом слове готовой идее, а в жанровой игре, в смене жанровых регистров. Как политик Суслов делает акцент скорее на объединении усилий классов и политических партий в борьбе с внешним врагом, нежели на усугублении классовой борьбы. Как художнику ему близко диалогизированное слово, игровая поэтика.

В подобном политическом и эстетическом ключе выдержаны его сказки: «На воре шапка горит (из бабушкиных сказок)» («АП». 1921. 14 апреля), «Из серии чудес. Сказка» («АП». 1921. 22 сентября), «Рассказ о всемогущем таяне и о провинившемся пятирублевике» («АП». 1921. 4 октября).

На последнем остановимся чуть подробнее, потому как он настолько современен и актуален, что кажется написанным сегодня и для сегодня, как будто и не было ста лет, разделяющих время написания с нашим временем.

«Рассказ о всемогущем таяне и провинившемся пятирублевике» написан по жанровой канве бытовой сказки. Ключ к жанровому коду обнаруживается уже в заглавии, построенном по известной сказочной формуле-оппозиции «Про счастливого бедняка и несчастливого пана». В данном случае в оппозиции оказываются китайский таян и русский пятирублевик, метонимически обозначающие китайца и русского. Любопытно определения-эпитеты, которыми наделяет своих «героев» автор, – «всемогущий» и «провинившийся». На первый взгляд, они плохо подходят для противопоставления – они не антонимы. Но в русской литературе уже был случай, закрепивший между этими словами антиномическую связь. Речь идет о басне И.А. Крылова «Волк и ягненок». В ней, как известно, есть такая строчка: «У сильного всегда бессильный виноват». Возможно, что и не Крылов был «первооткры-

вателем» этой связи, что связь между бессилием и виной изначально зафиксирована в фольклоре – неизвестно. Но так или иначе в данном случае эта антиномия вновь актуализируется.

Сюжет рассказа имеет двойную структуру – сюжет в сюжете. Обрамляющий сюжет – рассказ автора о встрече с пятирублевиком. Центральный, главный сюжет – рассказ последнего о своих злоключениях. Второй сюжет отчетливо напоминает сказочный и строится по кумулятивному принципу нанизывания однородных элементов в обратной градации. Типологически он является одним из вариантов инвариантного сюжета о глупом мужике, невыгодно обменивающим свой товар на товары неравноценные. Причем неравноценность возрастает от обмена к обмену. В результате мужик остается ни с чем или почти ни с чем.

Вот и из рассказа пятирублевика о своем «падении» читатель узнает, что сначала он попал к крестьянину-хлеборобу, который отдал его на «окарнение» китайскому ходу (торговцу) за мануфактуру: гвозди, табак, ситец. И стал пятирублевик стоить на пять копеек дешевле. Потом рабочего им осчастливили. Но и он не стал заботиться о пятирублевике, а отдал тому же ходу, но уже за продукты. Еще на сорок пять копеек подешевел золотой. В третий раз опять попал он к крестьянину, а тот его пропил – купил на него у ходи китайскую хану (крепкий спиртной напиток вроде водки). И стал русский золотой «только в чине четырех китайских таянов». На этом сюжет пятирублевика исчерпывается, и на авансцену вновь выходит рассказ автора о том, как он под влиянием истории золотого не стал поддерживать китайца, а поддержал своего родного, русского производителя. В заключительной части повествования оба сюжета сливаются воедино – автор вновь встречается с немного окрепшим пятирублевиком. Заканчивается сказка вполне современным призывом: «Только побольше производите своего, да поменьше без нужды покупайте чужого и не выдавайте этим своих денег чужеземцам с головой!

Ах, как он был прав!! Побольше самостоятельности!» [1]

Исследование фельетонов П. Суслова, опубликованных в «Амурской правде» за 1921 г., обозначило ареал дальнейших литературоведческих изысканий в этом направлении. Необходимо ознакомиться с газетами предыдущих и последующих лет, отследить, когда появился Сулов на их страницах, когда его публикации прекратились; понаблюдать за эволюцией творчества этого доселе неизвестного краеведа, но бесспорно интересного, талантливого автора. Это, так сказать, задача частного характера. В масштабе же амурской литературы 1920-х гг. в целом опыт показал, что актуально исследование именно жанра фельетона, как в стихах, так и в прозе. Здесь разворачивались главные общественные споры, шло формирование новой эстетики.

Приложение [2]

Маленький фельетон О рождественских мальчиках (Пародия)

Рождественские мальчики обязаны замерзать под окнами в сочельник, где есть елка, причем они традиционно разуты и раздеты как объединенные «демократы».

Много мальчиков

На дворе трещал свирепый мороз. Яркие звезды, как заколдованные очи, смотрели с потемневшего серого неба на грешную землю. На улицах было тихо и безлюдно. Изредка проскрипит подковка запоздалого извозчика или шаги одинокого пешехода, и снова улица замрет в мертвом безмолвии.

Голодно и холодно в бедной юродивой семье раздетых и разутых «демократов». Нет ребятам никакой радости, к празднику никакого подарка и не сидится им дома.

Мальчики: Бродовихов, Матюшенский и еще несколько таких же юных демократов вышли из дома, зябко кутаясь в лохмотья своих демократических воззрений. Жалкая одежонка, дырявая, потертая и не греет малюток.

Пришли они к дому большому с надписями красными буквами: «Учредительное Собрание Д. В. Р.», а в окнах огни горят, веселье идет и елку видно красную, как маков цвет.

Около елки веселятся и ходят ребятки трудящиеся в красных рубашках и интернационал поют.

Обидно и завидно малышам, что елка не ихняя и хочется им попасть на эту елку. Прислонились в уголок к забору и смотрят, как волчата горящими глазами. Холод леденит кровь, кутаются, а одежонка не греет. Чудится им, что вот они на елку к пролетариям попали.

Ходят они в рубашонках белых вокруг, в манишках поют:

– Боже, царя храни! ...А в зале добрых дядей с золотыми эполетами не перечесть... и весело на сердце. У дверей с нагайками стоят, а на елке в виде подарочков и сусального золотца, целые золотые прииски висят, предприятия ..., собственные дома, фабрики, а вместо свечек большевистские деревни горят... И стало вдруг разутым и раздетым ребятишкам тепло и хорошо. Шепчут они немеющими устами:

– Сильный, дерррржавный!...

Наутро нашли у того здания несколько трупиков. Так замерзли наши «раздетые» рождественские мальчики.

* * *

Кроме описанных нескольких рождественских мальчиков, следует упомянуть еще о некоторых разновидностях рождественских замерзающих и незамерзающих малюток. Так мальчики эсеры и меньшевики любят обыкновенно замерзать под окнами или в передних у капиталистов. Мальчики, которые «праздничным

делом» заглянули «на елке» в бутылку, обыкновенно замерзают, не разбирая места, однако предпочитая под забором, если добрый дух их своевременно не переселит в участок.

Китайские мальчики, за которых в объявлениях обещают 10 таянов, вовсе не замерзают: ибо сердобольный обыватель спешит обогреть такого, если он даже и не имеет тенденции замерзнуть под его окном.

П. Суслов

(«Амурская правда». 1921. 7 января)

Маленький фельетон

Рассказ о всемогущем таяне и о провинившемся пятирублевике

Всю войну он просидел взаперти у спекулянта. Потом начал ходить по базару из рук в руки и как-то попал в редакцию и не миновал меня.

Я обрадовался ему. Как отцу... как матери... как родному брату и долго мял его в кулаке. Звякал и даже смотрел на свет.

Однако мое возбуждение не передалось ему.

– В чем дело, Ваше сиятельство?

– Падаю! – сокрушенно пояснил он. А все за то, что я русский! С патриотическим чувством беглого эмигранта добавил он и пояснил:

– Бумажкам и падать не стыдно было, все-таки уходи красивая отговорка была: «фанза – ю, – хозяйина мэю!» А мне-то какво? Ведь я отвечаю сам за себя. Золотой я али нет?

Я не понял его, как не понял бы, наверно, человека на быстро мчавшемся автомобиле, который твердил бы:

– Ах, не везет! Не везет, чорт возьми!

– Так ведь в вас, Ваше сиятельство, золота на 5 поганых таянов слишком наберется.

– А я вот подижь-ты – падаю! Лечу как свихнувшийся приказчик под гору!

– Расскажите хотя, как это началось?

– А вот как: попал я к крестьянину. Или, как его, хлеборобу. Сижу в кошельке смирно, вдруг слышу, мой хозяин в затылке чешет и говорит:

– Гвоздев надо купить...табачку, да жене на сарафан...

Испугался я, – кому хочется в незнакомые руки, да еще, может быть, нерусские? Прошу его:

– Ради Бога, только китайцу ты меня не отдавай! Свое дитяtko на поругание отдашь и на «окарнение»:

– А как же насчет того самого?

– Да так, гвоздей наделай своих, или нашему кузнецу закажи; похуже будут – зато свои, а табачку накроши тоже своего... а ситчику на что-нибудь выменяй у ходи; что-нибудь тоже выработай этакое мозговатое....

– Да как енто самое? ...того...я такой богат с золотым рублем буду ...глупостями заниматься? А?

Попал я к китайцу, а тот видит, что меня отдают ему охотно с головой в кабалу. Мало того, что втридорога за гвозди взял. Так еще перед таяном, с которым у меня перед этим отношения были короткие, почти на «ты», и братство, а самое главное, равенство установилось, –

взял да обкарнал на пятачок.

– Хочу, не хочу! Играй не надо! А я уж стал не 5 рублей. А только 4 р. 95 копеек.

Потом попал я в государственную кассу снова. Вытянул меня из нее рабочий. Кричит как желторотый галчонок:

– Караул! Давай аванс, иначе все брошу и в потемках и в полном застое жизнь оставлю!

Выдали ему меня. Тоже обрадовался, как и ты. Теперь, говорит, поживем всласть и бросился к тому же китайцу. Я говорю ему:

– Помидор? Огурцов? Муки? Картошки? Да зачем же ты из-за этого меня вновь ходи с головой выдаешь? Али ты в свободное время не мог своего этого развести на огороде? Ведь теперь он, видя, что не только мы, русские, гвозди и махорку не можем сделать свою, но даже и картошку, – он из меня, золотого пятирублевика, четыре таяника сделает. Не послушал (да и поздно было; в один день огород не разведешь) и вновь я очутился у китайца.

– Хочу, не хочу! Играй не надо! И стал я – настоящий золотой пятирублевик только 4 руб. 50 копеек.

Прошло время. Очутился я вновь у хлебобоба. И что бы вы думали? Перевел меня тоже и на что? На китайскую хану!..

– Пей, душа веселись! Не то золото, что блестит, а то, от чего на пьяном желудке не ворчит! – и стал я уже только в чине четырех китайских таянов. Хоть бы самогонку свою сделали! С горечью думалось.

Задумался я над историей родной пятирублевки и только что перед этим у китайца сапоги купить хотел.

Ан нет, пошел да у русского купил лапти, а на остальное тоже кое-какого русского товару накупил.

Встречаю через месяц знакомый золотой, а он мне и говорит:

– Помнишь, ты вместо глупых китайских сапогов русские лапти купил.

Тот мастер на меня настоящие сапоги русского производства скоро смастерит, а когда смастерит, тогда ки-

таец меня и рукой не достанет. Буду я в своем аккурате. Как есть 5 рублей! Почище китайских тае. Только побольше производите своего, да поменьше без нужды покупайте чужого и не выдавайте этим своих денег чужеземцам с головой!

Ах, как он был прав!! Побольше самостоятельности!

П. Суслов

(«Амурская правда». 1921. 4 октября)

Литература

Баран Х.К. Дореволюционная праздничная литература и русский модернизм // Баран Х. Поэтика русской литературы начала XX в. М.: Изд. группа «Прогресс»-«Универс», 1993.

Лосев А.В. Александр Иванович Матюшенский (Полеми-ческие заметки о новоявленном «классике» амурской литературы) / публ. и коммент. А.В. Урманова // Амур: лит.-худ. альманах. Благовещенск, 2007. № 6.

Примечания

1. Публикация фельетона П. Суслова «О всемогущем таяне и провинившемся пятирублевике», очевидно, достигла цели и вызвала широкий общественный резонанс. 15 октября этого же года в «Амурской правде» появилась заметка, разъясняющая ситуацию. Интересующий общественность вопрос «Что такое таян?» был вынесен в заглавие. Жанровый подзаголовок – «Хозяйственная справка» – указывает на информационный характер публикации. Детально рассмотрев денежную систему Китая, автор заметки А.Н. Дружинин вынес таяну приговор: «Ему не было и нет места в монетной системе Китая – это фиктивная величина, выдуманная сахалинскими менялами и банкирами соседней с нами китайской провинции специально для биржевой игры на наши материальные ценности».

2. Вследствие недоступности этих текстов для широкого круга читателей, мы сочли необходимым опубликовать их здесь, сохранив при этом особенности авторской орфографии и пунктуации.

МИРООЩУЩЕНИЕ ВИКТОРИАНСКОГО «ПЕРЕХОДНОГО ВЕКА» В ПОЭЗИИ А.Х. КЛАФА

Н.И.Соколова

Как известно, переходным называли свой век сами викторианцы. «Наш век – век переходный», – констатировал в 1831 г. Д.С. Милль в эссе «Дух века» [Mille 1963: 6]. «Все века являются переходными, но наш век – это чудовищный момент перехода», – утверждал А. Теннисон, удрученный угасанием рыцарского духа среди современников [Tennyson 1899: 700]. Викторианцы переживали период, отмеченный утратой нравственных идеалов и духовных ценностей, растущей популярностью утилитаристской доктрины, утверждавшей господство частного интереса, возникновением чувства изоляции, «тоски по утраченной общности человеческой и божественной» [Houghton 1957: 77]. Достижения естественных наук изменили картину мироздания в сознании викторианцев, породив ощущение смены эпох. Настроения века находят выражение в работах философов, публицистов, эстетиков, в художественной прозе, однако наиболее восприимчивой к ним представляется поэзия, что обнаруживается, прежде всего, в творчестве поэтов интеллектуального склада. К ним относился А.Х. Клаф (1819-1861). Мало заботившийся о красоте и музыкальности стиха, приближавший язык поэзии к разговорной речи, Клаф заслужил среди современников репутацию «прозаического поэта», не способного доставить наслаждение читателю. Его ближайший друг М. Арнольд призывал его: «Думай о том, создаешь ли ты прекрасное, доставляют ли твои произведения УДОВОЛЬСТВИЕ, а не просто вызывают любопытство и побуждают к размышлению». Создание прекрасного, достижение эстетического наслаждения представлялось особенно важной задачей поэта Арнольду, назвавшему свой век «непоэтичным»: «не лишенным глубины, не лишенным величия, не лишенным трогательного, но непоэтичным» [Arnold 1972: 74].

Между тем, хотя и не отличающиеся красотой стиля, стихотворения Клафа стали отражением мироощущения викторианцев. Образ утратившего духовную сущность мира, по выражению Карлейля, «богоподобной вселенной, ставшей мертвой механической паровой машиной» [Carlyle 1925: 157], появляется у Клафа в стихотворении «Новый Синай» («The New Sinai»), воссоздающем порожденное наукой новое представление о мире, где земля превращена в совокупность химических элементов, небеса – в «механический свод», душа и сердце – в заводной механизм:

Earth goes by chemic forces; Heaven's
A mйchanique cйleste!
And heart and mind of human kind
A watch-work as the rest! [Clough 1974: 18].

Стихотворение «В великой столице» («In the Great Metropolis»), где поэт декларирует усвоенную его совре-

В статье говорится об основных тенденциях поэзии А.Х. Клафа, творчество которого стало реакцией сознания викторианцев на новые научные представления о мире, настроения скепсиса, утрату нравственных идеалов, изоляцию личности в обществе. Основной акцент делается на стихотворения, написанные под воздействием знакомства поэта с книгой Д.Ф. Штрауса «Жизнь Иисуса» (1835), приобретшей популярность в Англии после публикации перевода Дж. Элиот (1846).

Ключевые слова: викторианский век, трактарианское движение, евангелистская доктрина, эпистолярный роман в стихах, мистерия.

менниками со школьной скамьи истину – «каждый за себя» («Each for himself is still the rule; / We learn it when we go to school» [Clough 1974: 305]), перекликается с утверждением Карлейля в «Прошлом и настоящем»: «Мы называем это обществом и повсюду открыто демонстрируем тотальное разделение, изоляцию» [Carlyle 1945: 198].

Мысль о том, что каждый заботится лишь о собственной жизни и самосохранении звучит и в словах Клода, путешествующего по Италии героя поэмы (эпистолярного романа в стихах) «Amours de Voyage»:

On the whole, we are meant to look after ourselves; it is certain

Each has to eat for himself, digest for himself, and in general

Care for his own dear life, and see to his own preservation [Clough 1974: 18].

Клода оставляют безучастным знаменитые памятники архитектуры, он демонстрирует равнодушие к политике: «...what's the Roman Republic to me or I to the Roman Republic?» («Что мне Римская республика или я Римской республике?») [Clough 1974: 116], скептическое отношение к вопросам веры. Он не находит в себе рыцарских чувств и не уверен в собственной готовности отдать жизнь за женщину: «Am I prepared to lay down my life for the British female/ really, who knows?» [Clough 1974: 105]. Полюбив Мэри, девушку из семейства Тривеллинов, ставших его спутниками, и встретив взаимность, он страшится сильных чувств и решительных действий, нарушающих покой души: («I do not like being moved: for the will is excited and action is a most dangerous

thing...» [Clough 1974: 111]), что ведет его к утрате любви. В Клоде поэт создает обобщенный образ современника, лишённого героического начала, убежденного в том, что жизнь даже в лучшем ее выражении оборачивается иллюзией: «life, at the best, will appear an illusion» [Clough 1974: 107].

В стихотворениях Клафа обнаруживается отклик на одну из самых актуальных проблем эпохи — утрату веры. Век Виктории, по словам У. Хутона, «был веком кризиса, упадка христианской ортодоксальности, в сущности, самой веры, породившего отчаянную потребность в новых духовных и этических кредо» [Houghton 1963: 34]. Кризис веры и морали, рост рационализма и скепсиса вызывали озабоченность многих викторианцев. В «Прошлом и настоящем» Карлейль констатировал, что в настоящем «нет религии, нет Бога; человек потерял веру и тщетно ищет антисептическое средство...» [Carlyle 1945: 186]. Рескин в третьем томе «Современных художников» сетовал на то, что «никогда еще не было людей (дикарей или цивилизованных), которые, взятые вместе, столь плачевно иллюстрировали бы слова: “лишенные надежды и лишённые Бога на свете”» [Ruskin 1906: 241].

Клаф был особенно восприимчив к этим вопросам. Поэт обучался в школе Рагби, директор которой Т. Арнольд призывал искать в Священном Писании «не истины, но уроки», воспринимая Бога, прежде всего, «в смысле моральном, не метафизическом» [Biswas 1972: 17]. Заботясь о нравственном воспитании своих подопечных, стремясь создать в Рагби модель христианского государства, Арнольд внушал ученикам мысль о необходимости постоянного самоконтроля, борьбы со злом: «Мы находимся в мире, где зло существует внутри нас и вне нас» [Biswas 1972: 26]. При этом зло он воспринимал как элемент исторического процесса, полагая, что постепенная победа добра в ходе истории является частью божественного замысла. Особое значение Т. Арнольд придавал совести, нравственному чувству, ставя его при этом в зависимость от исторической стадии развития общества. Клаф усвоил эти идеи, хотя позже, по замечанию К.Р. Бисвоз, его сомнения вызывал акцент Арнольда на действии, что «заставляло игнорировать значительную часть человеческого опыта, лежащую за пределами действия» [Biswas 1972: 44]. Оказавшись в Оксфорде, Клаф пережил период увлечения лозунгами трактарианцев, озабоченных тем, что «здоровый смысл и практическая польза являются подлинными идолами века» [Keble 1983: 133] (как писал Дж. Кибл в трактате «О мистицизме»), и видевших средство духовного возрождения в восстановлении средневекового авторитета христианской церкви в воссоздании обрядов, внешних атрибутов веры, отвергнутых в эпоху Реформации. Наряду с этим, интерес Клафа вызывали и рассуждения немецких романтиков по вопросам веры, идеи Шлегеля о том, что «в религии человек непосредственно ощущает сопричастность всего конечного (временного) вечному и бесконечному (божественному)» [Габитова 1989: 74], что религия как «стремление к бесконечному... основана на интуиции и чувстве и не зави-

сит от догмы» [Biswas 1972: 136]. Знакомый с «Эссе о языке и философии индийцев» Ф. Шлегеля, обнаружившего параллели в индуизме и христианстве, Клаф не был чужд идеям движения за Широкую Церковь. Полагая, что каждому лишь частично открывается истина, он задавался вопросом: «...для чего мы общаемся друг с другом, если не затем, чтобы использовать знания друг друга и не объединить их в единое целое?» [Clough 1888: 421]. Новый образ вселенной, порожденный научным знанием, мало привлекал поэта, отдававшего предпочтение, по замечанию Бисвоз, «додарвинской идее эволюции» [Biswas 1972: 44].

Отношение к религии современников Клафа, переживавших сомнения в существовании Бога и души, находит выражение в стихотворении «O thou of little faith». В его названии содержится усеченная цитата из Нового Завета: «O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?» [The Holy Bible. St. Matthew 14: 28]. В Евангелии от Матфея говорится о том, что Петр, увидев идущего по морю Иисуса, попросил Его повелеть ему идти по воде. «И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утонать, закричал: «Господи! Спаси меня». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный! Зачем ты усомнился?», [Библия. Мф 14: 29-32]. У Клафа имя Петра заменяет местоимение «we», «мы», человечество. Бушующее море воспринимается как океан жизни, жизненный путь, Иисус — как средоточие высшей силы, направляющей человека. Но при этом не твердым в вере оказывается сам поэт, избегающий категоричных утверждений. Стихотворение начинается со слов «It may be true», «возможно»: возможно, когда мы идем по бурному морю, видя вздымающиеся волны, чувствуя, что опора исчезает под ногами, не в болезненном бреду, но на самом деле с наших уст срывается крик о помощи: возможно, не в нашем воображении, чья-то рука поддерживает нас, чей-то голос приказывает волнам и шепчет в наши уши: «Oh thou of little faith, why didst thou doubt?» («Маловерный, зачем ты усомнился?»). Таким образом, сохраняя детали евангельского эпизода, Клаф придает ему смысл вероятного происшествия. Заключительная строфа передает глубинные процессы, происходящие в сознании современников, утративших способность к искренней безмятежной вере, но не желающих при этом принимать обезбоженного мира. Поэт избегает категоричности: его герой признает вероятным существование высших сил и не станет утверждать, что они не окажут помощи зырящему к ним с мольбой человечеству:

That there are powers above us I believe,
And when we lift up holy hands of prayer,
I will not say they will not give us aid [Clough 1883: 50].

В стихотворении нашла выражение отмеченная У. Хутоном тенденция, присущая всей поэзии Клафа, усвоившего требование евангелистской доктрины о том, что христианин должен «постоянно наблюдать за состоянием своей души, особо отмечая несоответствия между внутренней жизнью и внешним действием» [Houghton 1963: 29].

Заметное впечатление на Клафа произвела приобретающая популярность в Англии благодаря переводу Дж. Элиот (1846) «Жизнь Иисуса» Д.Ф. Штрауса. Как известно, Штраус впервые применил к библейским рассказам о чудесах понятие «миф», доказывая, что «Иисус – лишь человек», «Евангелия не могут считаться в строгом смысле историческими повествованиями», «друг другу противоречат, не соответствуют установленным фактам истории и в историческом смысле неправдоподобны» и «их чудеса следует признать чисто поэтическим вымыслом» [Штраус 1992: 28; 58; 139]. В письмах и «Заметках о религиозной традиции» Клафа содержится отклик на Штрауса. Сама попытка обращения к вопросу о том, являются ли евангельские события историческими фактами, представляется ему лишённой смысла, он полагает более разумным решение «философских проблем о Милосердии, Свободной Воле, о Спасении как Идее, а не историческом событии» [Clough 1957: I: 141].

В духе Т. Арнольда, акцентировавшего, прежде всего, моральную основу религии, поэт предлагает собственное истолкование проблемы бессмертия души, волновавшей многих его современников. В письме к сестре от 27 ноября 1848 г. он заявляет, что если человек после смерти обратится в ничто, это не означает, что «Жизнь и Добро перестанут существовать на Земле и Небесах». Следует довольствоваться тем, что «то, что есть в нас доброго, будет бессмертным» [Clough 1957: I: 227-228].

Эта мысль находит художественное воплощение в небольшом стихотворении «With Whom is no variableness, neither shadow of turning», в названии которого заложена цитата из Библии, из Послания св. апостола Иакова: «Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights with whom is no variableness, neither shadow of turning» [The Holy Bible. James 1: 17] – «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены» [Библия. Иак. 1: 17]. Поэт утверждает, что душу его укрепляет сознание того, что если он погибнет, истина останется неизменной; как бы ни сбивался он с пути, Бог неизменен; его шаг становится тверже при мысли о том, что если он споткнется, Бог не упадет:

It fortifies my soul to know
That, thou I perish, truth is so:
That, howsoe'er I stray and range,
Whate'er I do, Thou does not change.
A steadier step when I recall
That, if I slip, Thou dost not fall [Clough 1974: 304].

Признавая в письме к Э.Х. Хокинсу, что «книги, подобные «Жизни Иисуса» Штрауса, подрывают исторические основы христианства», Клаф заключает, что «внешние доказательства незначительны, важен вопрос о внутренних Свидетельствах» [Clough 1957: II: 324]. В «Заметках о религиозной традиции» Клаф подвергает сомнению целесообразность попыток доказать, что «Марк расходится с Лукой, что первое Евангелие в действительности не принадлежит Матфею, а принадлеж-

ность последнего Иоанну не бесспорна, что Павел не Иисус и т. п.: нет нового Евангелия, в котором было бы доказано, что подлинность старого сомнительна». Подобную противоречивость он рассматривает как часть божественного замысла: «Возможно, – пишет он, – Божественный устроитель Вселенной» изначально задумал так, что одно в ней будет противоречить другому» [Clough 1888: 419]. По замечанию К. Чорли, Клаф был убежден в том, что «главные духовные истины христианства могут быть независимы от их исторически подлинных проявлений... суть может быть истинной, даже если история вымышлена» [Chorley: 1962: 108]. Это подтверждается высказываниями самого поэта. «Возможно, – пишет он, – религиозные истины в силу некоей традиции являются нам облеченными в легенду»... «Возможно, человек действительно совершил грехопадение, хотя Адам и Ева являются легендой»; «я не могу сказать, умер ли Христос на кресте, но я готов найти духовную истину в доктрине Искупления» [Clough 1888: 419].

Между тем в поэзии его реакция на Штрауса представляется более драматичной. Стихотворение «По поводу Штрауса» («Epi-Strauss-ium») начинается с возгласа: «Matthew and Mark and Luke and holy John / Evanished all and gone» (Матфей и Марк, и Лука, и святой Иоанн исчезли, их не стало). Но алтари еще горят, пусть менее ярким, но искренним огнем, и светило сияет на голубом небе:

The place of worship the meantime with light
Is, if less richly, more sincerely bright,
And in the blue skies the orb is manifest to sight [Clough 1974: 163].

Поэт сожалеет об утраченной вере предков: блаженны те, кто, не получив доказательств, верили свидетельствам, внушенным свыше, кто в своей искренней вере не замечал очевидных фактов:

Blessed are those who have not seen,
And who have yet believed
The witness, here that has not been,
From heaven they have received
(«In stratis viarum») [Clough 1974: 306].

В стихотворении «Тень и свет» («Shadow and Light») фантом, явившийся поэту, призывает оставить «пустую веру»: он был, и его не стало, он Бог, ничто, призрак мысли, различимый лишь во тьме:

Cease, empty Faith, the Spectrum saith,
I was, and lo, have been;
I, God, am nought: a shade of thought,
Which, but by darkness seen [Clough 1974: 306].

Наибольшим трагизмом проникнуто стихотворение «Пасха. Неаполь, 1849», которому Р.М. Майлнз дал иное название: «Христос не воскрес» [Clough 1957: II: 323]. В «Жизни Иисуса» Штраус приходит к выводу, что «евангельское свидетельство о воскресении Христа не только не является убедительным, но само себя опровергает: с другой стороны, оно есть лишь продукт стремления создать твердую почву для догматического представления, а где нет этого представления, так и евангельское свидетельство теряет всякое значение»

[Штраус 1992: 244]. Подобно другим сверхъестественным эпизодам, Штраус пытается дать воскресению Христа рационалистическое истолкование, объясняя его тем, что Христос был снят с креста живым. В стихотворении Клафа передается реакция сознания его современников на доводы Штрауса. Поэт идет по «грешным улицам» Неаполя, ощущая, что сердце его пылает жарче, чем солнце над головой, его мозг озаряет мысль: «Христос не воскрес, он разлагается в могиле»:

Christ is not risen, no-
He lies and moulders low;
Christ is not risen! [Clough 1974: 199]

Эти строки с разными вариациями становятся рефреном к каждой строфе. В строфах воссозданы детали эпизодов погребения и воскресения Христа: положение его в гроб Иосифом, отваленный от гроба камень, женщины, увидевшие на рассвете двух ангелов. Каждой строфе предшествуют вводные обороты «what though», «what if», «what if even» («что хотя и», «что если», «что если даже»), подвергающие сомнению достоверность свидетельств евангелистов, их вывод неизменен: Христос не воскрес. Поэт трагически осознает, что смерть и тлен ждут не только все человечество, их не избегнет и невоскресший Христос, человеческий удел – лишь «есть, пить и умереть», устремлять глаза в пустое пространство. В конце стихотворения упоминание о двух Мариях и учениках Христа заменяет местоимение «we», поэт имеет в виду не столько новозаветных героев, сколько человечество в целом, переживающее драму не воскресшего Христа, ему остается лишь задаваться вопросом: «Он не воскрес, он подвергается тлену? Христос не воскрес?».

Позже была написана вторая часть «Пасхи», точная датировка которой неизвестна. Погруженный в мрачные мысли среди «грешных улиц» южного города поэт слышит иной голос, призывающий его утешиться: Христос умер, но не мертв, он воскрес в истинной вере:

In the true creed
He is yet risen indeed;
Christ is yet risen [Clough 1974: 204].

Поэт призывает женщин и учеников не предаваться горю: земля – не ад, радость чередуется с горем, с отчаянием – надежда, надежда победит малодушие, вера – неверие, Христос умер, но он воскрес в великом Евангелии и подлинном вероучении. Обыкновенно исследователи отзываются о второй части «Пасхи», лишенной интенсивности чувства, драматического накала первой, как о творческой неудаче Клафа [Chorley 1962: 112]. Между тем обе «Пасхи» воспринимаются как диптих, ставший выражением процессов, происходивших в сознании современников поэта. Подобную смену настроений – от безысходной утраты, религиозных сомнений к восприятию смерти как новой жизни, переживает герой одного из самых значительных произведений викторианского века – поэмы А. Теннисона «In Memoriam».

Наиболее ярким воплощением противоречивости умонастроений викторианцев представляется «Адам и Ева. Фрагмент мистерии о грехопадении». Произведение, над которым Клаф начал работать в 1848 г., осталось неоконченным. В посмертной публикации 1869 г.

жена поэта назвала его «Мистерией о грехопадении», сам поэт предпочитал называть его «Адам и Ева». «Фрагменты мистерии» представляют собой драматическую поэму, разделенную на 14 сцен, в которых воссозданы два библейских эпизода: грехопадения и первого убийства на земле. При этом автора интересуют не столько происшествия, сколько то, как реагирует на них сознание героев.

В начале «Мистерии» передается диалог Адама и Евы после грехопадения. Еве, безутешной в сознании своей вины, Адам внушает, что происшедшее с ними было сном. Ему кажется нелепым, что, сорвав яблоко с ветки, он осужден на смерть, отторгнут от добра и прикован к злу. Он называет ребячеством оплакивать сознательный выбор своего пути. Но, оставшись один, он в полной мере осознает собственное грехопадение. Однако больше всего его мучит не утрата райского блаженства, но неопределенность его участи, неразрешимость вопроса о том, что есть человек, и чем суждено ему стать, отсутствие уверенности в себе, что представляется ему утратой самого ценного в жизни: «Who loses confidence, he loses all» [Clough 1974: 170]. Его радость при появлении первенца Каина омрачена сознанием того, что он подобие родителей и, значит, обречен пройти через те же сомнения и душевные страдания. Бог, повелевающий Адаму и Еве покинуть Эдем, не является им открыто, но воспринимается как внутренний голос, голос совести. Адам убеждает Еву, что лишь в собственном сердце, не извне она сможет услышать голос Бога:

Search in your heart, and if you tell me there
You find a genuine voice...

For not by observation of without

Cometh the kingdom of the voice of God:

It is within us- let us seek it there [Clough 1974: 175].

Авель наследует черты Евы, страшась нарушить запреты Бога, тогда как Каин – подобие отца, осознающего в себе «живую волю», «the living will». Авель, осознающий свое богоизбранничество, ощущающий свое с Евой превосходство над отцом и братом, в гордости не уступает Каину, отказывающемуся признать даже руководство отца. Поступок Каина демонстрирует тезис Арнольда о том, что в любой момент человеком может овладеть зло. Характер рассуждений героя, оправдывающего себя тем, что он сам мог быть убит, «Each for himself», напоминает обитателей «Великой столицы» Клафа: в библейской трагедии поэт обнаруживает связь с духовной атмосферой современности. Но Каин терзает совесть, в его словах повторяется мысль Адама после грехопадения: «Where am I come, and whither am I borne?» [Clough 1974: 179].

В словах Евы, призывающей Каина совершить необходимые обряды, вымолить прощение у «милостивого Бога» («gracious God»), К. Бисвоз обоснованно обнаруживает связь с лозунгами трактарианцев [Biswas 1972: 259]. Каин декларирует принципы Т. Арнольда, намереваясь молить Бога помочь ему никогда не забывать о совершенном злодеянии: «I ask but one thing: never to forget» [Clough 1974: 181]. Каин не может отожд-

дествить себя с теми, кто считает обряды, молитвы действенным средством очищения души от зла:

I am not of that pious kind,

Who, when the blot has fallen upon their life,

Can look to heaven and think it white again [Clough 1974: 181].

Следуя внутреннему голосу, воспринимаемому им как внушение Бога, он обрекает себя на добровольное изгнанничество и постоянные терзания собственной совестью, в чем он видит свое единственное спасение:

There is no safety but in this; and when

I shall deny the thing that I have done,

I am a dream [Clough 1974: 185].

Фрагмент завершает видение Адама, в котором Авель является перед Каином, сидящим возле родителей, и просит прощения у брата, признавая собственную вину и, вместе с тем, правоту их обоих и примиряясь с ним: «...how foolishly, /Because we knew not both of us were right» [Clough 1974: 186].

Продолжением «Мистерии» является «Песнь Ламеха» («The Song of Lamech»), где потомок Каина рассказывает женам и сыновьям историю их предка. Пребывая долгие годы в изгнании, Каин непрестанно видит перед собой Авеля, являющегося к нему мертвой черной тенью, но однажды в его лице он читает прощение. Это же видение является Адаму, которому умерший Авель повелевает отправиться на поиски Каина, чтобы возложить руку на его голову в момент смерти. Во сне Адама оба его сына рука об руку стоят в преддверии Рая. Каин, пройдя через внутренние терзания и раскаяние, обретает прощение и покой. Единение у райских врат Авеля, неукоснительно следующего внешним атрибутам веры, ощущающего себя в единстве с Богом, и Каина, причастного к злему началу бытия, наделенного, как и Адам, «the living will», знаменует внутреннюю противоречивость самого поэта, как и многие его современники, переживающего, по выражению М. Арнольда, «диалог души с самой собой, ...сомнения, ... упадок духа Гамлета и Фауста» [Arnold 1995: 1]. Это умение передать душевные конфликты эпохи объясняет посмертную популярность Клафа, сохранявшуюся за ним до конца викторианского века.

Литература

Библия. М., 1997.

Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма. М., 1989.

Штраус Д.Ф. Жизнь Иисуса. М., 1992.

Arnold M. From Various Letters to Clough // Clough. The Critical Heritage. L., 1972.

Arnold M. The Works. Ware, Hertfordshire, 1995.

Biswas R.K. Arthur Hugh Clough. Oxford, 1972.

Carlyle T. Lectures on Heroes. Oxford, 1925.

Carlyle T. Past and Present. L., 1945.

Chorley K. Arthur Hugh Clough. The Uncommitted Mind. A Study of His Life and Poetry. Oxford, 1962.

Clough A.H. Correspondence: In 2 vol. Oxford, 1957.

Clough A.H. Notes on the Religious Tradition// Clough A.H. Prose Remains. L.; N.Y., 1888.

Clough A.H. Poems. L., 1883.

Clough A.H. Poems. Oxford, 1974.

The Holy Bible. L., 1850.

Houghton W. The Victorian Frame of Mind. New haven, 1957.

Houghton W. The Poetry of Arthur Hugh Clough. New Haven and London, 1963.

Keble J. On Mysticism // The Evangelical and Oxford Movements/ Ed. by E.Jay. Cambridge, 1983.

Mille J.S. Essays on Politics and Culture. Garden City (N.Y.), 1963.

Ruskin J. Modern Painters. L.; N.Y., 1906. Vol. III.

Tennyson H. Alfred, Lord Tennyson. A Memoir. By His Son. L, 1899.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ В ГЕРМАНИИ НА РУБЕЖЕ XIX-XX вв.

Г.И. Родина

Ярким представителем немецкой культуры рубежа XIX-XX вв. является писатель, драматург, публицист, общественный деятель Г. Зудерман (Hermann Sudermann, 1857-1928). На протяжении более сорока лет он активно участвовал в литературно-театральной и общественно-политической жизни Германии, оставив обширное творческое наследие, значимое для истории немецкой культуры. Реалии переходной эпохи, ее художественные поиски запечатлены в написанных им 44 повествовательных и 35

В статье раскрыто характерное для этой эпохи состояние немецкой культуры, многопланово отраженное в творчестве писателя и драматурга Г. Зудермана (1857-1928) – репрезентативной фигуры fin de siecle.

Ключевые слова: Зудерман, рубеж веков, кризис патриархальной культуры, поэтика.

драматических произведений разных жанров, в 95 стихотворениях, в 10 томах дневников, в публицистических

статьях, в двух с половиной тысячах писем [Schiller 1969: 57].

Творческая деятельность Зудермана являлась важной составляющей литературного процесса указанного периода. Зудерман и его современники и соотечественники Х. Берч, К. Блейбтрей, О. Блюменталь, Ф. Ведекинд, М. Кретцер, В. Поленц, Г. Товоте и др. подготавливали почву для появления шедевров Г. Манна, Т. Манна, Г. Гессе, А. Зегерс и др. Творчество Зудермана неразрывно связано с традициями его старших современников (Т. Шторм, П. Гейзе, Т. Фонтане, Л. Фулда, В. Раабе, Ф. Шпильгаген и др.), а также предшественников (Г.Э. Лессинг, И.В. Гете, Ф. Шиллер, Г. Гейне, Ф. Геббель, Э.Т.А. Гофман, Р. Вагнер и др.). О Зудермане высказываются его младшие современники – Т. Манн, Р.М. Рильке, Э.М. Ремарк, Б. Брехт.

Полное представление об отразивших специфику эпохи особенностях поэтики повествовательных и драматических произведений Зудермана дает анализ написанного им с 1886 по 1894 г., что хронологически совпадает с периодом становления и расцвета в немецком искусстве натурализма, оказавшего влияние на писателя.

Тематика и проблематика произведений Зудермана определялась эпохой переживаемого Германией кризиса патриархальной культуры, а также хорошо известным писателю-драматургу современным материалом городской жизни (столичной и провинциальной) и сельской (восточнопрусской). Эпоха рубежа веков была насыщена дискуссиями по вопросам веры и религии, что находило воплощение в его произведениях. Его привлекает тема искусства, история молодого человека, который завоевывает мир. Тема семьи, супружества – одна из самых актуальных в его творчестве, так как через семью он раскрывает не только смысл общественных перемен, но и судьбу немецкой женщины, эмансипацию которой он страстно отстаивал. Он исследует женские типы, представляющие мораль новую и патриархальную. Феномену брака посвящены почти все произведения Зудермана, утверждавшего, что счастье человека заключается в его личной жизни. По мнению писателя, «центр всякого поэтического творчества – сфера отношений между полами». Поэтому одна из сквозных его тем – человек и его любовная страсть, «дикое желание» («wilder Wunsch»), по выражению Зудермана [Sudermann 1899: 105]. В раскрытии темы любви в его произведениях присутствует характерный для времени эротический компонент как аспект эмоционально-чувственной жизни человека, всегда привлекавший писателя. Он исследует эту проблематику с опорой на общечеловеческие ценности.

В Германии 80-90-х гг. общество было охвачено стремлением разрушить патриархальные устои, которые мешали в период «быстрой концентрации капитала» [Panzer 1980: 90]. Эти процессы художественно осваивались в произведениях Зудермана, Гауптмана, Ведекинда, Фабера, Фулды и др. Столкновение новой и патриархальной морали дало основание исследователю К. Франке назвать Германию рубежа веков «классиче-

ской страной моральных противоречий» [Франке 1904: 569], которые отражены в судьбах сотен персонажей, населяющих художественный мир Зудермана.

В столкновении старой и новой морали Зудерман усматривал двойственный характер. Одна сторона этого процесса привлекала его как конструктивная: человек освобождался от пут патриархально-семейных, мещанских и общественных условностей, которые мешали формированию таких важных, с точки зрения Зудермана, качеств личности, как активность и оптимизм. Другая же сторона данного процесса отталкивала Зудермана как «лично безупречного» [Хессен 1911: 28] и «благородного человека» [Kappstein 1918: 4], ибо формировала общественную привлекательность таких этически отрицательных качеств, как эгоизм, меркантильность, аморализм, свободную любовь и т. д. Поэтому Зудерман отстаивал идею соединения целесообразных для жизни нравственных качеств, характерных и для патриархальной морали, и привнесенных новым временем. Тем не менее, в течение всей жизни его преследовало недопонимание: складывался миф о том, что он пропагандирует эотику, свободную любовь, индивидуализм, неуважение к близким, хотя все его произведения свидетельствуют о противоположном. Зудерман не уставал повторять: пороки мира таятся в самой природе человека. Поэтому если человек будет самосовершенствоваться, то мир изменится в лучшую сторону.

На фоне выраженного столкновения патриархального и нового сформировалась такая особенность мировосприятия Зудермана, как полярность. В ее становлении он опирался на идеи Гартмана, Ницше, на творчество Шпильгагена. Полярность обусловила использование контраста как принципа организации системы образов. Уже в сборнике новелл «В сумерки» (1886) персонажи располагаются по принципу контрастного параллелизма, образуя ряды типов, противоположных нравственно, психологически и по темпераменту. Через все творчество Зудермана проходят противоположные женские типы – женщины «новой школы» (эмансипированные) и «старой школы» (патриархальные), а также мужские.

Зудерман неизменно утверждал одну и ту же мысль: поведение человека зависит лишь от его личностных качеств. Поэтому лежащие в основе произведений конфликты имеют нравственно-психологический характер. Собственно социальное не было основной его проблемой, оно всегда проецируется в нравственно-психологическую сферу. Основу конфликта в повествовательных и драматических произведениях составляет столкновение героя и среды, и в этом Зудерман следует литературной традиции. Как правило, он конструирует благополучное разрешение конфликта. В отличие от писателей-натуралистов он оставляет персонажам шанс на позитивную перспективу и эстетически гармонизирует социальные и межличностные отношения. Эта гармонизация принципиальна для него. Режиссерская сделанность благополучной концовки в романе «Забота» (1887), в пьесе «Честь» (1889) и в других произведениях вытекает из поставленной автором задачи.

Он утверждает, что в жизни человека счастье возможно, оно во взаимной любви, основанной на родстве душ, и в создании семьи. Данная идея, реализованная в романе эстетически, останется одной из ведущих в творчестве писателя, воплощаясь в разных по жанру произведениях и создавая нравственный ориентир, столь необходимый человеку в эпоху «моральных противоречий». В этом смысле творчество Зудермана обладает морализирующим пафосом.

В произведениях Зудермана старая традиция завершения сюжета, закрытого финала соседствует с новой тенденцией давать открытый финал, тем самым намечая перспективу позитивного развития, нового этапа в жизни героя.

Сюжетность – важный признак поэтики Зудермана. Сюжет в его произведениях всегда динамичен, его перипетии строятся на контрастности характеров. События воссоздают значительные, узловые моменты в судьбе персонажей. Все элементы сюжета присутствуют и в новеллах, а пространственные экспозиции характерны и для драм. Такие экспозиции необходимы для освещения среды, в которую погружен герой. Развитие действия стремительное и динамичное. Для произведений разных жанров характерно максимальное смещение кульминации к развязке, как правило, неожиданной, что способствует усилению драматизма.

Зудерман использовал и такой прием организации повествования, как энергичное начало, сразу же вводящее в действие, что было редким явлением в поэтике немецкой реалистической прозы этого периода. Предыстории персонажей даны в ретроспекции, постепенно восстанавливаясь в ходе повествования или в процессе развития драматического действия.

Одной из особенностей творческой манеры Зудермана является сосуществование разных стилей, среди которых весьма ощутим романтический. В поэтике его произведений прослеживается генетическая связь с натурализмом – в обращении к современной, социальной, бытовой тематике; во внимании к психологическому анализу и к физиологии как основе психического. Натурализм привел к детальным художественным описаниям, к изменениям на уровне языка.

С точки зрения Зудермана, натурализм как художественный метод (с его стремлением к фактографии, копированию реального мира, отказом от обобщения) не сможет дать истинно художественного произведения, которое не должно быть «буквальным воспроизведением природы» [Меринг 1934: 307]. Поэтому писатель предпочитает формулировку «так называемый натурализм» [А.К. 1895: 181-182]. Он убежден, что не в банальном копировании жизни заключается искусство, что важное место должно быть отведено «поэтической фантазии», «поэтическому воображению», каковое высоко ценит (например в творчестве Флобера, в частности в романе «Саламбо») [Briefer 1932: 215].

Литература немецкого натурализма (Хольц, Шлаф, Гауптман и др.) заимствовала из французской тему влияния наследственности. Зудерман исследует эту тему в рассказе «История тихой мельницы» (1888). Од-

нако натуралистическая идея наследственности и психической патологии прошла лишь по касательной к его творчеству, так как он был ориентирован на активную, здоровую, жизнерадостную личность.

Плодотворным оказался для Зудермана другой аспект биологизированного пласта в человеке – «дикое желание». Объясняя предпочтение, отдаваемое автором этой физиологической теме, следует сказать, что изображение в художественном произведении влияния среды и законов биологической наследственности изгнало из искусства понятие человеческой свободы [Браудо 1922: 21], которую Зудерман всегда не только декларировал, но и защищал своим творчеством и публицистикой. Что касается наследственности и патологии, то человек, по Зудерману, подчиняется ей как некоей органической фатальности, и тем самым утверждает несвобода личности. Подобно наследственности, человеку соприродна и его чувственная основа, «дикое желание», которому, однако, он способен (!) противостоять с помощью силы воли, внутренних запретов, выработанных нравственной культурой, т. е. человек свободен в выборе поведения. Поэтому характеры, обусловленные или следованием «дикому желанию», или сопротивлением ему, воплощали собою многообразие психологических типов и тем самым представляли интерес для Зудермана как художника и психолога. Наблюдая в обществе аморализм, он стремится противодействовать ему средствами искусства.

Зудерман не разделял мнения Золя о фатальном воздействии среды на человека, так как был уверен в том, что независимо от среды, от социального происхождения и статуса человек может быть нравственным, добрым, милосердным или же аморальным, жестоким, злым. В эстетике Зудермана в качестве идеала предстает личность с внутренним миром, которая определяется не средой, а преодолением ее и себя. Как своего рода эстетическая полемика писателя с влиянием на человека среды может быть рассматриваем образ Павла из первого романа Зудермана «Забота».

Писатель продолжает (и завершает) традиции «поэтического реализма», теория которого, как известно, была изложена в работах О. Людвига (1813-1865). Зудерман художественно воплощает те принципы, что близки ему: негативное отношение к революционному радикализму; игнорирование социального конфликта и противопоставление ему противоборства характеров, которые раскрывались не в сфере общественно-политической области, а в частной жизни, где и реализовывали программу собственного морального самосовершенствования; обостренное внимание к «вещам» и точное воспроизведение мельчайших деталей (отметим, что две последние позиции сигнализируют о тесной связи поэтики Зудермана с литературным би-дермайером).

Творчество Зудермана остается в границах реалистического метода постижения мира и человека. Наряду с этим, писатель не только осмысливает себя в традициях предшествующих культурных эпох, из которых ему ближе всего романтизм, «поэтический реализм» и от-

части классицизм, но и чутко улавливает веяния современных ему исканий литературы натурализма. Ему, человеку с материалистическим мировосприятием, сложившимся не без влияния Геккеля и Гете, чужды декаденты рубежа веков, акцентировавшие иррациональное, мистическое. Зудерман является знаковой фигурой своей эпохи. Его творчество более сорока лет «отмечало всякое колебание в атмосфере духовной жизни» [А.К. 1895: 183], став «культурно-историческим документом высокого уровня» [Über dieses Buch 1969: 1].

Литература

А.К. Из Германии // Русское богатство. Спб., 1895. № 10.
Браудо Е.М. Новые течения немецкой мысли (1918-1922). Пг.: Начатки знаний, 1922.
Меринг Ф. Герман Зудерман // Меринг Ф. Литературно-критические статьи. М.; Л.: Academia, 1934.
Франке К. История немецкой литературы в связи с развитием общественных сил (с V в. до настоящего вре-

мени). Спб., 1904.

Хессен Р. Технические приемы драмы / пер. В.В. Сладкопелцева (гл. V. Четыре приема. «Честь») // Библиотека Театра и искусства. Спб., 1911. № 3.

Briefe H. Sudermanns an seine Frau (1891-1924). Hrsg. von Dr. I. Leux. Stuttgart und Berlin, 1932. Письмо из Киссингена от 26 августа 1905 г.

Kappstein Th. Hermann Sudermann als Erzähler // Sudermann H. «Der verwandelte Facher» und zwei andere Novellen. Leipzig: Philipp Reclam, 1918.

//Panzer A. Hermann Sudermann – eine politische Biographie Hermann Suderman: Werk und Wirkung. Würzburg, 1980.

Schiller. Nationalmuseum. Deutsches Literaturarchiv. Marbach am Neckar, 1969.

Sudermann H. Im Zwielficht. Zwanglose Geschichten. 24 Aufl. Stuttgart, 1899.

Über dieses Buch // Sudermann H. Litauische Geschichten. München: DTV, 1969.

3. Проблемы лингвистической регионалистики

К ПРОБЛЕМЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ В ОЙКОНИМИИ (ОБ АРЕАЛЕ С КОНВЕРСИОННЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ОЙКОНИМОВ ОТ НАЗВАНИЙ ХРАМОВ)

А.А. Бурыкин

Современная ономастика развивается настолько динамично, что представления об именах собственных как о лингвистическом объекте изменяются кардинальным образом – во-первых, имя собственное обозначает не единственный объект, а десятки, сотни и тысячи однородных объектов, во-вторых, одно и то же имя может относиться к самым разным объектам. Так, название Москва – это и название реки, и название города, а также название бассейна, располагавшегося когда-то на месте храма Христа Спасителя, название футбольного клуба, фотоаппарата, пишущей машинки и т. д. Анализ признаков имен собственных все больше убеждает в том, что между именами собственными и именами нарицательными на самом деле больше сходств, нежели различий.

Если традиционная ономастика – антропонимика и топонимика – еще 50-60 лет назад предпочитала иметь дело с одиночными онимами, будь то антропонимы или топонимы, то ныне объектом внимания лингвистов все чаще оказывается ономастикон языка в целом, онома-

Статья посвящена изучению региональных ойконимов, основы которых соотносительны с названиями православных храмов и храмовых престольных праздников. Рассмотренный материал наглядно показывает, что словообразовательные характеристики ойконимов могут демонстрировать региональные различия, укладывающиеся в представления о диалектном составе и членении русского языка. На антропонимическом материале формулируется определение объекта региональной и диалектной ономастики – преимущественно языковых единиц, специфических не в лексическом, а в словообразовательном отношении.

Ключевые слова: русская диалектология, региональная ономастика, словообразование ойконимов.

сикон как система. Соответственно, увеличиваются объемы материала, который привлекают к своим исследованиям ономасты, и самое главное – в ономастике все чаще используются методы статистической обработки или оценки материала. Без этих методов нельзя было обходиться и ранее: например, динамика антропонимикона по разным периодам (временным срезам) или по разным регионам неизбежно оценивается, прежде всего, на основе количественных данных. Впечатляют статистические данные по отдельным онима, которые извлекают из корпуса онимического материала исследователи: например, по имеющимся в Интернете данным среди названий улиц городов России до сих пор первые три места принадлежат названиям Советская, Ленина и Октябрьская; комментарии тут, думается, излишни...

Исследования в области русской диалектной и региональной ономастики, развернувшиеся на основе сбора материала, изучения и лексикографического описания диалектной лексики, позволили аккумулировать и сделать доступным для исследователей значительный объем нового, ранее не описывавшегося и почти не известного ономастического материала [Щербак 2006: 245-284]. Вместе с тем, диалектная ономастика, или диалектная ономастическая лексикология, находится как бы в противоположении собственно диалектной лексикологии. В отдельных классах диалектных онимов просто не оказывается и не может быть места диалектным онимическим основам: поскольку в русском ономастиконе почти полностью отсутствуют собственно славянские имена, мы не можем говорить о диалектных основах в антропонимике – тут незначительный процент материала может составлять только такой разряд онимов, как прозвища [Образцова 2007]. Степень производности онимов от диалектных основ по существу обесмысливает рассмотрение ареальных характеристик производных онимов. Приведем один пример. Можно описывать ареалы слов «петух» и «кочет», однако нет уверенности в том, что с ареалами распространения этих слов будут совпадать ареалы распространения ойконимов Петухово, Петушки и Кочетово, Кочетовка. Скорее есть уверенность в обратном: эти ареалы совпадать не будут – и, понятное дело, нет почти никакого смысла в лингвогеографическом изучении современного распространения фамилий Петухов и Кочетов. Впрочем, для сельских местностей здесь можно будет разглядеть антропонимические ареалы, которые не обязательно будут коррелировать с ареалами лексем «петух» и «кочет».

Отсутствие онимических основ, соотносительных с лексическими диалектизмами, в ономастическом, прежде всего в антропонимическом, материале побуждает несколько по-иному формулировать определение объекта региональной и диалектной ономастики. Объектом региональной и диалектной ономастики оказываются преимущественно языковые единицы, специфические не в лексическом, а в словообразовательном отношении. Эта ситуация вполне сравнима с той, которая имеет место при оценке материала по диа-

лектной лексике, собранного в относительно недавнее время: в этих материалах словообразовательные диалектизмы занимают весьма значительное место. Более того, именно словообразовательные диалектизмы составляют тот класс слов, который является инновациями в современных диалектах и который, в конце концов, обеспечивает пополнение лексического состава диалектов и, очевидно, в какой-то степени поддерживает образование диалектных дистинкций хотя бы в новом качестве – на уровне словообразования и морфологии. Увеличивающееся количество и особенная роль словообразовательных диалектизмов особенно наглядно видны на материалах пробного выпуска «Лексического атласа русских народных говоров» (2004), в котором особое место – и в выполненной части работы, и на перспективу – занимают словообразовательные и мотивационные карты. А это означает, что так или иначе внимание исследователей привлекается не к самому архаическому слою диалектной лексики, который составляют лексические диалектизмы, а к диалектно специфическим производным словам, которые составляют явные инновации по отношению к непродуцированным собственно лексическим диалектизмам [Бурыкин 2006: 370-385]. Как показывает исследование А.С. Щербак, в региональной ономастике сочетаются собственно диалектные формы языка и региональные формы языка, т. е. факты русского литературного языка, десонстрирующие локальную специфику.

Изучение региональной ойконимии, как бы ни менялось понимание ономастики, по-прежнему имеет одной из своих первоочередных задач установление происхождения, или этимологии, ойконима. В этом плане по отдельным регионам достигнуты значительные успехи, сопряженные со сбором и накоплением большого количества фактического материала [Попов 2003]. Однако увеличение количества описываемых фактов ведет к усложнению задач его интерпретации. В частности, при обсуждении вопроса о производных онимах, даже если характер основы онима ясен, очень часто возникает вопрос о том, от какого именно класса онимов является производным тот или иной ойконим – от топонима или от антропонима, и если от антропонима, то от какого именно: восходит ли название населенного пункта к личному или фамильному имени первопоселенца, отражает ли название личное или фамильное имя владельца имения или урочища, имя некоей почтенной личности наподобие местного святого или блаженного, или оно дано в честь каких-либо участников исторических событий XX в., может ли оно быть связанным с фамильным именем, некогда образованным от топонима. Эти вопросы имеют не только частное значение, связанное с интерпретацией отдельных ойконимов, но приобретают методологический характер при увеличении объема материала и в особенности, как показывают работы В.Л. Васильева [Васильева 2005, 2006], при расширении хронологических границ ойконимического материала.

Объектом исследования в настоящей работе являются ойконимы, основы которых соотносительны с

названиями православных храмов и храмовых престольных праздников – воздержимся от формулировки, согласно которой эти ойконимы оценивались бы как образованные от названий храмов и престольных праздников. Мы хорошо знаем, что с этими основами связаны многочисленные и широко распространенные фамильные имена: Архангельский, Богословский, Вознесенский, Рождественский, Успенский и т. д. Однако, как представляется, степень вероятности образования ойконимов такого типа от антропонимов является весьма низкой – мы знаем, что соответствующие фамилии получили распространение среди лиц духовного звания в XIX в., а это означает, что среди онимов с такого рода основами вероятность появления отантропонимических наименований очень мала.

Выбор материала намеренно ограничен теми названиями храмов и праздников, которые не соотносятся с именами святых и соответственно с личными именами – в этом случае разные группы онимов, т. е. ойконимы, восходящие к названиям храмов и восходящие к личным именам, было бы невозможно или крайне трудно отграничить друг от друга. Исключение нами сделано только для одного имени – имени Николая, наиболее почитаемого святого.

Материал, выбранный из справочника почтовых индексов России, охватывающего с максимальной полнотой всю территорию РФ, показывает, что ойконимы образуются от названий храмов и престольных празд-

ников, а также от соотносительных с ними онимов более низкой степени производности, по семи словообразовательным моделям:

- 1) ойконимы на **-ка**: Вознесенка;
- 2) ойконимы на **-овка**: Вознесеновка;
- 3) ойконимы на **-овское**: Вознесеновское;
- 4) ойконимы на **-ская**: Вознесенская;
- 5) ойконимы на **-ский**: Вознесенский;
- 6) ойконимы на **-ское**: Вознесенское;
- 7) ойконимы, образованные от названий храмов и праздников семантическим способом или по конверсии: Вознесенье.

Помимо перечисленных моделей, существуют довольно разнообразные производные модели, в частности модели образования сложных слов, где рассматриваемый ойконим в той или иной производной форме занимает первую позицию (ср. Спас-Демянск, Николо-Полома и т. п.) или вторую позицию (ср. Челнаво-Покровское и Челнаво-Рождественское в Сосновском районе Тамбовской области, Хобот-Богоявленское в Первомайском районе Тамбовской области). Представлены в материале и составные ойконимы, а также ойконимы с первым компонентом Ново-. Заметим, что от рассматриваемых здесь производящих основ отсутствуют ойконимы с компонентом Старо-.

Рассмотрим общую частотность вариантов ойконимов, образованных от названий приходов и престольных праздников (табл 1).

Таблица 1

Частотность вариантов ойконимов, образованных от названий приходов и престольных праздников

Архангел – 1 Архангеловка – 1 Архангельск – 1 Архангельская – 1 Архангельское – 34	Прасковья – 1 Прасковьино – 1 Пятница – 4 Пятница- – 2* Пятницкая – 1 Пятницкое – 3
Благовещенка – 7 Благовещенск – 2 Благовещенское – 5 Благовещенье – 2	Преображение – 2 Преображенка – 12 Преображеновка – 4 Преображенская – 1 Преображенский – 1 Преображенское – 3
Богородицк – 1 Богородицкое – 10 Богородск – 3 Богородское – 21	Преполовенка – 1
Богослов – 1 Богословка – 10 Богослово – 2 Богословское – 1	Пречистенское – 1 Пречистинка – 1 Пречистое – 3 Пречисто- – 1

* Дефис означает, что данная производящая основа входит в состав сложных ойконимов, знак + – то, что данный компонент входит в структуру составных ойконимов.

Богоявление – 2 Богоявленка – 1 Богоявленск – 1 Богоявленская – 1 Богоявленское – 1	Покров – 13 Покровка – 44 Покрово- – 7 Покров- – 1 Покровск – 3 Покровская – 1 Покровский – 1 Покровское – 34
Воздвиженка – 10 Воздвиженская – 1 Воздвиженский – 1 Воздвиженское – 5 Воздвиженье – 1	Рождественка – 8 Рождествено – 15 Рождественск – 1 Рождественская – 2 Рождественский – 2 Рождественское – 9 Рождество – 2
Вознесенка – 16 Вознесеновка – 5 Вознесеновское – 1 Вознесенская – 3 Вознесенский – 4	Спас – 2 Спас- – 9 Спасо- – 1 Спасск Спасская – 1
Вознесенское – 6 Вознесенье – 4	Спасская+ – 2 Спасский – 1 Спасские – 1 Спасское – 24
Воскресенка – 3 Воскресеновка – 6 Воскресенск – 2 Воскресенская – 1 Воскресенский – 1 Воскресенское – 23 Воскресенье – 1	Сретенск – 1 Сретенское – 2 Сретенье – 2
Никола – 5 Николо- – 22 Николино – 1 Никольск – 8 Никольская – 2 Никольская+ – 1 Никольский – 5 Никольско- – 1 Никольское – 85	Троица – 8 Троице- – 1 Троицк – 11 Троицкая – 2 Троицкая+ – 3 Троицкие+ – 1 Троицкий – 5 Троицкий+ – 4 Троицкое – 36 Троицкое- – 2 Троицко- – 1
Петропавловка – 19 Петропавлово – 1 Петропавловск – 4 Петропавловская – 2 Петропавловский – 1 Петропавловское – 6	Успенка – 15 Успеновка – 4 Успенская – 1 Успенское – 15 Успенье – 2

Выявленные словообразовательные модели интересующих нас ойконимов имеют неоднородное географическое распределение.

Ойконимы с компонентами **-ка** и **-овка** имеют практически повсеместное распространение, но, вместе с тем, как хорошо известно по соответствующей литературе, ойконимы такого типа характерны для территорий распространения переселенческих говоров, представляющих самые разные волны миграции на юг, в Сибирь и на Дальний Восток. Модель образования ойконимов на **-ка** в этой их группе является гораздо более продуктивной, нежели модель на **-овка**, которая вообще представлена единичными формами.

Ойконимы с компонентом **-ск** количественно являются малочисленными и не образуют какого-либо определенного ареала – они фиксируются повсеместно. Можно думать, что эти ойконимы являются преобразованиями ойконимов на **-ская**, **-ское** или **-ский**.

Ойконимы с компонентом **-ское** являются высококачественными, и в их распределении, как и для ойконимова на **-ка** и **-овка**, почти невозможно усмотреть какие-либо определенные ареалы. Они встречаются и в Европейской части России, в равной мере на севере и на юге, и в ареалах территорий позднейшего заселения.

Ойконимы с компонентами **-ский** и **-ская** в количественном отношении заметно уступают ойконимам на **-ское**. Мы полагаем, что адъективные модели образования ойконимов по происхождению, по функционированию и, как можно полагать по некоторым наблюдениям, по ареалам распространения связаны с бытованием ойконимических апеллятивов – названий типов населенных пунктов. Общераспространенные ойконимы на **-ское** соотносятся с апеллятивом «село», ойконимы на **-ская**, соотносимые по большей части с апеллятивом станица, распространены преимущественно на юге Европейской части России (реже такие названия связаны с наименованием железнодорожных станций). Ойконимы на **-ский** соотносятся на севере России с апеллятивом «погост» – диалектным субститутом или синонимом слова «село», в других регионах они соотносятся с апеллятивом «хутор» или поздним апеллятивом «поселок», а в Сибири – с апеллятивом «острог».

Как это ни странно и ни неожиданно, но ойконимы, образованные от названий храмов и престольных праздников по конверсии, при всей относительной немногочисленности – а они явно уступают в количественном отношении всем другим моделям – отчетливо укладываются в два конкретных ареала, имеющих весьма определенную локализацию, но разный объем и разную степень определенности.

Архангел – 1 ойконим – Владимирская область;
Благовещенье – 2 ойконима – Ивановская и Вологодская области;

Богослов – 1 ойконим – Костромская область;
Богоявление – 2 ойконима – Нижегородская область (2);
Воздвиженье – 1 ойконим – Ивановская область;
Вознесенье – 4 ойконима – Ивановская, Архангельская, Ленинградская, Калужская области;

Воскресенье – 1 ойконим – Костромская область;

Никола – 5 ойконимов – Костромская (2), Вологодская, Кировская, Тверская области;

Прасковья – 1 ойконим – Ставропольский край;

Пятница – 2 ойконима – Московская область (2);

Преображение – 2 ойконима – Липецкая область, Приморский край;

Покров – 13 ойконимов – Ярославская (3), Костромская, Владимирская и Нижегородская (по 2), Вологодская, Тверская, Калужская области (по 1);

Рождество – 2 ойконима – Тверская и Смоленская области;

Спас – 2 ойконима – Ярославская и Костромская области;

Сретенье – 2 ойконима – Ярославская и Кировская области;

Троица – 8 ойконимов – Рязанская (2), Ярославская, Костромская, Псковская, Кировская, Тюменская области, Красноярский край;

Успенье – 2 ойконима – Вологодская и Орловская области.

Хотя, что само по себе весьма любопытно, ойконимы, образованные по данной модели, в единичных случаях встречаются на территориях позднего заселения – Ставропольский край, Тюменская область, Красноярский край, Приморский край – их количество на тех территориях незначительно мало. Гораздо существеннее то, что основная масса ойконимов этого типа фиксируется в граничащих друг с другом областях, лежащих к юго-востоку, к востоку и к северо-востоку от Москвы – это Липецкая, Рязанская, Владимирская, Московская, Ивановская, Тверская, Костромская, Нижегородская, Вологодская, Ленинградская, Кировская область и Республика Коми. Эти области и составляют ареал образования ойконимов от названий храмов с использованием данной редкой и нетипичной для указанного разряда ойконимов модели. В этом же ареале имеют распространение и сложные, а равно составные ойконимы, содержащие неосложненные, немодифицированные производящие компоненты ойконимов.

Второй ареал распространения ойконимов, образованных по конверсии от названий храмов и престольных праздников, – это гораздо менее выразительный и несравненно бедный по фактическому насыщению ареал областей, расположенных к юго-западу и западу от Москвы – в него входят Орловская, Калужская, Смоленская и Псковская области. Этот явно маргинальный ареал как бы уравнивает основной, главный ареал образований ойконимов от названий храмов и престольных праздников по конверсии. Принимая во внимание то, что главный ареал распространения разбираемых ойконимов тяготеет к севернорусским говорам, можно предполагать, что какие-то территориальные группы населения к западу от Москвы имеют исторические связи с территориями к востоку от Москвы, хотя пока, при отсутствии

других данных, такой вывод трудно подтвердить чем-либо иным.

Напрашивается вопрос: с чем связано формирование и сохранение данного ареала, в котором названия храмов точно соотносятся с современными названиями населенных пунктов? Как нам кажется, этот феномен имеет определенные причины этнолингвистического характера. Отмеченный нами ареал распространения ойконимов данного типа к востоку от Москвы в недавнем прошлом характеризовался относительно низкой плотностью населения и, кроме того, отсутствием каких-либо миграций и переселений, которые могли бы исказить ойконимический ландшафт за счет переименований или новых именований, что могло бы отразиться и на изменении словообразовательных характеристик ойконимов.

Рассмотренный материал, как нам кажется, более чем наглядно показывает, что словообразовательные характеристики ойконимов, как и словообразовательные типы, модели, суффиксы и формативы онимов других разрядов, могут демонстрировать региональные различия, укладывающиеся в представления о диалектном составе и членении русского языка. Возможно и ожидаемо то, что словообразовательные характеристики онимов будут в чем-то расходиться с данными по словообразованию имен существительных и именных частей речи по тем же самым диалектам и говорам, однако же ономастические материалы, как показывает опыт их описания, явственно указывают на региональную и диалектную специфику локальных вариантов русского ономастикона.

Литература

Бурыкин А.А. Лексический атлас русских народных говоров: пробный выпуск // Лексический атлас русских народных говоров: мат-лы и исследования. СПб.: Наука, 2006.

Васильев В.Л. Архаическая топонимия Новгородской земли (Древнеславянские деантропонимные образования). Великий Новгород, 2005.

Васильев В.Л. Славянские топонимические древности Новгородской земли: исследование деантропонимных названий на общеславянском фоне: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 2006.

Образцова О.А. Личные имена поунженской деревни начала XX в. (на материале произведений Е.В. Честнякова и живых кологривских говоров): автореф. дис ... канд. филол. наук. Ярославль, 2007.

Попов С.А. Ойконимия Воронежской области в системе лингвокраеведческих дисциплин. Воронеж: Издательский дом Алейниковых, 2003.

Щербак А.С. Проблемы изучения региональной ономастики. Ономастикон Тамбовской области. Тамбов, 2006.

ЗАМЯТИНСКИЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

Е.В. Алтабаева

Фауна и флора письменного стола – гораздо богаче, чем думают, она еще мало изучена.

Евгений Замятин

Творческое наследие Евгения Замятина по праву занимает одно из ведущих мест в исследовательской проблематике тамбовских филологов. Несмотря на то, что минуло уже 125 лет со времени рождения писателя, мы еще не можем утверждать, что представление о творческом методе писателя сложилось во всей полноте, непредвзятости и непротиворечивости. Достаточный ли это срок, чтобы делать какие-то – не конъюнктурные и сиюминутные, но отстоявшиеся и свободные от всего наносного – выводы, ставить диагнозы и принимать окончательные решения? Наверное, на этот вопрос трудно ответить однозначно. И дело здесь не в неумолимом течении времени, не в характере общественного устройства и не в трудолюбии критиков и ученых. Дело в самом Замятине – в живом дыхании его творений, пульсирующих «ритмических преступлений в прозе», в затягивающей в свой омут магии его слова и стиля, в его страстной и сильной натуре евразийца, сумевшей объединить в себе гений бытописательства и дар провозвестничества, силу реализма и загадочную красоту и изящество модернизма. Дело еще и в том, что Замятину до сих пор есть, что сказать человечеству. Его феномен, несмотря на многочисленные исследования, – еще далеко не прочитанная книга. И если отечественное и зарубежное литературоведение уже накопило достаточный опыт исследования этого уникального явления, то язык произведений Замятина пока остается «terra incognita», он ждет, очень ждет своего исследователя, поскольку именно он, язык, может стать ключом к загадке глубинного смысла его творений. Замятинский стиль, в котором блестяще реализовано изобразительное мастерство автора, – принципиально актуальный объект научных изысканий. Тем не менее, работ такого плана весьма немного, тем более системных исследований [Алтабаева 1993: 46-49, 1996: 168-170, 1997: 52-55, 2000: 91-102, 2004: 217-223; Алтабаева, Рыжков 1997: 59-68; Рыжков 2004]. Лингвистическая лаборатория, в 2006 г. учрежденная в Мичуринском государственном педагогическом институте как филиал Международного Замятинского центра Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, в этом смысле объективно оказывается одним из первых научных центров, занимающихся проблемами замятинского текста с позиций лингвокультурной парадигмы.

Во главу угла нашей деятельности мы ставим **замятинский текст** как самодостаточный феномен национальной культуры, как крупное явление русского

В работе представлено обоснование феномена замятинский текст, рассмотрены методологические предпосылки его лингвокультурологического анализа, выявлены и описаны дифференциальные признаки замятинского текста, особенности его языка и концептосферы.

Ключевые слова: замятинский текст, лингвокультурология, идиостиль, национально-культурные концепты, концептосфера.

языкового сознания, как национальное достояние России. Тем самым задачи лаборатории заключаются в системном исследовании замятинского текста как особого национально-культурного явления, с одной стороны, и уникального языкового феномена – с другой. Здесь необходимо остановиться на теоретических основаниях исследования, т. е. обратиться к вопросам методологии, а именно: с каких методологических позиций мы осуществляем изучение языка произведений Замятина.

Во-первых, учитывая, что Замятин является ярчайшим выразителем русской национальной ментальности, мы подходим к изучению его языка с позиций лингвокультурной парадигмы, которая, в свою очередь, представляет собой одну из реализаций антропоцентрического подхода в науке о языке.

Во-вторых, мы рассматриваем языковые особенности его произведений не разрозненно и фрагментарно, но как репрезентацию индивидуально-авторской концептосферы.

В-третьих, в своих разысканиях и рассуждениях мы опираемся на базовое для нас понятие: «замятинский текст». На понятии «замятинский текст» следует остановиться особо. Всем известны такие, по словам В.Н. Топорова, конструкты, как петербургский текст, пушкинский текст, гоголевский текст. Мы знаем, что эти обороты, каждый в свое время, введены в научный обиход как термины и активно используются в научных филологических разысканиях.

Думается, что есть все основания дополнить этот ряд новым понятием, равно как и утверждать бытие замятинского текста как самостоятельного объекта научного исследования, как той самой исходной реальности филологии, каковой, по словам С.С. Аверинцева, и является всякий текст. И в этом проблемном поле важно и интересно следующее: каковы критерии выделения замятинского текста в русской литературе, в чем и как проявляется его особый облик? Естественно предположить, что содержательная сторона его свойств как лингвокультурного, художественного и языкового

феномена не столько отражает поэтическую установку автора, сколько является прямым следствием его мироощущения, миропонимания, «мирочувствия». Реализация этой содержательной стороны в произведении формирует собственно читательское восприятие замятинского текста, во-первых, и воплощает индивидуально-авторскую картину мира, во-вторых.

Коль скоро лингвокультурные, художественные и языковые свойства замятинского текста можно считать основой, каркасом здания, то возникает вопрос о признаках, формирующих и наполняющих, так сказать, полотно замятинского текста и обеспечивающих то самое впечатление, которое уловил и выразил К. Федин, подметивший, что «Замятин не хитро угадать по любой фразе. Он вытачивал вещи как из кости...» [Федин 1967: 78].

Определяющими чертами, можно сказать, дифференциальными признаками, замятинского текста, с нашей точки зрения, являются следующие.

Особая концептосфера, национально специфицированная в ткани текста. При исследовании концептосферы художественного текста вообще и замятинского текста в частности целесообразно, по нашему мнению, применять многоаспектный подход. Именно он позволяет учитывать сложную, многоплановую природу национально-культурных концептов, разнообразие способов их формирования, специфичность репрезентации в тексте и т. д. Можно выделить следующие наиболее значимые аспекты исследования концептов: лингвофилософский, логический, психолингвистический, социолингвистический, лингвокультурологический, лингвокогнитивный и собственно лингвистический. Такой подход к исследованию концептосферы художественного текста сочетает в себе классические и новые методы и как нельзя лучше подтверждает антропоцентрическую природу языка и текста [Алтабаева 2006: 280]. Естественно, что при его использовании следует опираться на четкие методологические основания каждого из вышеназванных аспектов, чтобы избежать противоречивости в системном описании. Так, методологически значимым является тезис В.В. Колесова о том, что «исторически каждое ключевое слово национального языка проходит путь семантического развития от туманного «нечто» (как С. Аскольдов называл концепт) к культурному символу со все усложняющейся специализацией дифференциальных признаков и с одновременным преобразованием содержания понятия, сигнификатов семы и пр.» [Колесов 1992: 64]. К сожалению, в исследовательской практике нередко приходится сталкиваться с неразличением, смешением концептов языка, извлеченных из различных языковых форм, и концептов ментальных, имманентно присущих нашему сознанию. Концепт – сложнейший феномен человеческого языкового сознания и с необходимостью требует онтологического подхода при выяснении и описании его природы. Тем важнее проводить исследование концептосферы художественного произведения методологически корректно, не допуская нарушения вышеназванных критериев. В этом плане значимую роль играет понятие ключевого смысла художественного текста.

Ключевой смысл (смыслы) соотносится с категорией содержания как особая интерпретация того, о чем сообщается в тексте. Будучи интерпретационным компонентом текста, ключевой смысл (смыслы) имеет концептуальную природу, поскольку отражает содержание соответствующего концепта и структурирует концептосферу художественного текста, являясь ее «стержневым» образованием. Исследование ключевых смыслов текстовой модели картины мира позволяет вскрыть глубинные механизмы их сосуществования и взаимодействия в индивидуально-авторской концептосфере.

За ключевыми текстовыми смыслами стоят фундаментальные концепты языкового сознания нации, отражающие в художественном тексте систему «миров личности» и являющиеся национально-культурными константами. Так, в важнейших текстовых смыслах отражены фоновые знания носителей русского языка. Кроме того, в них получают свое образное воплощение универсальные и общенациональные концепты русского языкового сознания. При этом, есть основания полагать, что в содержании ряда концептов (время, пространство, человек, ум, тело, совесть, вера, надежда, любовь, желание, возможность, необходимость и др.) сосуществуют и переплетаются универсальное и национально-культурное «коллективное бессознательное». Очевидно, что «в рамках культурного концепта смыслы постоянно уточняются и модифицируются, приводятся в соответствие с вновь получаемой информацией» [Алефиренко 2005: 9], а сам концепт выступает в качестве посредника между языковой и внеязыковой действительностью, соединяя и связывая эти два мира. Для русской языковой картины мира характерны собственные, национально специфицированные концепты (душа, судьба, тоска, кручина, неприкаянность, удаль, приволье, размах, авось и др.). Для понимания сущности таких концептов людьми, не говорящими по-русски, важно учитывать дискурсивную функцию их репрезентантов в тексте художественного произведения. Полотно замятинского текста организуется системой разнообразных концептов, образующих индивидуально-авторскую концептосферу и располагающих собственной системой средств представления. Изучение данной системы составляет одну из главных задач современного замятиноведения.

Особое взаимодействие и взаимопроникновение макрокосма и микрокосма. Эту черту, реализованную в пространстве замятинского текста, прекрасно иллюстрируют слова самого Замятин из работы «О синтезме»: «Как будто реально и бесспорно: ваша рука. Вы видите гладкую, розовую кожу, покрытую легчайшим пушком. Так просто и бесспорно. И вот – кусочек этой кожи, освященный жестокой иронией микроскопа (здесь и далее выделено нами – Е. А.): канавы, ямы, межи; толстые стебли неведомых растений – некогда волосы; огромная серая глыба земли – или метеорит, свалившийся с бесконечно далекого неба – потолка, – то, что недавно еще было пылинкой; целый фантастический мир – быть может, равнина где-нибудь на Марсе ... Синтез подошел к миру со сложным набором стекол

– ему открываются **гротескные, странные множества миров**; открывается, что человек – это вселенная, где солнце – атом, планеты – молекулы, и рука – конечно, сияющее, необъятное созвездие Руки, открывается, что Земля – лейкоцит, Орион – только уродливая родинка на губе, и лет солнечной системы к Геркулесу – это только гигантская перистальтика кишок. Открывается красота полена – и трупное безобразие луны, открывается **ничтожнейшее, грандиознейшее величие человека, открывается – относительность всего**. И разве не естественно, что в философии неореализма – одновременно – любовь к жизни и взрывание жизни страшнейшим из динамитов: улыбкой?» [Замятин 2004: 167-168]. Текст самого Замятина – отнюдь не искусно сконструированное образование прекрасного мастера. Это язык и образ, это звук полной мощности и изображение максимальной яркости. Это кровь и плоть, биение сердец в унисон и нешуточный накал страстей (как тут не вспомнить Матисса с его девизом: «искусство должно быть страстным?»). Это совершенно особое четырехмерное пространство, это огромный мир, вмещающий в себя и «одну какую-то точку в уголку ее губ» – точку «сгущенного солнца», и целую вселенную с лунами, звездами, «миллионами воздушными льдами» ... Это тот самый сплав, тайну которого так хорошо знали Иероним Босх и «адский» Питер Брейгель».

Полифоничность (многоголосие), когда автор, рассказчик, герой речедействуют в тексте на равных. При этом важно, на наш взгляд, различать адресации воз- действительности. Ближайшая, внутритекстовая адресация типа «автор – герой» представляет собой организацию воздействия в пределах текстового (композиционно-сю- жетного) пространства по отношению к действующим лицам как участникам текстовой коммуникации.

Авторским замыслом и параметрами смоделированной ситуации предопределяется характер речевого или неречевого реагирования адресата (рациональное, эмо- циональное, позитивное, негативное, нейтральное и т.д.). Чаще всего такой тип адресации воз- действительности встречается в диалогической речи персонажей, где мы сталкиваемся с непосредственным воздействием, на- пример:

«За окном торговались, кричали, скрипели. Полков- ник не выдержал:

– **Иван Арефьич, да закройте окно! Голова трещит. Что за манера – базар перед самым кабинетом!**

Иван Арефьич, на цыпочках, закрыл окно и позвал: – Следующий» (Уездное). [Замятин 2003: 128].

Или:

«В дверях – очки на кончике носа:

– **Елисей Елисеич, велели – чтоб на собрание. Скорее.**

– Ну вот, только за книгу сядешь ... Ну, что еще такое? – У лысенького мальчика в голосе слезы.

– Не могу знать. А только чтоб скорее... Дверь какоты захлопнулась, очки понеслись дальше...» (Мамай) [За- мятин 2003: 477].

При дальнейшей, надтекстовой адресации типа «автор – герой – читатель» воздействие выходит за пре- делы текстового пространства и делает своим адреса-

том читателя или исследователя текста, не оставляя без внимания героя, внутренний мир и душевное состояние которого автор обычно раскрывает в форме либо автор- ской, либо несобственно-прямой речи, где выступает как соучастник происходящего, «доверенное лицо» своего персонажа, например: **«Забиться бы куда-ни- будь, залезть в какую-нибудь щель тараканом...»** (Уездное); **«Нет того слаще, как девичьи слезы унять, увидеть улыбку, осветленную слезами, как лист – дож- дем»** (Африка).

В сочетании со сказовой манерой повествования не- собственно-прямая речь становится одним из важней- ших компонентов механизма воз- действительности в прозе Замятина, являясь в то же время средством индивидуа- лизации носителей речи, персонификации повествова- ния. Умело пользуясь традициями сказового жанра, Замятин-автор как бы прячется за маской рассказчика – представителя той социальной среды, которая описы- вается в произведении. Эффект воздействия здесь заклю- чается в том, что, «с одной стороны, рассказчик стремится подчинить «чужую» речь своей собственной, а с другой – сквозь восприятие рассказчика проступает индивидуальная манера персонажей говорить, думать, чувствовать» [Муценко [и др.] 1978: 156]. Подобное многоголосие, создаваемое, прежде всего, использо- ванием несобственно-прямой речи, относится к сугубо сказовым поэтическим возможностям, но в то же время участвует в системе художественного воздействия как текстообразующее средство. Для автора важно в этом плане представлять, «чей «голос» воспринимает в каж- дый данный момент реципиент – голос автора (действи- тельного или внутритекстового) или голос передразнивания, или голос рассказчика и проч.» [Богин 1996: 5].

Естественно, что вплетение элементов несоб- ственно-прямой речи в речь рассказчика не только ин- дивидуализирует, но и динамизирует повествование, облегчает процесс формирования смыслов в художе- ственном тексте, т. е., по существу, служит одним из средств воз- действительности произведений.

Особый хронотоп замятинского текста, позволяющий говорить об авторском пространственно-временном кон- тинууме. Мир воспринимается и оценивается человеком, прежде всего, в категориях времени и пространства, при- чем можно предположить, что это особенно характерно для русского человека. И время, и пространство яв- ляются весьма значимыми фрагментами национальной языковой картины мира, а в замятинском тексте высту- пают доминирующими концептами, являясь в то же время основными характеристиками героев. Следует также отметить, что для замятинского текста время и пространство – особые, организующие концепты, соз- дающие тот самый хронотоп, в который погружает своих героев Замятин. Не случайно сами названия многих его произведений являются репрезентантами именно этих концептов – пространства («Уездное», «На куличках», «Алатырь», «Русь», «Островитяне», «Пещера», «Аф- рика», «Север» и др.) и времени («Три дня», «Апрель», «Полуденница», «Четверг», «Наводнение», «Встреча»).

Анализ замятинского хронотопа показывает явную его специфику, заключающуюся, в том числе, в динамичности пространства и цикличности времени. Мы уже обращались к этой проблеме [Алтабаева, Бреденко 2004: 201-206; Алтабаева, Фотинова 2004: 206-210 и др.], однако она нуждается в более детальном рассмотрении и специальных исследованиях. Такие исследования в течение ряда лет ведутся в лингвистической замятинской лаборатории, и их результаты оформляются в диссертационные работы.

Особый, былинно-бытовой (или бытово-былинный?) тип героя. Замятинские образы полны жизни, они вполне реальные, пластичны, естественны, осязаемы даже при их былинности (Марей в «Севере», Федор Волков в «Африке», Цыбин в «Еле») или гротесковости (викарий Дьюли в «Островитянах», Краггс в «Ловце человеков», дьякон Индикоплев в «Иксе»). Поймав образ, Замятин одевает его словами, в которых – «и цвет и звук: живопись и музыка дальше идут рядом» [Замятин 1989: 32]. Читателю удается не только увидеть героя, но и услышать его, почувствовать, войти в его ближний круг, в его мир, ощутить себя соучастником проходящего. Исследование средств речевой и неречевой характеристики героев Замятина позволит приблизиться к постижению их сущности, с одной стороны, и механизма «вылепливания» уникальных художественных образов – с другой.

Особая воздейственность текстов Замятина, обусловленная синтезом информативных и прагматических факторов. В своих работах мы неоднократно обращали внимание на то, что произведения Е. Замятина отмечены особым «дыханием» фразы, чутьем слова-знака и слова-звука, многоголосием текстовой ткани, погружением в «отборно русскую» речевую стихию. Главное для писателя – почувствовать, «услышать ритм всей вещи», а затем добиваться желаемого эффекта, совершая «ритмические преступления в прозе», конструируя текст и совершенствуя его «медленным процессом переписывания» [Замятин 1989: 32]. При этом Замятин достигал таких вершин писательского мастерства, что его чуть ли не упрекали в формальной изысканности, в излишне рациональном механизме образов, в просвечивающейся сквозь замысел «инженерии его вещей» [Федин 1967: 78]. Что же позволяет Замятину так смело и решительно погрузить нас в многомерное пространство повествования, не ввести, а втянуть, заманить в водоворот событий? Думается, ответ на этот вопрос стоит искать в сфере глубинных механизмов воздейственности художественного текста, который, как и всякий другой текст, является высшей, а возможно, и универсальной формой коммуникации. Правильно понять текст значит правильно понять состояние той эпохи, которая стоит за этим текстом. На наш взгляд, в этом особом, образном и эстетически значимом, отражении действительности уже изначально заложены основы воздейственности художественного текста, в котором всегда конкурируют собственно информативный и прагматический компоненты. Вопрос об их соотношении и взаимодействии заслуживает отдель-

ного рассмотрения, хотя в каждом конкретном случае могут проследиваться закономерности, характерные для художественного творчества в целом.

Применительно к замятинской прозе, видимо, можно говорить не просто о взаимодействии, а о взаимопроникновении, о слиянии информационно значимых и прагматически ориентированных элементов текста, об их, пользуясь термином самого Замятина, синтетизме: прагматизированной информативности или информативной прагматизированности. Иными словами, всякая информация у Замятина подается как «прагматически маркированная», а через прагматические средства читатель получает художественное впечатление не в чистом виде, а осложненное новыми знаниями, представлениями о том или ином герое или событии.

Рассмотрим пример из рассказа «Пещера»: «Вдруг – свет: ровно десять. И не кончив, зажмурился Мартин Мартиныч, отвернулся: при свете – труднее, чем в темноте. И при свете ясно: лицо у него скомканное, глиняное (теперь у многих глиняные лица: назад – к Адаму). А Маша:

– И знаешь, Март, я бы попробовала – может, я встану... если ты затопишь с утра.

– Ну, Маша, конечно же... Такой день... Ну, конечно – с утра.

Пещерный бог затихал, съеживался, затих, чуть потрескивает. Слышно: внизу, у Обертышевых, каменным топором щепают коряги от барки – каменным топором колют Мартина Мартиныча на куски. Кусок Мартина Мартиныча глиняно улыбался Маше и молот на кофейной мельнице сушеную картофельную шелуху для лепешек – и кусок Мартина Мартиныча, как с воли залетевшая в комнату птица, бестолково, слепо тукался в потолок, в стекла, в стены: «Где бы дров – где бы дров – где бы дров» [Замятин 2003: 542-543].

По существу, информация, содержащаяся в этом фрагменте, сводится к следующему: герой не в силах сказать умирающей от холода жене, что дрова кончились, и мучительно пытается найти выход – достать дрова. Но Замятин не был бы Замятиным, если бы не возвел, в общем-то, бытовую ситуацию на подлинно трагедийный пьедестал, если бы не показал всю глубину переживаний героя, обреченность его стремления сохранить в «пещерных» условиях человеческое лицо.

Писатель не пользуется типичными и, казалось бы, подходящими в данном случае средствами языка. Его авторская информативность – особого рода. Это зрительно-слуховые сигналы, посылаемые читателю через текст и формирующие образ. В начале анализируемого фрагмента посылается зрительный сигнал (в комнате темнота, и «вдруг – свет»), который подчеркивается и усиливается повторами («при свете – труднее», «и при свете ясно: лицо у него скомканное, глиняное...»). Метафора «скомканное, глиняное лицо» – это следующий сигнал, который раскрывает душевное смятение героя и иллюстрирует его реплику, столь же скомканную и глиняную («Ну, Маша, конечно же... Такой день... Ну, конечно – с утра»). Высветив образ, Замятин озвучивает его – «слышно...» и далее – «каменным топором колют

Мартина Мартиныча на куски». Последнее предложение фрагмента необычайно выразительно.

Оно начинается с синтеза звукового и зрительного сигналов («Кусок Мартина Мартиныча глиняно улыбался Маше»). В восприятии читателя отзвук от как бы расколотого, разбитого на куски героя, выпяченного в эстетике «словесного кубизма», сливается воедино с видом его нелепой глиняной улыбки и перерастает в биение души-птицы, мечущейся по пещере в поисках выхода: «Где бы дров – где бы дров – где бы дров». И теперь мы уже не можем сомневаться в высоте напряжения замятинской строки: мы видим, мы слышим, мы осязаем образ и более того, мы готовы принять его именно таким, каким показывает его Замятин – движимым единственным желанием найти дрова, способным ради этого на любую жертву. Безусловно, автор еще многое добавит к характеристике своего героя, но главное уже сделано, и мы знаем ту доминанту, вокруг которой группируется художественный мир этого рассказа: «Где бы дров...».

Особый язык и стиль, позволяющие так организовать кодирование информации, что уже сами способы этого кодирования являют собой эффект сильнеешего художественного впечатления.

В этой системе дифференциальных признаков замятинского текста мы выделяем два доминирующих, из которых вытекают и на основе которых формируются все остальные. Альфа и омега замятинского текста – две взаимосвязанные сущности: концептосфера и язык. Исследовательские перспективы лингвистической замятинской лаборатории, надеемся, позволят представить параметры и результаты исследования национальной концептосферы произведений Е.И. Замятина, художественная система которого в плане репрезентации русской ментальности, безусловно, представляет большой научный интерес для исследователей самых разных направлений. Процесс изучения различных способов вербализации и организации в концептуальном пространстве замятинского текста, диагностически важных для последнего, национально-культурных концептов (время, пространство, человек, ощущение, речь, желание, любовь и др.) предполагает его осуществление, во-первых, на междисциплинарном уровне с использованием всех современных данных о человеке и языке, полученных в различных областях знания, т. е. на основе многоаспектного подхода, во-вторых, с учетом основных характеристик самого объекта исследования, среди которых выделяются, прежде всего, его антропоцентрическая направленность и национально-культурная специфичность, многоплановость семантики замятинского текста и его структурно-функциональная целостность. В своей работе мы представили те основные направления лингвокультурологического исследования феномена «замятинский текст», которые заслуживают самого пристального внимания лингвистов разного профиля. Разыскания в этой области, несомненно, составят перспективу осмысления замятинского текста русистикой XXI в.

Литература

- Алефиренко Н.Ф.* Этнокультурные константы языкового сознания // Этнокультурные константы в русской языковой картине мира: генезис и функционирование: мат-лы Междунар. науч. конф. (Белгород, 29 сентября – 1 октября 2005 г.). Белгород; 2005.
- Алтабаева Е.В.* Высказывания с семантикой волеизъявления как средство речевого воздействия в произведениях Е. Замятина // Творческое наследие Е. Замятина: взгляд из сегодня. Кн. VI. Тамбов, 1997.
- Алтабаева Е.В.* Концепт «желание» в художественной прозе Е. Замятина // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня: научные доклады, статьи, очерки, заметки, тезисы: в XIII кн. Кн. XIII / под ред. Н.Н. Комлик. Тамбов; Елец; 2004.
- Алтабаева Е.В.* О механизме художественного воздействия прозы Е.И. Замятина // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. VII. Тамбов, 2000.
- Алтабаева Е.В.* Поэтика сказочных форм в прозе Евгения Замятина // Литература и фольклорная традиция: тез. докл. межвуз. науч. конф. Волгоград, 1993.
- Алтабаева Е.В.* Современные подходы к исследованию концептосферы языка (на материале концепта «желание») // Международный конгресс по когнитивной лингвистике, 26-28 сентября 2006 г.: сб. мат-лов / отв. ред. Н.Н. Болдырев. Тамбов, 2006.
- Алтабаева Е.В.* Текстовые особенности категории волеизъявления (на материале произведений Е. Замятина) // Язык и культура: 4-я Междунар. конф.: мат-лы. Киев, 1996. Ч. 3.
- Алтабаева Е.В., Бреденко Е.А.* Время в языковой картине мира героев Е. Замятина // Актуальные проблемы лингвистики и методики: межвуз. сб. науч. тр. Елец; 2004.
- Алтабаева Е.В., Рыжков И.А.* Текстовые возможности глаголов ощущения в романе Е. Замятина «Мы» // Творческое наследие Е. Замятина: взгляд из сегодня. Кн. V. Тамбов, 1997.
- Алтабаева Е.В., Фотинова Ю.Ю.* Категория пространства в повести Е. Замятина «Уездное» // Актуальные проблемы лингвистики и методики: межвуз. сб. науч. тр. Елец; 2004.
- Богин Г.И.* Воздейственность текста как наличие программы рефлексивных техник понимания // Художественный текст как акт речевого воздействия: мат-лы Всерос. науч. конф. Вып. 2. Ростов н/Д, 1996.
- Замятин Е.И.* Собр. соч.: в 5 т. Т. 1. Уездное. М., 2003.
- Замятин Е.И.* О синтетизме // Замятин Е.И. Собр. соч.: в 5 т. Т. 3. Лица. М., 2004.
- Замятин Е.И.* Как мы пишем. М., 1989.
- Колесов В.В.* Концепт культуры: образ – понятие – символ // Вестник С.-Петерб. ун-та. 1992. № 16. Вып. 3.: История, языкознание, литературоведение.
- Мущенко Е.Г., Соболев В.П., Кройчик Л.Е.* Поэтика сказа. Воронеж, 1978.
- Рыжков И.А.* Глаголы ощущения в романе Е.И. Замятина «Мы». Мичуринск, 2004.
- Федин К.* Горький среди нас. Картины литературной жизни. М., 1967.

ЗООНИМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ НА СЛУЖБЕ СОЗДАНИЯ ГЕРОИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ (К РЕКОНСТРУКЦИИ И ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»)

В.Г. Руделев, О.В. Сафонова

1. Боянь

Представлению *Бояна* как возвышенной, героической личности (великого поэта-певца, крупной общественной фигуры, мыслителя, политика) мешают укоренившиеся догмы о древнем (первоначальном) язычестве у восточных славян и позднем (только с X в.) христианстве на Руси [Руделев 2004: 76-86], а также непонятная боязнь увидеть в Бояне гениального предшественника Автора «Слова» [Энциклопедия 1995, т. 1: 24-36]: последнее якобы умаляет поэтические данные и общественную роль создателя «Слова о полку Игореве».

Если отвлечься от первого и второго, если увидеть в этом преходящие моменты, возникшие в угоду конъюнктурным соображениям или в силу политических запретов, то откроется нечто совершенно новое в образах многих представленных в «Слове» лиц, и прежде всего – в образе Бояна.

Первое упоминание имени Бояна в тексте «Слова» начинается со строк, нуждающихся в неременной коррекции (в превращении союза *а* из противительного в соединительный [Никитин 1984а: 215; Энциклопедия 1995, т. 3: 311-312]):

*Начати же ся тѣй пѣсни
по былинамъ сего времени
а по замышленію Бояню!*

Перевод на современный русский:

*<Начаться же той песне
по былинам нашего времени
и – по замыслению Боянову!>*

Подобную коррекцию текста, искаженного некомпетентными переписчиками, провести необходимо по многим причинам [Руделев 2009: 48-52], но особенно в связи с тем, что без нее невозможно понять последующие строки текста: если Автор «Слова» противопоставляет себя Бояну, цитируя далее его высочайшие художественные строки, значит он отрекается от художественного изложения событий, предпочитая поэтической модели какую-то иную, но этого не отмечается – Автор «Слова» относится к Бояну почтительно, как Поэт к Поэту, и следует его заветам. Причем же здесь: «а не по замыслению...»?

Итак, Автор «Слова» не противопоставляет себя Бояну, а следует его поэтической модели и не боится об этом сказать, видимо, потому что иначе его не пой-

В статье реконструируются и подвергаются герменевтической обработке части текста «Слова о полку Игореве», содержащие образы Бояна и Всеслава Брячиславича. Выявляются внутренние формы зоонимов, характеризующих указанных героев. Расшифровывается образ Мысленного древа.

Ключевые слова: Боян, Всеслав, Ель, соловей, волк.

мут и не примут! Да и не надо великому от великого отекаться.

Наша гипотеза подтверждается тем фактом, что Автор «Слова» в смысле художественного метода окзывается не ниже своего великого предшественника, его представление (описание творчества) Бояна – образец высочайшей поэзии:

*Боянь бо вѣщій,
аще кому хотяше пѣснь творити,
то растекашеться мыслью по древу,
сѣрымъ вълкомъ по земли,
шизым орломъ подь облакы.*

Укрепляя себя в высоком (церковнославянском) слоге, Автор «Слова» экономно, с помощью трех животных образов (*белки-мыси, серого волка и сизого орла*) формирует Бояново поэтическое пространство. Конечно, речь идет о *желтой* белке (конъектура *Н. Корелкина* [Энциклопедия 1995, т. 3: 293-296]), в этом случае созвучие в словах *мысль* и *мысль*, своего рода паронимическая аттракция, играет не последнюю роль. Триада «*желтая белка ~ серый волк ~ сизый орел*» не только создает трехмерное пространство, поэтический простор поэта, но и заполняет это пространство *мысленным древом (деревом)*, и у *дерева* – три цвета: **желтый** (= *золотой*) ~ **серый** (оттенки *избурасерый* и *иссинясерый*) ~ **сизый** (*темный, черный с просинью и с белесоватым, голубоватым отливом, серо-синий, дикого цвета с синевою, с голубой игрою*) [Даль 2002, т. 4: 53, 58]. В наборе цветов угадывается *священная* у православных русских людей *Ель*. Почти такая же модель представления *ели* – у современных русских поэтов, например у Булата Окуджавы: «*Синяя крона, малиновый ствол, / звяканье шишек зеленых...*». Ярким примером также является «Сказка о царе Салтане...»

А.С. Пушкина – там уж без всякого сомнения *святое дерево*: «*Ель растет перед дворцом, / А под ней хрустальный дом; / Белка там живет ручная, / Да затейница какая! / Белка песенки поет / Да орешки все грызет, / А орешки не простые, / Все скорлупки золотые, / Ядра – чистый изумруд...*».

Священный характер *Ели* у православных христиан подтверждается украшением ее и возжиганием свечей на ней на Рождество Христово; в некоторых российских регионах, например в Псковской области, *елочка* украшает головной убор невесты [Таратынова 2007; Руделев 2008: 64-69]; в Смоленске *Рождественскую Ель* (*Мысленное древо*) не разбирают до *Масленной недели*, только тушат огни, но зажигают их снова в первый день *Масленицы*. Само имя «*Масленица*» происходит не от слова *масло*, а от буквенного символа Богородицы Марии – *Мыслеть*. Эта буква обозначала в древней славянской азбуке *чертами*, а затем и в Кирилловой *глаголице* фонему [m] и число <40>, а еще она была тайным образом Пресвятой Богородицы Марии в годы запрета на Ее и иные иконы (717-842 гг.). Таковой эта буква была и много раньше – во времена арианства и несторианства, когда были отняты у православных христиан Богородичные праздники, в том числе *Успение Пресвятой Девы Марии*; позже этот праздник был православным христианам возвращен, но перестал быть переходящим, перед Великим Постом; «освободившаяся» праздничная неделя стала «языческой» и превратилась из *Мысленицы* в *Масленицу* [Руделев 1999: 48-54].

Нам еще предстоит вернуться к выражению *мысленное дерево* и сделать очень важные уточнения к нашим рассуждениям. Пока же проследим за мыслью Автора «Слова», прославляющего *Бояна*:

*Помняшь бо, рече,
първыхъ времяъ собоицѣ,
Тогда пуцашеть десять соколовъ
на стадо лебедѣй.
Которой дотечаше,
та преди пѣснь пояше:
старому Ярославу,
храброму Мъстиславу,
иже зарѣза Редедю
предъ пълкы касожьскими,
красному Романови Свтъславичу*

*Боянь же, братие, не десять соколовъ
на стадо лебедѣй пуцаше,
но своя вѣщія прѣсты
на живая струны въскладаше.
Они же сами княземъ славу рокотаху.*

Эти два отрывка из «Слова» преисполнены изысканной тропики: пальцы Бояна (его *вещие персты*) сравниваются с *десятью соколами*, нападающими на *стадо лебедей*, а *лебеди* – это живые струны музыкального инструмента (*гусель*) Бояна. Боян словно и не слагает свою *песню* и не поет ее, а только задает тему своим *ле-*

бедям-струнам, а они сами поют громкую славу героям-князьям. Кипенная чистота *птиц-лебедей* и рыцарское благородство *птиц-воинов, доблестных соколов*, дают представление о чистоте и возвышенности песен Бояна; быть героем его песни – высочайшая честь тому, о ком поет великий певец.

Образы *птиц*, однако, не единственные предикаты словесной фигуры Бояна, важна и иная, прямая информация о достоинствах этого человека-поэта. Оказывается, он глубоко знает славянскую историю, полную кровавых схваток одних племен с другими; эти схватки (*усобицы*) отражены в народной памяти – благодаря тем же *баянам*. Имеется в виду, прежде всего, конец IV в. (375 г.), когда восточнославянский вождь *Вятко* (*Вячеслав*), родоначальник левобережного (по Днепру), *черного*, народа, поверив клятве готского королевича *Винитара*, сына престарелого хозяина правобережной, правой (по тому же Днепру) половины славянской земли короля Эрманариха, прибыл на дружеский пир в Киев вместе с сыновьями и старейшинами, и все были зверски убиты: живыми закопаны в землю. Вот это событие – самое древнее (*первое*) в памяти Бояна, оно отражено было еще в песнях, которые Боян услышал от своих предшественников-баянов. Оттуда идет и самый древний фрагмент «Слова» – «Сон Святослава Киевского» [Сафонова, Руделев 2009: 201-204]. Он, впрочем, был еще «*сном*» древлянского князя *Мала*, пожелавшего себе взять в жены овдовевшую княгиню *Ольгу*. Ну, а непосредственные песни Бояна угадываются, в частности, в *былине «О Вольге и Микуле»* и в «*Соловье Будимировиче*», а также в «*Сказке о царе Салтане*» А.С. Пушкина [Руделев 1994: 26-27, 41-44], не говоря уж о тех песнях, которые предполагает перечень имен у Автора «Слова» (о Ярославе Мудром, о его брате Мстиславе и о внуке Ярослава – красавце Романе Святославиче, убитом половцами в 1079 г.).

Следующий отрывок из «Слова» дает дополнительную и, видимо, самую важную информацию о *Бояне* и о *Мысленном дереве*, в котором мы угадали подобие *Рождественской Ели*:

*О Бояне, соловию старого времени!
Абы ты сия пълкы ущекоталь,
скача, славию, по мыслену древу,
летая умом подь облакы,
свивая славы оба полы сего времени,
рища въ Тропу Трояню
черезъ поля на горы!*

Автор «Слова» искусно играет церковнославянскими формами, чередуя их с народными, русскими. К Бояну он обращается, употребляя то форму *соловию* (по-русски), то *славию* (по-церковнославянски); в обоих случаях Боян оценивается высочайшим образом, выделенный из ряда обычных *баянов*. В XII в. певец XI в. – уже *соловей старого времени*, у кого не грех и поучиться, и даже позвать на помощь: «*если бы ты эти походы воспел!*». Не так ли А.С. Пушкин призывал мысленно Е.А. Баратынского принять участие в создании «Евгения

Онегина» и перевести на свой поэтический язык любовное письмо Татьяны, написанное по-французски (какой древний, оказывается, прием!):

*Певец Пиров и грусти томной,
Когда б еще ты был со мной,
Я стал бы просьбою нескромной
Тебя тревожить, милый мой:
Чтоб на волшебные напевы
Переложил ты страстной девы
Иноплеменные слова.
Где ты? Приди: свои права
Передаю тебе с поклоном...*

Но это – не самое главное! Главное – в том, что мы, наконец, видим, что значит *Мысленное дерево (Ель)* по своей функции, чему оно служит. В самом начале своей истории слово *мыслить (мыслити)* имело внутреннюю форму *говорить* [*tiutl- > tiusl-]. М. Фасмер [Фасмер 2004, т. 3: 25] связывает эту праформу с цепочкой древнегреческих слов именно со значением *говорить*, и с ним же строятся форманты славянских слов-имен типа: *Осомысль, Гостомысль, Добромысль, Перемысль*. Формант *-Мысль* синонимичен формантам *-Славь (Ярославь, Святославь, Мьстиславь)* и *-Горь (Святогорь)*. Краткий вариант приведенной праформы [*mutl- > *mul-] (с выпадением [*t]) – в слове *мълвити*; оно паронимично в своей основе или совпадает с возможным вариантом основы [*mol] глагола *молити (ся)* ([mel-]). В таком случае закономерны значения слова *мыслити* не только *думать, говорить*, но и *молить (ся), просить*. *Мысленное дерево (священная ель)* оказывается православно-христианской иконой, судя по всему, образом *Святой Троицы (Трояна)*. Между прочим, такая православно-христианская икона (каноническая!) существует [Земная... 2000: 273]. Она имеет два имени: «*Прибавление ума*» и «*Подательница ума*». Ни одно из этих имен не расшифровано, однако иконе указанной молятся именно в случае недостатка этого человеческого качества (особенно у детей). Вид этой иконы загадочен: конусообразная фигура, задрапированная парчой, украшена медальонами; на вершине усеченного конуса – главы Пресвятой Богородицы Марии и Предвечного Младенца Иисуса Христа. Над главами святых образов – три ангела (образ *Святой Троицы*); слева и справа – по два ангела, которые в совокупности повторяют очертания глаголической буквы «*Мыслеть*» («*Мыслете*»). Внизу – еще один ангел с крестообразно простертыми четырьмя крылами. Это – тот самый Крест, на котором крепится рождественская ель, он – символ Единого Бога Отца Вседержителя, Творца Небу и Земле... (как говорится в «Символе Веры») (рис. 1).

В усеченном и изукрашенном конусообразном вместилище Пресвятой Богородицы Марии и Ее Сына легко угадывается *Мысленное дерево* Бояна, о котором идет речь в «Слове о полку Игореве». Наличие (контаминация) двух святых образов – *Пресвятой Троицы* и *Богородицы Марии* (в Ее тайном, буквенном варианте и антропоморфном образе) – вполне естественно в эпоху



Рис. 1. Образ Пресвятой Богородицы Марии «Прибавление ума»

прекращения гонений на иконы (после 842 г.). «*Скача по мыслену древу*», «*летая умомь подь облакы*», «*свивая славы оба полы сего времени*», Боян пел славу русской православной истории, не разделяя Русь на правобережную (по Днепру) и левобережную половины (*полы*): обе были достойны и преисполнены *Славы*. Боян прекрасно знал эту историю, словно из-за облаков наблюдая ее. В XI в. великому певцу приходилось ее уже отстаивать, потому что на смену *векам Трояна (Троицкой православной вере)* пришли *лета Ярослава* (годы *Софийного* христианского обряда и новой азбуки, без *писаного креста – кириллицы*, пришедшей из Болгарии на смену утвердившейся в славянском мире *глаголицы*) [Руделев 2000: 74-82, 2001: 58-67].

Судя по словам Автора «Слова», Боян был активным защитником православной веры в ее исконном *Троицком* обряде, и это никоим образом не согласуется с попытками представить русского певца-поэта XI в. как некоего язычника, волхва [Энциклопедия 1995, т. 1: 147-153]. В таком представлении Бояна нет, кстати, ничего удивительного, поскольку в XI в. шла активная борьба с «*черным*» христианством (*Троицким обрядом*), и вся обрядовая «*черная*» терминология и символика подлежала уничтожению именно как языческие пережитки. Современные исследователи «Слова» не находят в этом памятнике никаких следов христианства вообще, кроме «*Богородицы Пирогощей*». Но это неверно: «Слово о полку Игореве» насквозь пронизано православно-христианским духом, и в этом Автор «Слова» или его авторы следуют традициям, идущим от Бояна [Руделев 2004].

Интересно выражение: *рица въ тропу Трояню черезъ*



Рис. 2. Минская икона Божией Матери

поля на горы. Здесь, несомненно, идет речь о миссии апостола Андрея Первозванного на Скифские земли (земли будущих восточных славян и их ближайших соседей, например адыгов) [Руделев 1994: 92-97]. Верный ученик Иисуса Христа Андрей Первозванный и шесть его мужественных спутников (*Силуан, Иосиф, Фирс, Елисей, Косма* и славянин *Лихослав*) проделали огромный крестный путь, приобщая к христианской вере левобережный (по Днепру) праславянский народ и его соседей адыгов (*касогов*). Далее путь Андрея Первозванного продолжался по земле *луговых* предков славян – вплоть до *Киевских холмов*. Патетические фразы, которые летописи приписывают апостолу Андрею, может быть, им и произносились, но не они были главным в его миссионерской деятельности. Главное было в крещении местного населения, в создании монастырей («*оград*»), в обучении местного населения *закону Божьему*. Нет сомнения в том, что найденная в Хазарии Константином Философом азбука *чертами* и *резами*, положенная в основу *глаголицы*, была создана уже в I в. н. э. Один из спутников Андрея, видимо *Силуан (Сила)*, ранее ходивший с апостолом Павлом на свою родину в Антиохию и подаривший землякам имя *христиане*, и предкам славян сделал аналогичный подарок; они усвоили имя *христиане* как *крестьяне*. *Черные (черносошные)* крестьяне, не знавшие крепостного права, существовали в России до революции 1917 г. Они были очень активным классом в России и даже принимали участие в выборах царей (Михаила Романова и Бориса Годунова).

Троическое христианство (вера в Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа) предполагает единство трех ипостасей Создателя, их нераздельную сущность. *Софийное христианство* редуцирует Святую Триаду: из нее



Рис. 3. Богородица Мария с Младенцем (Болгария)

выпадает образ *Святого Духа*, и вместе с этим становится неактуальным само понятие *Троицы (Трояна)*. Автор «Слова» подчеркивает причастность Бояна именно к Троическому христианству, и он называет Бояна *внуком Святого Духа*:

Чили въспѣти было, вѣщей Бояне, Велесов внуче...

Велесь – это, несомненно, имя Бога Святого Духа. В 2004 г. один из авторов настоящей статьи, В.Г. Руделев, перечисляя имена Бога Святого Духа (*Див, Стрибог*), найденные в «Слове» [Руделев 2004], еще не мог оторвать имя *Велесь* от сонма языческих кумиров, словно загипнотизированный одиозной теорией древнеславянского язычества. Ныне он от этих оков абсолютно свободен и ощущает созвучие этого имени с названием третьей буквы азбуки *резами* – *veli* (у Константина Философа – *вѣдѣ*). Эта буква как раз была символом Бога Святого Духа. М. Фасмер находит в имени *Велесь* внутреннюю форму *великий*, находя ее сохраненной в древнегреческом слове-имени (горная гряда в Беотии, посвященная Аполлону и Музам) [Фасмер 2004, т. 1: 288-289].

Месяцеобразный знак Святого Духа можно обнаружить на многих Богородичных иконах, но наиболее ярко и открыто он представлен на иконе «*Покров Пресвятой Богородицы*»: Богородица держит месяцеобразно свой платок (плащ, мафорий) как знак *Бога Святого Духа* и Им Она спасает православных людей от всякой напасти, зла, гибели. На иконе *Святого Духа* Прохора из Городца Сам *Святой Дух* держит в руках аналогичный знак, обнаруживая Себя в некой неназванной личности. Знак *Святого Духа* в виде v-образно раскрытой ладони имеется почти на каждом Богородичном образе. Но есть и

такие Богородичные иконы, на которых подобный знак отсутствует. Его нет, например, на иконе Пресвятой Богородицы Марии из кафедрального собора Сошествия Святого Духа в Минске. Мало того, в этом образе словно подчеркивается ненадобность подобного знака: на руках Богородицы Марии – темные перчатки, и они скрывают руки Пресвятой Девы (рис. 2).

Такие же перчатки – на Болгарской Богородичной иконе из Рильского монастыря (Иоанна Образописцева) (рис. 3). В то же время создатели Богородичных образов находят способ компенсировать отсутствие v-образности руки Богородицы Марии какими-то иными знаками Святого Духа: например, рука Пресвятой Девы на иконе Иоанна Образописцева, как будто лишенная этого знака, все же его содержит – это зеленый цвет перчатки, а он, судя по иконе Святой Троицы Андрея Рублева, как раз является знаком Бога Святого Духа.

В условиях Софийного обряда имя *Велеса*, как и *Трояна* (также *Дажь-Бога*, *Хорса* и *Перуна*), было под запретом и объявлялось языческим. В одном из списков «*Хождения Богородицы по мукам*» говорится о посмертном наказании тех, кто этих якобы «идолов» «на боги обратиша» [Энциклопедия 1995, т. 1: 185]. Не следует, однако, забывать, что и Богородичные образы в некоторое время все сплошь подлежали запрету, а людей, хранивших у себя таковые, подвергали пыткам и казни. Видимо, наступила пора спокойно отнестись ко всему, что содержится в «Слове о полку Игореве» и что объявлено когда-либо язычеством, не являясь таковым на самом деле.

Некоторая трудность возникает от сравнения сказанного нами о древности *тропы Троянъей* с тем, что говорится о *времени Трояна* в том же «Слове» несколько позже рассмотренных нами строк. Мы имеем в виду такой участок текста:

*На седьмомъ вѣцѣ Трояни
върже Всеславъ жребий
О дѣвицю себѣ любу...*

*<На седьмомъ веке Трояна
бросил Всеслав жребий
о девице, им любимой... >*

Полоцкий князь Всеслав Брючиславич (это о нем идет речь) жил в XI-XII вв. (умер 14 апреля 1101 г.). Если это был VII в. Трояна, это значит, что миссия Андрея Первозванного проходила не в I в., а только в V, т. е. четыре столетия позже жизни святого апостола. Видимо, надо отличать *Тропу Трояна* и *века Трояна* (*Троического христианства*). Торжество *Троического православия* было прервано на земле предков славян господством арианской ереси, которая была побеждена именно в V в. изгнанием готов-ариан из Константинополя. Именно в этом веке происходит консолидация русской народности и укрепление Троического христианства в Киеве и иных русских городах. Что касается ереси полоцкого князя Всеслава Брючиславича, то это – отдельный вопрос, и мы посвятим его решению следующую часть нашей работы.

2. Всеслав Брючиславич

Князь Всеслав Брючиславич Полоцкий сел на отцов престол в 1044 г. и, видимо, княжил в Полоцке до конца своих дней (он умер 14 апреля 1101 г.). Отец Всеслава был внуком великого Владимира Святославича (умер в 1015 г.) и полоцкой княжны Рогнеды. В 1060 г. Всеслав Брючиславич вместе с двоюродными братьями Ярославичами – Изяславом, Святославом и Всеволодом – совершил удачный поход на торков, но потом дружеские отношения Всеслава Брючиславича с Ярославичами испортились. Видимо, это и было началом его безумных планов возрождения трехстольной Руси, той, которая была при его прадеде Владимире Святом, – с великими городами *Тьмутараканью*, *Киевом* и *Новгородом*. Киев мыслился как центр трехчастной оси. Он и был той *девицей*, которую возлюбил, по словам Бояна, Всеслав на седьмом веке Трояна (см. выше).

Мы представляем себе *Киев* «городом мужского пола», в отличие, допустим, от той же *Тьмутаракани*, и недоумеваем, как это вдруг *Киев* – *мать городов русских*. Ничего удивительного в этом, однако, нет: в глубочайшей древности *Киев* был «городом женского пола» (не *Кыевь* было, а *Кыевь!*), и у князя Всеслава на этот счет была совершенно правильная ориентация. Единственная, может быть, неправильность Всеслава Брючиславича заключалась в том, что *Великий Новгород* ему не казался особенно великим, и древнюю столичную ось он рисовал себе так: *Полоцк ~ Киев ~ Тьмутаракань*.

«*Слово о полку Игореве*» лаконично рисует картину реализации Всеславом его великих замыслов – ранней, хромающей князь Всеслав, опираясь на костыли, садится на коня и скачет к Киеву; там ему невероятным чудом удается прикоснуться копьем золотого Киевского престола:

*...Тѣй клюками подѣпърся,
окони ся и скочи къ граду Киеву
и дотьчесь стружіемъ
злата стола Кіевьского...*

Автор «Слова» несколько торопит события, начиная сразу с событийной кульминации. Между тем этому предшествуют экспозиционные события, которые описывают честолюбивые действия Всеслава Брючиславича, мечтающего о приоритете Полоцка над Великим Новгородом (об этом говорит Летопись). В 1067 г. князь Всеслав Полоцкий стал затевать рати. Начал он с Пскова: очень старался, и *пороки* применял (стенобитные орудия), а ушел ни с чем. В 1067 г., однако, *сынъ Брючиславль Полочський* так *заратился*, что захватил часть Новгорода, а из Святой Софии выкрал все богатства: паникадила, колокола и пр. Насчет самого *образа Святой Софии* ничего не известно: видимо, спрятали новгородцы дивный этот образ. Церковные богатства, украденные Всеславом в Новгороде, видимо, так и остались в Полоцке.

«Слово о полку Игореве» с грустью описывает разбойное нападение на Великий Новгород, совершенное князем Всеславом Брючиславичем:

*...Утре же вазъни ради
съ три кусы
отвори врата Новуграду,
разъшибе славу Ярославу...*

*<... Утром же, благодаря удаче,
но только с третьего раза
отворил он ворота Новгородские –
разбил славу Ярославову...>*

Случилось это событие тоже раньше киевского приключения Всеслава Брючиславича, и следовало за этим событием еще не киевское прикосновение к *золотому столу*, а то, что Ярославичи решили проучить бесовственного двоюродного брата, неведь что о себе возомнившего. 3 марта 1067 г. противники сошлись на Немиге-реке. Как попал на Немигу-реку (возле нынешнего Минска) Всеслав, представить трудно. «Слово» говорит, что это случилось сразу же после погрома в Новгороде:

*...скочи вълкомъ до Немиги съ Дудуток...
<... ускакал волком к Немиге с Дудуток...>*

Исследователи склоняются к мысли, что Дудутки – местечко под Великим Новгородом [Энциклопедия 1995, т. 1: 256-261]. Значит, Всеслав Брючиславич был застигнут в своем беге от Новгорода с награбленными церковными богатствами возле Немиге-реки и оттуда, насмерть разбитый и тяжело раненный, снова бежал, боясь потерять трофеи. Может быть даже, на Немиге он укрыться хотел, полагая, что в Полоцке его уже ждут безжалостные каратели.

Что касается битвы на реке Немиге, то она описана в «Слове» необычайно живописно:

*На Немизѣ снопы стелють головами,
молотять чепа харалужными,
на тоцѣ животь кладуть,
вѣють душу от тѣла.
Немизѣ кровави брезѣ
не бологомь бяхуть посѣяни,
посѣяни костью рускихъ сыновъ.*

*<На Немиге снопы стелют головами,
молотят цепями стальными,
веют душу от тела.
Кровавые берега Немиги
не хлебом были посеяны,
посеяны костями русских сынов>*

Коварные Ярославичи (Изяслав, Святослав и Всеволод) словно постигли умом тайну и жребий Всеслава. После того, как они его разгромили на Немиге, они же *братанича* в гости пригласили в Киев (посмотри, мол, на свою мечту-девицу). И Всеслав поддался, поверил. Он переплыл на лодке Днепр возле Смоленска и вошел в шатер, где его ожидали Ярославичи. Всеслава Брючисла-

вича и двух его сыновей схватили, отвезли в Киев и бросили в *поруб*. Видимо, в этой киевской тюрьме и произошла встреча плененного князя с певцом Бояном, сидевшим в порубе уже довольно долго [Руделев, Сафонова 2009: 202-211].

Неожиданные события приблизили мечту Всеслава Брючиславича о единой трехстольной Руси. В 1068 г. в Киеве вспыхнуло восстание горожан против князя Изяслава. Дружинники сразу же посоветовали Изяславу Ярославичу убить Всеслава, но Изяслав не послушался, убоился лишней крови. А киевляне тем временем освободили узников киевской тюрьмы и провозгласили Всеслава Полоцкого Киевским великим князем. Вот здесь-то он и оставил метку от своего копья на золотом престоле, видимо, не надеясь на какое-либо продолжение власти. Но продолжение было и длилось семь месяцев, пока Изяслав не заручился помощью своего тестя, польского короля Болеслава, и не двинулся на Киев. Тогда и произошло то, что в «Слове» подано как нечто предшествующее новгородской эпосе Всеслава:

*Скочи отъ них лютымъ звѣремъ
в пълночи изъ Бѣлаграда,
обѣсися синѣ мъглѣ...*

Интересно то, что во время своего киевского княжения (всего семь месяцев) Всеслав Брючиславич укрепился в мечте о возрождении трехстольной Руси. Именно с этим связано его посещение Тьмутаракани Азовской (Островной). Мы говорим сейчас о Тьмутаракани, снабжая этот топоним эпитетом *Азовская*, или *Островная*, потому что в конце XI в. была уже вторая Тьмутаракань – *Эрзанская (Рязанская)*, именно она была символом отдаленности, глухомани и т. д. (это с точки зрения *белых*, праводнепрянских *словен-русичей*). Всеслава Брючиславича эта глухомань не интересовала. Его душу вместе со *славным* Киевом манила *лошадина* столица – Тьмутаракань Островная [Руделев, Сафонова 2009]. Там княжил внук Ярослава Мудрого Глеб Святославич. Он любил свой стольный город и даже измерил по льду (!) расстояние от него до Керчи (*Корчева*). На этом и закончились его геодезические работы, зато начались дипломатические переговоры. Каким-то образом Всеслав Брючиславич сумел попасть в Глебову Тьмутаракань и заручиться его поддержкой в обмен на несколько городов, в числе которых был даже Новгород Великий.

После изгнания Всеслава Брючиславича из Киева и бегства его в Полоцк великие мечты правнука Владимира Святого оборвались. Чудеса не повторяются, и утешением полоцкого жителя, может быть, была только уже упоминаемая нами икона Божьей Матери Марии (теперь эта икона именуется *Минской*), выкраденная им из киевской Десятинной церкви, воздвигнутой самим Владимиром. Икона эта болгарского письма, очень красивая, ценная.

На этой фразе мы закончим первую часть нашего исследования фактов биографии Всеслава Брючиславича и перейдем к рассуждению о том, чем Всеслав-

князь заслужил горький упрек Бояна:

*Тому вещей Боянь и первое
припѣвку, смысленый, рече:
«Ни хытру ни горазду
ни пытьцю Горазду
суда Божия не минути!»*

Если говорить о зоонимических терминах, описывая образ Всеслава Брючиславича Полоцкого, то в памяти сразу же возникает образ *Волка* (др.-рус. *вълкъ*, ст.-сл. *влькъ*). Наиболее древняя форма слова *волк* содержит протезу *v*-(прасл. [**v*]^oku) [Фасмер 2004, т. 1: 338]. Без протезы это слово осталось в древнегреч. *τιρως*, лат. *Tiirus*. Внутренняя форма здесь, согласно М. Фасмеру, *растерзывающий*. Но, видимо, можно говорить и о более древней внутренней форме, отражающей *рычание* или *вой*: такая форма восстанавливается М. Фасмером с кратким [**u*], и это дает право найти в слове *волк* тот же корень, что и в слове *вить* (др.-рус. и ст.-сл. *выти* – с долгим [**uu*]). Др.-инд. соответствие этому слову (с **g* вместо **l*) позволяет представить здесь именно *рычание*: *vr̥kas*, авест. *Vr̥ka-*. Для русских людей *волк* – жестокий и беспощадный хищник, признающий только силу (видимо, эти черты вкладывались в смысл фразы «Тамбовский волк тебе товарищ!», но в «товарище волке» всегда ценили и другое, попутное первому и преобладающее над первым – *свободу* и *независимость* (В. Высоцкий) [Русское... 2004: 64].

Упомянув в перечне русских князей Всеслава Брючислава и положительно оценивая его след в истории, Автор «Слова» сравнивает нашего героя с *волком*, как, между прочим, и главного героя своего произведения – Игоря Святославича, но без употребления смягчающего эпитета *босый <белоногий>*. Князь Всеслав для Автора «Слова» – просто *волк*, и даже больше и хуже – *лютый зверь*:

*...Скочи оть них лютымь звѣремь
в пълночи... изь Бѣлаграда...*

Князя Игоря он так бы, конечно, никогда не назвал! Позже, без эпитетов, подчеркивая только быстроту и неожиданность движений, решительность, находчивость, смелость Всеслава, Автор «Слова» говорит:

... Скочи вълкомь до Немиги съ Дудутокъ...

Ср. у В. Далья: *волка ноги кормят* [Даль 2002, т. 1: 242-243].

Все *волчь* рейды князя Всеслава описываются с помощью одного и того же слова *вълкъ*, но все-таки по-разному – благодаря разным предикатам. С Дудуток до Немиги Всеслав Брючиславич бежал вынужденно, зная, какое наказание приготовили для него братья (*братаничи*) за разбой в Великом Новгороде, бежал, как *волк затравленный*. А вот из Киева в Азовскую Тьмутаракань он не *скачет*, а *рыщет*:

...а самъ въ ночь вълкомь рыскаше:

*изь Києва дорискаше до курь Тьмутараканя,
великому Хърсови вълкомь путь прерыскаше.*

Это уже не *бегство*, это *движение*, *путь лютото* зверя, наметившего добычу. *Куры-петухи* и образ *Времени* здесь ни при чем! Здесь не *Время*, здесь именно добыча, как в Великом Новгороде, но только более отдаленная и возвышенная. Слово *курь* (мн. *куры*), также: *Чурь* (*чураться, очокуриться, Чур меня!* или *Чур не я!*) означает *крест*. крестообразной была первая буква азбуки *чертами*, после обработки ее Константином-Кириллом (в народе званного *Курилом* или *Чурилом*) ставшая *писанным крестом* – с фоническим значением [а], числовым – <1>, божественным – *Бог Отец*; в азбуке чертами-резами она звалась *Ату* (оба гласные были и долгими и краткими), в азбуке Константина-Кирилла – *азь*, обозначая только бывший долгий [а]; в народе это был *писанный крест* (а также *чурь, ать*) [Руделев 2000, 2001].

Тьмутараканские кресты (*куры = чурь*) на православных храмах были не тусклее киевских, а может, еще и краше. И вот Всеслав Брючиславич ринулся в Тьмутаракань взглянуть на необыкновенные *чуда-куры*, а заодно и помолиться в тьмутараканских храмах Пресвятой Богородице Марии, а самое главное – *переговорить* в князем Глебом Святославичем о поддержке его (Всеслава Брючиславича) гордых замыслов – в обмен на обещанный Великий Новгород.

Когда он успел совершить свой дерзкий рывок в гости к Глебу Святославичу, никому не ясно. Нужны были какие-то чудеса, чтобы объяснить все эти вояжи. И вот Всеславу автором «Слова» даруются какие-то загадочные *синие мгли, которыми Всеслав-князь обвѣсися (обесися)*. Полоцкий князь предстает колдуном (*пытъцем*), не хуже еретика Горазда, проклятого Бояном, воздухоплателем, опередившим братьев Монгольфье. Почти такое же решение было предложено А.К. Юговым [Энциклопедия 1995, т. 3: 222]. Гипотеза А.К. Югова вполне согласуется с образом Всеслава Брючиславича (*Волха Всеслава*), который в былинах изображен *оборотнем*.

*В те поры поучился Волх ко премудрости:
А и первой мудрости учился –
Обвертываться ясным соколом.
Ко другой-то мудрости учился Волх –
Обвертываться серым волком.
Ко третьей мудрости учился Волх –
обвертываться гнедым туром золотые рога... [Былины, т. 1: 9].*

После чудес воздухоплавания колдуну Всеславу ничего не стоит обратиться в *волка*. Наиболее интересен случай, когда Всеслав, обратившись в *волка*, *великому Хърсови путь прерыскаше*. В этом случае речь идет не просто о необыкновенной скорости движения Всеслава Брючиславича в направлении от Киева до Тьмутаракани с ее великолепными храмами, монастырями и дворцами. Речь идет о религиозном конфликте. Всеслав Брючиславич опережает великого Хорса с его солнечным,

рассветным знаком. На Збручской раннехристианской скульптуре [Руделев 2004] солнечный диск представлен как символ (знак) Бога Святого Духа, поэтому опережение Всеславом-волком выхода Солнца вполне корректно истолковывать как отрицание Третьей ипостаси Всевышнего Бога (в *Символе Веры* имя Святого Духа поставлено в самый конец: «*И в Духа Святаго Господа животворящаго, иже от Отца исходящаго, иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки...*»), и это говорит о том, что некоторое время Русская православная церковь, по крайней мере на части своей территории, обходилась без упоминания этой Ипостаси. Будучи в киевской тюрьме, Боян мог наблюдать за молитвами Всеслава Брячиславича и, не находя в них упоминания Святого Духа, поучал полоцкого князя. Он даже упрекнул его сильно в песне о *Немигереке*, которую Автор «Слова» пересказал довольно живо: *На Немизе снопы стелють головами...*. Еретическое отношение к Святой Троице и чрезмерное возвышение Софии Всеславом Брячиславичем Полоцким прекрасно угадал И.А. Бунин и отразил это в стихотворении «*Князь Всеслав*»:

*... Что ж теперь, дорогами глухими,
Воровскими в Полоцк убежав,
Что ж теперь, вдали от мира, в схиме,
Вспоминает темный князь Всеслав?
Только звон твой утренний, София,
Только голос Киева. – Долга
Ночь зимою в Полоцке... Другие
Избы в нем, и церкви, и снега...
Далеко от света, чуть сереют
Мерзлые окошечки... Но вот
Слышит князь: опять зовут и млеют
Звоны как бы ангельских высот!
В Полоцке звонят, а он иное
Слышит в тонкой грезе... Что года
Горечи, изгнанья! Неземное
Сердцем он запомнит навсегда.*

В Полоцке, кстати говоря, тоже был воздвигнут храм Святой Софии, но по своему великолепию он, видимо, уступал Киевской Софии, заложенной и выстроенной при Ярославе Мудром. Отсюда и тяжелая печаль Всеслава Брячиславича, и упрек в его адрес великого Бояна, сравнившего своего союзника с болгаринем Гораздом.

Литература

- Былины: в 2 т. М., 1958. Т. 1.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 2002.
 Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных Ее икон, чтимых православною церковью, на основании Священного писания и икон Божией Матери / сост. С. Снеессорева. Ярославль, 2000.
Никитин А.Л. Испытание «Словом» // Новый мир. 1984а. № 6.
Руделев В.Г. Воспоминания о Черной земле: История слов, имен и народов. Тамбов, 1994.
Руделев В.Г. Еще раз о древнеславянских буквах // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Тамбов, 2001. Вып. 2 (22).
Руделев В.Г. О елочке-красе, писаной торбе и иных символах древнего русского христианства // Аспекты исследования языковых единиц и категорий в русистике XXI в.: сб. мат-лов Междунар. науч. конф. (27-28 ноября 2007 г.): в 2 т. Т. 1. Мичуринск, 2008.
Руделев В.Г. Православно-христианские образы в «Слове о полку Игореве» // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Тамбов, 2004. Вып. 4 (36).
Руделев В.Г. Прощай, масленица // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Тамбов, 1999. Вып. 3.
Руделев В.Г. Рязанский окоем. Рязань, 2009.
Руделев В.Г. Что мы знаем о древних славянских буквах (Для учителей-филологов) // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Тамбов, 2000. Вып. 2 (18).
Руделев В.Г., Сафонова О.В. Амбивалентные смыслы названий животных в поэтических текстах Бояна // Взаимодействие лексики и грамматики в русском языке: Проблемы. Итоги. Перспективы: сб. мат-лов Всерос. науч. конф. 21 окт. – 4 нояб. 2009 г. Тамбов, 2009.
 Русское культурное пространство: лингвокультурологический словарь. Вып. 1. М., 2004.
Сафонова О.В., Руделев В.Г. О бусовых *воронах* и *дебрьских санях* в кошмарном сне Святослава (К реконструкции и герменевтике «Слова о полку Игореве») // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Тамбов, 2009. Вып. 8 (76).
Таратынова Т.Ю. Лексика свадебного обряда (по материалам псковских говоров): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Псков, 2007.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М., 2004.
 Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: в 5 т. СПб., 1995.

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ФРАГМЕНТА МИРА СЕМЬЯ В ПОМОРСКОМ ЛЕКСИКОНЕ

Т.А. Сидорова

Актуальность данной темы связана с активизацией изучения когнитивной функции языка в целом. До сих пор лексика поморов была предметом исключительно эмпирических исследований, а особенности внутренней формы лексем и метаязыковое сознание поморов не были предметом специального изучения.

Основная задача статьи – моделирование фрагмента языковой картины мира *семья* на основе выявленных концептуальных признаков, отраженных в лексическом значении номинаций, репрезентирующих данный фрагмент мира, их внутренней форме и метаязыковом сознании поморов.

Языковая концептуализация – процесс и результат интерпретации, обобщения и закрепления в отдельной языковой единице свойств объекта, его отношения к другим объектам, оценки этого объекта и т. п. В основе концептуализации лежит определенный принцип, выражающий точку зрения носителя языка на объект действительности. Выбор того или иного принципа детерминирует мотивацию номинации, которая начинается с ориентации на денотативное пространство объекта действительности, что и обуславливает мотивированность внутренней формы. Мотивированность внутренней формы – это выбор способа концептуализации в зависимости от стратегии номинации. Стратегии номинации могут быть рациональные (ориентация на свойства самого объекта, на связь объекта с другими и т. д.), эмоциональные (образные), этические (ориентация на жизненные установки, отношение к миру), социальные (ориентация на социальные события, прецедентные социальные ситуации и т. п.), идеологические (ориентация на идеи конкретной группы людей, идейное направление), оценочные (ориентация на представление человека об объекте действительности, его оценку), рефлексивные (ориентация на стереотипы сознания, на фоновые знания носителя языка) и т. д. Стратегии номинации включаются в структуру внутренней формы слова [Сидорова 2007: 30].

Таким образом, в структуре слова внутренняя форма является глубинным уровнем и представляет собой механизм перехода на языковой код. Концептуальные признаки, отраженные во внутренней форме слова и метаязыковом сознании поморов, дают возможность глубже интерпретировать фрагмент картины мира, понять духовные ориентиры прошлого, осмыслить особенности семейных отношений поморов как субэтноса Северной Руси.

Семья для поморов – главный закон жизни, высшая ценность. Семейные связи определялись по роду, по кровному родству. Поморы знали родственников до

Статья посвящена выявлению и описанию фрагмента языковой картины мира *семья* на материале «Словаря поморских речений» К.П. Гемп. Теоретическую базу исследования составляют положения и научные понятия когнитивной лингвистики, разрабатываемые в трудах зарубежных (Дж. Лакофф, Р. Ленекер, М. Минский, Ч. Филлмор, У. Чейф и др.) и отечественных (Н.Н. Болдырев, А.В. Бондарко, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, И.А. Стернин и др.) ученых. Предмет исследования – лексическое значение, внутренняя форма, метаязыковое сознание носителей поморского лексикона.

Ключевые слова: концептуализация, языковая картина мира, внутренняя форма, метаязыковое сознание, стратегия номинации.

седьмого колена. Родство было кровное (по крови) и семейное (по родственникам приобретенным). Родители мужа или жены назывались *богоданными*. Сама внутренняя форма номинации актуализирует почтительное отношение к таким родителям: они даны Богом, поэтому такие же законные, как и родные. Но в метатекстах прослеживается различное отношение к родным и богоданным родителям. Ср.: «Богоданны, а все не свои. Своим родителям не перечим, а богоданным и огрызнуть нынче не боимся. Ране не смели, как перед своими родовыми стояли. Ины богоданны, как свои...» [Гемп 2004: 404]. Как видим, метаязыковое сознание поморов все же отличает своих и богоданных родителей. Внутренняя форма сохранила традиционное отношение к богоданным родителям. Родные отец и мать называются *родимыми* (те, кто родил тебя). Как богоданную мать почитают поморы крестную. Ее называют ласково *божатка*. Морфемная структура номинации сигнализирует о религиозном обряде крещения. Метатексты актуализируют отношение к крестной матушке: «Божатку почитают, как мать вторую, богоданную. Божатка и на крестинах, и на девичнике, и на свадьбе – все на первых. В божатках все больше из родни приглашаются – бабка либо тетка, либо кто из дальних своих» [Гемп 2004: 404]. Слово реализует рациональную и оценочную стратегии номинации. Богоданные родители и их кровные родственники, крестная матушка составляли *семейное родство*. Их еще называют *свойственники*. В основе номинации лежит стереотипная оппозиция *свое – чужое* (реализуется рефлексивная стратегия номинации). *Свойственники* состояли в родстве, основанном на

браке, но они считались *своими*. Ср.: «Все родные мужа и жены – друг другу свойственники. Как родни и свойственников много, живут они на всех берегах Беломорских, так везде тебя приветят. *Семейные связи...*» [Гемп 2004: 423]. Следовательно, семейные связи включали в себя связи по родству и связи по богоданным родителям. Родственники у поморов еще называются *близкими*. И эта близость не только кровная, но и духовная, так как в поморской семье родственники помогали друг другу. Духовная связь актуализируется в метатекстах: «Хорошее это прозвание – *близок*, сердечное. *Свои*, значит. Все *опора...*» [Гемп 2004: 404]. Метаязыковое сознание фиксирует и отношение к объекту действительности, и его оценку, и ценностный признак (*опора*).

В семье устанавливались порядки родовые, домовые, хозяйственные, промысловые и т. д. Существовала особая иерархия. Но отец и мать были равноправны. Мать занималась хозяйством, а отец был добытчиком. Поэтому мать именовалась в доме *большухой* (т. е. главной). Такая роль матери в семье отводилась не случайно. Ведь хозяин часто находился на промысле. Ср.: «Помор на море хозяин, ему не перечь, а поморка во дому и в детях на равных, а иной раз над им она *верх берет*, *больше* эти дела знает. В Беломорье женщины – и замужние, и девушки – *в решении* хозяйственных и бытовых дел были *самостоятельнее*, чем женщины в других районах России. Они во многом помогали «мужикам» в их опасном труде на море, а в периоды длительных отлучек мужчин на промыслы – на Мурманскую страду, Кедровский путь, в плавания в Норвегию – женщина оставалась *правительницей* всего хозяйства и *главой* семьи» [Гемп 2004: 117]. В метатекстах не только актуализируется внутренняя форма номинации (*верх берет*, *больше дела знает*, *правительница*, *глава семьи*, *самостоятельнее*), но и фиксируется оценка: «Со многими поморками повстречалась я в своей жизни. По праву величают хозяйку – *большуха*. Прежде всего, она природная семьянинка: гордится большой семьей, заботится о ней, поучает ее; она хозяйственна, уверена в себе, знает себе цену, смелая, держится и в молодые годы с достоинством, а постарше – это степенная, знающая цену труду, умудренная жизнью женщина. Она «не жалится» при всех своих многочисленных трудах, делах и заботах, тревогах и печалях. Она любит и поговорить, и шутку сказать, и песню спеть, и поспорить, а порой и отругать кого следует за дело, может и с соседкой переругнуться, так, без злобы, и безотчетное у нее чувство красоты без украшательства, которое сказывается и в убранстве дома, и в ее наряде, и в ее характере. Поморка семью и труд в хозяйстве наперед всего ставит» [Гемп 2004: 118]. Метаязыковое сознание детально фиксирует представление о хозяйке-поморке, которая во всем *большуха*, даже характером, внутренним миром, отношением к действительности. Таким образом, слово реализует рациональную, оценочную и рефлексивную стратегии номинации. Самостоятельность и независимость женщины в поморской семье нашли отражение и в слове *вупряг* (вместе, наравне). Ср.: «Всю жизнь с

мужем вместе работала, не отставала, вупряг шла – и на промысле, и на поле, да и на сенах. Вот хозяйство-то и было» [Гемп 2004: 406]. В основе внутренней формы лежит образ запряженных в одну упряжь лошадей. Лошадь символизировала достаток. Не случайно украшают поморские избы коньки. Есть лошадь в семье – есть на чем землю вспахать, сено перевезти и т. д. Реализуется образная стратегия номинации.

Распорядителем в семье мог быть и дедушка. Тогда его называли одобрительно *закоперщиком* (зачинщик и распорядитель). Внутренняя форма номинации восходит к первоначальному значению *большак у копра*, у *свай*. Номинация подверглась переосмыслению: *большак* у копра стал осмысливаться как *большак* в семье (рефлексивная стратегия номинации). Ср.: «У нас в семье всему делу *закоперщиком* был дед отцовской. Дом возводили, так с зачину его все дедко командовал, *закоперщик* был знатной. Во домашнем хозяйстве *закоперщицей* была бабушка. Хозяйство в избы – дело женское. Дедко не мешался. Его дело – *закоперщиком* быть на промысле» [Гемп 2004: 521]. Метаязыковое сознание актуализирует важный принцип в семейных отношениях: домашнее хозяйство считалось женским делом, а промысел или строительство – мужским. Поэтому бабушки и матери обучали дочерей хозяйственному делу: шить, вязать, стряпать, наводить порядок и т. д. Отцы и деды с малых лет обучали сыновей держать молоток, вязать сети, управляться топором и т. д. Дедушка или отец – основная опора для всей семьи. Вот и называли их *подпор*. Внутренняя форма слова актуализирует значимость *подпора* (тот, на ком все держится). Слово реализует рациональную и образную стратегии номинации. Метаязыковое сознание маркирует и значимость, и оценку: «У нас в семье дедушка Иван Васильевич Анциферов всему *голова*, *всем подпор*, *поддержка* и *подмога*. Родитель не пускал меня в мореходку, говорил: «Порыбачили и при моей учебе». Дедушка положил: «Иди учись». Выучился» [Гемп 2004: 419]. Главу семьи, мужчину, называют в поморской семье *добытчиком*, так как именно от него зависит достаток. Внутренняя форма фиксирует и основной род занятий поморов: они *добывают* рыбу или зверя. Ср.: «Трудился с толком и сил не жалел, вот и звали его «*добытчик*» – семью *обеспечивал*. В большой семье, где еще ребята малы, труда большого от *добытчика* требуется, а подрастут они, так и сами вупряг с *добытчиком* станут. *Добытчику* всегда почет» [Гемп 2004: 408]. Метаязыковое сознание фиксирует роль *добытчика* в семье, его оценку и причину такого именованья (*семью обеспечивает*).

Семейная иерархия предполагала полное подчинение младших старшим. Особо почиталось *отцово ученье*. Ср.: «Отцово слово делу учит. Первое отцово учение – показал, как молоток в руках держать и гвоздь придерживать... Вторая учеба – как топор держать. Небольшинки топоры в каждой избе были – лучину щепать. Семилетком я карбас помогал шить. Сполнилось восемь – отец на промысел взял. Не на прогул-на забаву, а для подмоги...» [Гемп 2004: 417]. В поморской семье отец обучал сыновей делу. Непослушных детей

называли *неслухами* или *бесчинными*. Внутренняя форма слов актуализирует признак *непослушание* (тот, кто не слушается, или тот, кто не подчиняется). Реализуются рациональная и оценочная стратегии номинации. Ср.: «Такой *неслух* старшой-то внук, вот дедко и прозвал его *бесчинным*. А тот и без внимания, а ему четырнадцать годков. Вот как ныне. Старая я, мне восемьдесят, хорошо помню: *закон ребятам* был на всю жизнь – *родительски указания*. Разве что после службы по призыву военному и молодые на равнях со старыми в иных семьях становились» [Гемп 2004: 404]. В метаязыковом сознании фиксируется отношение к родительским указаниям: они воспринимались как закон, не обсуждались: «*Испокон веку* так у нас *ведется*, дедами-отцами *установлено* для порядку. Самовольства не дано ни сыновьям, ни дочерям. *Живем по уставу* старших. *Они указчики*. Не знай, как в вашем хозяйстве, а у нас *устав* – старших ребят своих тоже слушаем. Без этого хозяйству потомство не научишь. Ваши уставы тоже знаем и не одобряем. Самоволов ростите. Да, испытано» [Гемп 2004: 411]. Непослушание оценивается как *самовольство*. Самовольство осуждалось не только в семье, но и на промысле, где жили артельно и подчинялись установленным правилам. Поэтому жизнь по своим правилам называют еще *разновольем*. Внутренняя форма актуализируется в метатексте, зафиксировавшем и оценку этого явления: «Разноволье у отдельных, *разных* людей: кажинный по своему. – Отдельный *человек разновольный* – он, значит, *неверный*, по *привереду* своему живет» [Гемп 2004: 484]. Воля у поморов соотносилась с чувствами, поэтому необдуманное слово называлось *вольным*. Слова наставления, поучения назывались *вразумляющими* (их надо было воспринимать разумом). Того, кто не подчиняется родителям, еще называют *поперечный*. Внутренняя форма фиксирует отношение к таким детям: они поступают *вопреки* указанию старших, *перечат* им.

Неподчинение младших в семье не просто осуждалось. В поморском лексиконе сохранились слова, репрезентирующие наказание. Самым распространенным наказанием была *волосьянка*. В основе номинации – рациональная стратегия, маркером признака данного наказания становится корень слова, указывающий на объект воздействия. Ср.: «Не балуйся, волосьянку получишь. Чья старость на кону выиграла, тому волосьяночку тянуть, а кто проиграл, тому волосьяночку терпеть. Волосьянка от отца-матери в науку...» [Гемп 2004: 406]. Метаязыковое сознание фиксирует отношение к такому наказанию: на него нельзя было обижаться, так как оно использовалось как средство поучения. Одной из форм наказания в поморской семье была *острастка*. В основе лежит пресуппозиция: вызвать страх, чтобы человек больше так не поступал (рефлексивная стратегия номинации). Это легкая угроза, предупреждение. Метатексты актуализируют и внутреннюю форму наименования, и оценку этого наказания: «Острастка отцом-матерью вовремя дана была – парень и направился. Дед наш острасткой всех *держал*, *строгой* был в семье. Острастка ко времени – *для порядку*. Острастку дал – на *путь наставил*, в семье покой. На острастку *сердца не держат*. Ране

острастку старшие скажут – и не станешь глупить. Дедко так острастку давал, у него *не пикнешь* после едакого. Мамушка наша в острастку на улку *не пускала*, давала шерсть цапахами трепать *на урок*. Не сделала – еще добавку даст. Острастку получить – *баловаться позабыть*» [Гемп 2004: 416]. Как видим, метаязыковое сознание сохранило представление о наказании не как о физическом воздействии. Наказание у поморов имело нравственную задачу. Об этом свидетельствует и такое слово, как *торкать* (толкать): «В семье у нас дочерей не бивали, волосьянка – та не в счет. Торконет, бывало, батюшко за провинность, на том и конец» [Гемп 2004: 425].

Разногласия в семье осуждались. Поэтому в поморском лексиконе есть такие номинации, как *одурь*, *разнопогодица*. *Одурь* – это разногласие. Внутренняя форма содержит оценку такого положения в семье (оценочная стратегия номинации). Метатекст фиксирует стереотипное представление о семье: «Семья у нас в Поморье работная, крепкая, без одури» [Гемп 2004: 481]. Рефлексивная стратегия (установка на то, что семья должна быть дружной и согласной) порождает оценочную стратегию номинации (несоответствие стереотипу осуждается). Лексема *разнопогодица* (неурядица в семье) отражает мировидение поморов «сквозь призму» погоды, от состояния которой зависели все дела. Первичное значение слова – «ветер, дождь и снег одновременно». В такую погоду невозможно было что-либо делать. Вот и перенесли поморы отрицательное состояние погоды на состояние в семье. Негативная оценка такого состояния фиксируется в метатекстах: «Нет *согласья* в семье у наших молодых, разнопогодица, муж и жена в *разные стороны*. Нет того, чтобы гамозом жить-работать. Каждый первым себя считает, возносятся» [Гемп 2004: 421]. Отождествление явлений природы с отношениями в семье типично для поморов. Так, первоначальное значение слова *вызвездить* – «появление звезд на небе». Поморы употребляют этот глагол для выражения значения «прояснить что-либо, направить, наставить». Ср.: «Седни родитель мой отчитал меня за прошлое, настоящее и будущее мое. Одним словом, *вызвездил* мои пути-дороги. «В болотину, – говорит, – ведут». А потом, помолчав: «Не оплеухами же тебя править. Один сын, и тот непутевый. Вот беда в чем. Пожалел бы ты отца». Слова эти мне до ума, а пожалуй, и до сердца. Самого мутит бездельная жизньюха» [Гемп 2004: 480].

Семья осмысливается поморами как оценочное слово, поскольку обозначает основной закон жизни. Отсюда и производное наречие *семейно* – «дружно, согласное»: «Семейно живем-поживаем, рыбку артелью промышляем, сыты бываем, вас в гости на рыбники поджидаем. Семейно работа *быстро и правильно* идет, все *по порядку* и все *к своему месту*» [Гемп 2004: 423]. В метатекстах репрезентируется стереотипное представление поморов о семье. Дружную, согласную жизнь поморы называют *леготой*. Внутренняя форма лексемы актуализируется в метатекстах: «В семье согласно – то и жизнь у их *легкая*, зовут – «легота»» [Гемп 2004: 412]. Следовательно, *легота* – это не просто легкая и праздная

жизнь, в слово вкладывается духовный смысл: это дружная жизнь, без разногласий и ругани, «без одури» (оценочная стратегия номинации).

Великой ценностью считали поморы материнство, что нашло отражение в метатекстах: «*Свято* дело поморки матерью быть. Как ребенка не родила – *счастья* настоящего не видала. Женского счастья. Мужик, хоть и отец, того не ведает. Мать, мать, *материнское счастье*, материнско горе-печаль – *больше его нет*» [Гемп 2004: 419]. Отсюда и почтительное отношение к матери: «Матери не *почитаешь* – счастья не узнаешь. Материнская забота человека растит» [Гемп 2004: 413].

Поскольку семьи у поморов были большие, важное место в их жизни занимал дом. Это не просто место, где можно жить, детей растить. Дом – основа семьи, ее настоящее и будущее. Поморы дома строили и для души, для радости и успокоения. Представления поморов о доме отразились в метатекстах: «Дом-от свой обихаживай. Жить твоей семье в ем. *Гнездо* это *семейное*. Родительское *дарение* и *завет*. У каждой семьи свои порядки, значит и в дому свой *уклад-порядок*. Не рушим. Без избы, своего дому и семья не *крепко* держится. В своем дому жить – труд положить большой. Семейный то труд, в одно дело жизненное кладут. Скажешь: и удовольствие – дом строишь, *свой угол* есть и *спокой на душе*. И за семью покой... Мечтанье мое, да и Натальи, жены моей, не на квартире жить, а в своем дому. Не из жадности дом заводим, а *для утверждения семьи и роду* своего. Детей и внуков будем заводить и растить. Потомство, значит, благословясь, потом за нами пойдет. На квартире *простор* маловат, стены и крыша не так *тепло* держат» [Гемп 2004: 429]. Дом, как и семья, в поморской картине мира являются концептами. Ценность этих понятий определяется и производными: *домашничать*, *домовничать*, *домовитая*, *домовые (порядки)*. *Домашничать* или *домовничать* – это заниматься домашними делами, вести домашнее хозяйство: «У нас, поморских девочек, сызмальства к домашним делам приучают, а там дальше – и к хозяйским. С десяти лет домовничаем. Не нами сказано, а в давни времена: без хозяйки дом сирота. *Удовольствие* – домашничать. Двадцать лет занимаюсь» [Гемп 2004: 440]. В метатекстах фиксируется позитивная оценка занятия домашними делами. А хорошая хозяйка, заботящаяся о семье, о доме, называется *домовитая*. Этот признак соотносится в метаязыковом сознании с согласием в семье: «Домовита моя хозяйюшка, *порядок* во всем держит. В домовитой семье и *раздору нет*. Как хозяйка домовита, в *дому прибор*, в хозяйстве *порядок* – так и жизнь *красше*» [Гемп 2004: 440]. В каждой поморской семье устанавли-

вались свои *домовые порядки*. Их соблюдение считалось законом: «У каждой хозяйки свои порядки по дому своему, домовые их называем. Домовые порядки для всей *семьи указ твердый*. Домовы порядки *по роду* идут. *Плохо* хозяйство, где домовых порядков либо не заведено, либо не уважают...» [Гемп 2004: 441]. В метаязыковом сознании отразилось отношение к домовым порядкам как к закону. Такое мировидение характеризовало поморов в целом. Как веками складывались традиции, помогавшие выживать в суровом климате во время промысла, так формировались и домовые (семейные) правила, помогавшие сохранять семью заботой друг о друге, поддержкой, взаимовыручкой, четким распределением обязанностей. Законы, традиции для поморов всегда были ценностью. Даже внутренняя форма наименования работы по ведению домашнего хозяйства маркирует понятие *обряд*. Занимаясь домашними делами, хозяйка *обряжается*, а сам процесс называется *обрядня* (рефлексивная стратегия номинации). Это своего рода бытовая традиция. Ср.: «Обрядня у нас *каждневная*, как ее нет, так скукота. Обрядня – женский *труд, приятный*, в избе чистота, *порядок*. Ребята в послушании, мужик доволен. Не жизнь, а масленица. И сама довольнехонька» [Гемп 2004: 443]. Метатекст фиксирует позитивное отношение к ведению домашнего хозяйства. В представлении поморов соблюдение установленных правил в семье, доме, роду, артели делает жизнь счастливой, приносит удовлетворение, покой, уверенность в будущем.

Таким образом, *семья* как фрагмент мира имеет особенности, связанные с мировидением поморов. Основным стереотипом сознания поморов является представление о жизни как «законной» (по закону). Поэтому и семейный уклад подчинен выработанным правилам, в основе которых лежит нравственный идеал. Стратегии номинаций (рациональные, образные, оценочные, рефлексивные) свидетельствуют об особом отношении поморов к слову. Оно не только называет то или иное явление действительности, но и оценивает его, маркирует отношение к нему, соотносит с другими явлениями, актуализирует жизненные установки и т. д.

Литература

Гемп К.П. Сказ о Беломорье: словарь поморских речений. М.: Наука; Архангельск: Поморский университет, 2004.
Сидорова Т.А. Проблема мотивированности слов фразеологизированной морфемной структуры в современном русском языке (системно-функциональный и когнитивный аспекты): автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Нижний Новгород, 2007.

ОСОБЕННОСТИ МОРФЕМНОЙ СТРУКТУРЫ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ В ТАМБОВСКИХ ГОВОРАХ*

С.Ю. Дубровина

Настоящая статья обращена к выразительным примерам морфонологии и словообразования, отражающим факты креативного сознания диалектоносителя преимущественно в лексике народного православия. Обращение к морфемной организации слов, словообразованию опосредованно – через изучение явлений лексикологии – может быть оправдано тем, что, во-первых, русские территориальные диалекты все же еще мало изучены в этом отношении; во-вторых, слово обладает цельной структурно-семантической емкостью, в которой отражено стремление к лингвистической экономии, к адекватности формы выражения и максимальной информации. Поскольку работа по изучению народного православия осуществлялась в Тамбовской области, но при этом системных работ по словообразованию и морфемике южнорусских тамбовских говоров не существует, нам показалось нелишним подробнее остановиться на областных фактах словообразовательной адаптации христианской лексики в живую речь.

По сути, это примеры того, как слова, обращенные к Библии, к церковным референтам, входили в живой русский язык и адаптировались в нем. Словообразовательные основы и форманты – как показатель «вживаемости» слова в речь.

Оговоримся сразу, этот процесс был избирательным, и на пути освоения церковных слов осталось много народных этимологий, фонетических адаптаций, отринутых русским литературным языком, но принятых и «осевших» в диалектах. Например, практически не существует топонимов от названия праздника «Преполовение» [1], так как диалект намеренно отторгает сложный звуковой комплекс (с приставкой пре-) в качестве производящей основы и предлагает свою: *Полвинье, Полвинья* или *Середина Поста*. Вероятно, эта основа и встречается в ойконии, но она не всегда опознана учеными, занимающимися топонимией. При этом заметим, что ментальная ценность *Преполовения* как почитаемого праздника очень высока и являет достаточно сильную доминанту русской аксиологии.

Некоторые диалектные черты, характеризующие тамбовский вариант лексики «церковно-бытового языка», относятся к уровню морфонологии. Процессы взаимного приспособления звуков наблюдаются как внутри морфа, так и на морфемном шве. Изменения на морфемном шве относятся к области исторической фонетики и морфемике русского языка.

Рассмотрим отдельные образцы морфонологических изменений в тамбовской христианской лексике. Некото-

В настоящей статье на общерусском фоне рассмотрены факты тамбовской региональной морфонологии и словообразования, отражающие креативное сознание диалектоносителя в лексике народного православия. Обращение к морфемной организации слов, словообразованию опосредованно через изучение явлений лексикологии, вызвано тем, что, во-первых, русские территориальные диалекты мало изучены в этом отношении; во-вторых, слово обладает цельной структурно-семантической емкостью, в которой отражено стремление к лингвистической экономии, к адекватности формы выражения и максимальной информации. Поскольку работа по изучению народного православия осуществлялась автором статьи в Тамбовской области при отсутствии системных работ по словообразованию и морфемике южнорусских тамбовских говоров, мы сочли необходимым подробнее остановиться на теоретических словообразовательных проблемах адаптации неизученных доселе фактов христианской лексики в живую речь.

Ключевые слова: словообразование, морфонология, морфемная структура слов, христианская лексика, диалекты, тамбовские говоры, тамбовский диалектный словарь народного православия, историческая фонетика, историческое словообразование.

рые наблюдения над процессами морфонологии мы сделаем, отвлекаясь от территориальной диалектной темы.

Тамбовский диалектный словарь народного православия содержит слово *сочевник* (записано в Мучкапском районе в значении «вечер перед Рождеством»). Производящим является в данном случае слово «сочевь», отдельно отмеченное в этом говоре как «лепешка, выпекаемая в *сочевник*»: «Была лепешка, сочевь [сач'эґф'], называли. Пекли ее на конопляном масле. Ели перед Рождеством, в сочевник».

Литературное «сочельник» и диалектное тамбовское «сочевник» близки в звуковом выражении и равны по семантике, так как восходят к первоначальному **сочьньник*

* При финансовой поддержке РГНФ, проект № 09-04-70403 а/ц

(-ница) *сочень сокъ* [Фасмер 1986: III, 730] с вероятной этимологией от «сочиво» – «сваренные зерна пшеницы». В литературном русском «сочельник» происходит от **сочьньник* с расподоблением первого [н] в однородный по месту образования переднеязычный зубной и способу образования (сонорный), но все же отличающийся артикуляцией [л]. Тамбовское *сочевник* ближе к исходному «сочевь», «сочиво» и содержит близкие, но неравные по сонорности [в] и [н], разные к тому же по зоне образования ([в] – губно-зубной, [н] – переднеязычный). В речи смягчение губно-зубного [в] затруднительно и создает неудобство в произношении мягкого [н'] перед губно-зубным согласным.

В литературном варианте это неудобство устраняется за счет ассимиляции [в] в [л'] – *сочельник*. Диалект, на наш взгляд, оказывается консервативнее и сохраняет праславянский вариант.

Специфические диалектные модели деривации, отражающие архаические черты фонетики на морфемном шве, можно рассматривать как часть диахронических моделей словообразования. Сравним образование слова *свадибышная* (тамб.) с литературным *свадебная*. В кодифицированном литературном языке действует продуктивная суффиксальная деривация с присоединением суффикса -н- из *ьп (*свадьба, свадьбьяная, свадебная*). В системе диалекта работает анахроническое словообразование с присоединением исторического суффикса -ыш- (< * - s-) к основе (ср. *никуд-ыгшная, тады шная, та лышная* (вода), близко к нему лит. *тщедушная*) и продуктивного суффикса -н- одновременно (*свадьба свадиб-ыш-н-ая*). Суффикс -н- остается продуктивным в аналогичных образованиях с возможным чередованием на морфемном шве. Это относится к прилагательным, образованным от наречий времени: *колышная, таперишная, давнишная, тадышная, нонешная (яя)*.

В диалекте продуктивно действуют суффиксы -енн- (< * п п -) и -щ- (< -ль'т'), например в словах «моленная» и «славища» (обряд Христа славить). В современных диалектах, знакомых с литературным произношением, такое словообразование используется как один из возможных вариантов произнесения со сниженным значением: сниж., диал. *славища* и торж. лит. *христославия, прославления*.

Обычны процессы редукции и нейтрализации гласных. Чередования внутри морфем создают лексические дубликаты. Так, чередуются приставки *с- / со-*, дифференцировавшиеся в результате падения редуцированных, например «смученик» и «сомученик»: у В.И. Даля *смученик* с пометой *црк. и сомученик – «сомученик чей-либо, товарищ по мукам»* [Даль 1994: IV, 302].

В современном тамбовском диалекте присутствуют особенности редукции, способные привести к результатам чередований: сильная, до нуля редукция 2-го ударного слога (птаму, варю), «яканье» и «иканье» и проявление слабого редуцированного [и] вместо литературного [е] (*свадибышная*). Появление [и] на месте редуцированного ([и] < ь < *) в последнем случае связано, скорее всего, с внутрисловной просодией южнорусской группы тамбовских говоров, для которых характерна ин-

тенсивная контрастность ударного слога и безударных слогов, а для безударных слогов – равновесность. Центр, фокусирующий ударный гласный, подчиняет себе как просодические, так и сегментные свойства заударных звуков, выравнивая их по силе интонационной конструкции.

На морфемном шве происходят чередования, обусловленные историческими палатализациями. Например, словосочетание *надыўшная теўста* (тамб.), где историческое *s > ль, в результате чего чередуются с / ш: *надысь надышное*; ср. лит. *сегодншнний сегодн сего дня* и старославянское *днесь*.

Пример диалектного чередования на стыке корня и суффикса содержит запись из д. Кузьмина Гать (сосн.): «Апасля Христова-та *Васкрешегния* им, грешным душам, дается нядельный срок на пасященья и апщенья с сротствиниками на Красну Горку», – где *воскрешение* – воскресение. Ср. у В.И. Даля названия *Барышденя* и *Борисденя* (с пометой «калужское») сближаются на основе слова «барыш» с объяснением: «2 мая, кто в тот день продаст что-либо с барышом, весь год будет барышевать, почему и говорят: «На св. Бориса сам боронися, чтоб не обманули» [Даль 1994: I, 130].

Обычным явлением для морфологии тамбовских говоров являются вставки, или интерфиксы, отличающие диалектный вариант произношения слова от литературного. Обычно интерфиксация состоит в том, что между двумя морфемами вставляется асемантическая (незначимая) прокладка, устраняющая сочетания фонем, запрещенные законами морфонологии или нехарактерные для структуры русского слова. Так, в словах *благоче(в)ствие, благослов(л)ение* между двумя морфемами вставляется асемантическая прокладка, соединяющая морфы. В первом случае (*благочевствие*) вставка [в] отражает, на первый взгляд, следование консонантов в слогах до падения редуцированных (ср. «чувство», «здравствуйте»). Однако однокоренные лексемы «честь», «честный», «чествовать» не подтверждают падение слабого слога с [в], поэтому вставку можно рассматривать как гиперкоррективную. Во втором примере (*благословление*) «л» объясняется исторически как «л-эпентетикум», возникший в результате трудного смягчения губного «в» и сохранившийся в говоре.

В обозначении масляной недели в тамбовских говорах нам встретилось определение «сырокапустная» [сыракапу снайа] (неделя). Прилагательное употребляется в противовес устоявшемуся церковному *сыропустная*, т. е. *попускается* есть сыр, молочные продукты. В диалектном произношении имеется асемантическая прокладка -ка-. Возможно, этот интерфикс, появился здесь для благозвучия, и этот пример, вероятно, можно рассматривать на уровне народной этимологии: появляется вставка -ка, интегрирующая лексему «капуста» в производную основу. Подобное словотворчество делает прозрачной внутреннюю форму слова и этимологизирует его сложную семантику: *сырокапустная* (неделя), т. е. когда можно есть сыр и капусту.

Самый общий взгляд на данные показывает, что в христианской лексике смешиваются два основных, гене-

тически неоднородных пласта: 1) номинации праславянского происхождения, составляющие исконную русскую лексику; 2) заимствования и библеизмы.

К первым относятся такие слова, как *венчать, говеть, каяться, крестить, кропить, погружать, иолить, угол, божница, лесенки, верба, береза* и др.; ко вторым – *артос, апостол, инок, клубук, ладан, монах, херувимы, серафимы* и др.

Просторечная и диалектная лексика находится в тесной словообразовательной связи с литературной и зависит от нее в отношении производности, например: *вера – из веры вывести* («перестать верить»); *грех – согрешить, прогрешиться, в грех упасть*; *Бог – бога «иконы», на два бога жить*; *Каин – каяться, окаянный*; *Христос – христосики* («лапти»); *Адам – адамовы веки*; *Соломон – соломан, круг царя Соломона*; *Иордань – ярдань, во-ярдань*; *Вавилон – вавилоны* («изгибы реки»).

Более прочная формальная связь с церковно-обрядовой лексикой, закрепленная в структуре новообразований, прослеживается в терминах, производных от церковных слов и имен, заимствованный характер которых продолжает ощущаться. Фонетическая и семантическая деформация в диалекте свидетельствует об усвоении канонических слов на русской почве. Ср.: *алялюшки* («печеные изделия»), *заaminить* («закончить»), *адить* («копить»), *питинье, просвирка, явангильчик, пысалтирь, Паска, проскомица*.

Словообразование вводит в язык новые номинации, среди которых много дериватов, образованных от агниномов: *христосики* («лапти»), *христовник* («праздничный кафтан»), *адамиха* («растение»), *ильинка* («плоды, созревающие на Ильин день»). Имена наиболее почитаемых святых обладают высокой словообразовательной потенциальностью.

В своей работе мы остановили наше внимание на словообразовательных типах единиц христианской лексики, выделив (среди вторичных номинаций) цельноформленные отыменные и глагольные дериваты, композиты и раздельноформленные устойчивые сочетания (субстантивные, атрибутивные, предикативные, разноструктурные с адвербиальным значением; устойчивые сочетания, по структуре соответствующие предложению).

Частотными производящими являются возгласы и иноязычные слова, подвергнутые народной этимологизации и приобретшие на русской почве образность. Вживание заимствования в речь говора проявляется в способности к организации обширных деривационных гнезд. Примеры языкового гнезда представляют семитизмы «аллилуйя», «аминь»: *алалуить* – «говорить вздор, нести чепуху» [Даль 1994]; *алалаг* (междом., арх.) – «... он все песьни пел – алалаг да алалаг» [АОС 1980: вып. 1, 66]; *алалыгка, лалыка* (твр., ряз.) – «картавый, нечисто произносящий буквы, осб. «л» вместо «р» *Алалыгкаты*, весьма схожее с нем. *lallen* – «лалыкать, примолаживать, картавить, мямлить, говорить с пережевкою» (*алалугя* от *алалыгкаты*), спутали в говоре с другим словом из нашей церковной службы (аллилуйя), и сами дивятся неприличию поговорки [Даль 1994: I, 25]. *Алалакаты* – «вести праздный разговор»: «Алалакым вот сидим» [Сл. Башк. 1992: вып. 1].

В.И. Далем зафиксирован тамбовский пример: *Алалаг, алалугя* (ж. тмб., пен.) – «вздор, бред, грезы, чепуха, бессмыслица»: «Несет такую алалаг с маслом, что уши вянут» [Даль 1994: I, 25]. Наряду с ним – костромской: *аляглюшки* – «род пирогов»; *алягкиш* (твр., пен.) – «недопеченый хлеб»; *алалуить* – «говорить вздор, нести чепуху»; *алалыкаты* – «мямлить» [Даль 1994: I, 25, 85].

В славянской песенной традиции процесс десемантизации возгласа «аллилуйя» (греч. – восходит в др.-евр. *halel jah!* – «хвалите Господа!») на большом доказательном материале был описан Н.И. Толстым. В народной традиции возглас варьируется фонетически, приближаясь к междометию, превращается «в название ритуала, группы лиц, его совершающих, ритуального предмета, ритуальной еды, костра и даже нечистого места и нечистой силы». Отсюда припевки русских веснянок, свадебных, жатвенных песен *ай лели-лели, ой ляле-ляле, ай люли-люли, ой лешаньки-люли, ай ляле*, масленичные краткие формы без удвоения последнего компонента, детские колыбельные припевы *люли-люли-люленьки* с подчинением рифме.

Большие группы христианской лексики представлены через факты ономастики. Агионимы имеют особый статус в христианской лексике.

В диалектах допускается свободная трактовка библейских имен и названий, порой с потерей библейского содержания. Действует векторная направленность «на себя», на «свое» время и события своего поколения. Приведем примеры: *Авель* и *Каин* диал. *Авил* и *Кавел*; *Эдем* диал. *Едемский сад*; *Иордань* диал. *ярдань [йардагн']*; *мефимоны* диал. *ефимогны*; *Фрол* диал. *Хролов день*.

Именослов библейских персонажей и локусов более, чем иные тематические группы христианской лексики, подвержен фонетическим изменениям.

Фонетические варианты агионимов представлены в русских духовных стихах: *Ердань-река, Ердан, Ерусалим, Расалим город, Салим, Онохрий или Онов* (пророк Енох), *Асафей* (царевич Иосаф), *Константинов град, Давыд Евсеевич* (царь Давид), *Димитрий Салымский* (Дмитрий Солунский). Ср.: «Господню гробу приложится, Во Ердань-реке искупатися»; «Расалим город городам мати, А Ердан река всем рекам мати»; «Почему Ерусалим всем градам отец?»; «Ночевала я в городе Салиме близко городу Ерузалимова»; «Сошлет Господь пророчество, Илью пророка и Онофрия»; «Ко младому царевичу Асафью: Та младой царевич Асафей!»; «Во светлом во граде в Константинове жил царь Константин Сауйлович»; «Премудрый царь Давыд Евсеевич»; «Рекут два ангела Христова Димитрию Салымскому чудотворцу» [Федотов 1991: 106, 123, 127, 131].

Обращаю на себя внимание названия праздников, производные от двух имен (посвященных памяти двух святых). Их производящей основой являются сочинительные словосочетания (Кузьма и Демьян, Фрол и Лавр, Зосима и Савватий, Кирилл и Мефодий, Петр и Павел, Борис и Глеб). В говорах сосуществуют, как правило, несколько фонетических вариантов таких наименований: *Кузьма и Демьян*, [Куз'мад'им'јагн], [Кугз'мьд'им'јан], [Куз'маг].

Сочинительная связь производящей базы и семи-

отика имени – общее название дня «единых» в народном сознании святых – воспринимаются как сигнал к соединению производящих основ в единое целое (*Кузьма-демягн*). Фонетическая трансформация заключается в смене ударения – *Кугзьмодемьян*, а также в редукции и расподоблении звонкого [з] под влиянием церковнославянского «Косьма» (диал. *Космодемьягн*). Происходит клиширование производящей базы *Кузьма* на *Кузьму*.

В архангельских говорах Каргополья отмечен пример морфологической трансформы, когда под влиянием сращения основ происходит смена рода (*Кузьмодемьян*, *Кузьмодемьяна*). Этот факт приводит Е.Е. Левкиевская: «...св. Козьма и Дамиан, ставшие кузнецами Кузьмой и Демьяном (иногда одним существом Кузьмодемьяном и даже в некоторых заговорных текстах – матушкой Кузьмодемьяной), которые «куют» свадьбы и попутно покровительствуют скоту» [Левкиевская 1998: 91].

Исследовательница М. Каспина замечает, что «парные персонажи» сливаются в сознании информантов в имя одного человека, что является естественным для фольклорного текста процессом трансформации незнакомых имен. «В результате появляются такие имена, как Кавель и Авель, Хрол и Лавер и др. Петр и Павел, Козьма и Домиан и вовсе слились в сознании некоторых информантов в имя одного человека» [Каспина 2000: 122].

Свидетелем такого грамматического симбиоза мы неоднократно являлись при работе над тамбовским словарем народного православия.

Рассмотренная выше модель словопроизводства действует в названиях почитаемого в народе дня первоверховных апостолов Петра и Павла и одноименного поста.

Пример сложной фонетико-словообразовательной трансформации нам встретился в названии иконы, произошедшем из слияния двух имен. Название иконы является уникальным языковой окказионализмом, почерпнутый из «архива словообразования». Домашняя икона соловецких святых Зосимы и Савватия именуется как *Изосима Саватей* с протезой в первом имени и объединением двух имен в одно, представляя, таким образом, как бы имя и отчество одного человека. В рядной записке 1685 г., исчисляющей приданое тамбовского обывателя, пишется: «А благословляю я, Дементий, дочь свою Божиим милосердием в окладах: Рождеством Пр. Богородицы, Спасовым образом, страстотерпцем Георгием да образом Изосимы Саватей» [Дубасов 1993: 366].

Особое место в диалектном словопроизводстве занимает клиширование – свертывание фраз, фразеологизмов, паремий, ведущее к появлению нового слова или словосочетания в том же значении. Подобные образования отражают стремление диалектоносителей к формульности, меткости речи. Причиной их появления служит необходимость в частом употреблении тех или иных высказываний.

На механизмы клиширования (свертывания и развертывания праславянских фразеологизмов) обратил внимание Н.И. Толстой [Толстой 1973: 394-396]. В христианской лексике стадии свертывания идиомы могут быть постепенными – от первоначальной развернутой фразы до вторичной, затем окончательной, например:

святых жен-мироносиц тамб. *жен мараносиц* тамб. *мараносиц*. Для частотных слов в диалекте возможно обратное клиширование – явление, в итоге которого возникает расширение фразы: тамб. *алалаў*, *алалуўя* («вздор, бред») наряду с *алалаў с маслом* в том же значении [Даль 1994: I, 25]. Развернутые фразеологизмы выявляются при сопоставлении материала разных территориальных зон.

Клише в слово- и фразео-производстве возможно только при наличии каких-то эмотивных ассоциаций исходного слова. Идея «клиширования» соотносится с закономерностями коммуникативного синтаксиса и диалектной типологией словообразования.

Общие особенности словообразования. Для диалектного словообразования наблюдаемой нами группы лексикой выделяются следующие особенности:

- обширное словообразовательное поле у «ключевых слов» ЛВЦ;
- обилие словообразовательных вариантов;
- широкая словообразовательная база в словообразовательной паре производное – производящее;
- исторические способы деривации.

Лексика народного православия не изобилует самобытностью в части корневых новообразований. Большая часть ее состава возникла за счет переосмысления значений и придания новых смыслов общеупотребительным русским словам и изначальным церковнославянизмам. Современная диалектная лексика вписывается в церковно-христианский узел семантического пространства литературного языка. Наиболее открыта для диалектного словообразования семантическая сфера «известных» слов. При этом прямые семантические переносы с сохранением производящей основы играют решающую роль. Ср., например, притяжательное прилагательное «божий» от изначального «Бог» и качественное определение «божий, божья» по отношению к человеку в тамбовских говорах. Таково же вполне литературное выражение «божий суд», бытующее в диалекте; обрядовая номинация «божий огонь» в значении «свеча, принесенная из церкви в четверг страстной недели, страстная свеча». Сюда же можно отнести народно-этимологическую мотивацию от производного «страх»: «страшная неделя», «страшная свеча».

Справедливо высказанное Т.И. Вендиной замечание о том, что «в диалектах (в отличие от литературного языка) наблюдается большая степень детализированности и расчлененности одного и того же семантического пространства с помощью словообразовательных средств, что связано с особенностями концептуализации и членения языковым сознанием диалектоносителей окружающего их мира, с потребностями его дифференциации в целях лучшей ориентации и освоения» [Вендина 1998: 23].

Чередования исходного набора морфем также влияют на своеобразие диалектного варианта лексики (лит. *затворник затвор* и тамб. диал. *взатворник в затворе*).

Диалект детализирует непроемные слова, требую-

щие этимологического объяснения, с помощью суффиксации. В то же время он избирает в качестве продуктивных те суффиксы, которые были отвергнуты кодифицированной системой. Так, в речи тамбовских информантов встречаются слова *юрод-лив-ый, набож-лив-ый* (ср. *сметливый, болтливый*), где представлен суффикс *-лив-* из общеславянского *-*w-* на месте литературного *-ив-* (*юродивый*). См. в контексте: «Николай-святитель, отец Николай, отче, наш, русский Бог. Он сподвижник. Был человек набожливый, помогал Богу» (с. Арапово, тамб.). Отмечается двойная суффиксация *-ов-*, *-ск-* вместо единичной литературной *-ов-*: *четверговая свеча* – тамб. *четверговская (свеча)*.

Суффиксы *-ск-*, *-к-* обнаруживают в говорах русского языка при словообразовании прилагательных высокую продуктивность. Литературный язык, для которого суффикс *-ск-* также очень продуктивен, кодифицирует лексику веры и церкви, сохраняя в этой сфере лексику «старые» общеславянские суффиксы *-ьн-*, *-ин-*, *-ив-*, **-j-*. Например, в именном и субстантивном словообразовании высок коэффициент участия суффиксов *-ов-* / *-он-* / *-ен-* / *-ьн-* (**-п-*) по аналогии со ст.-сл. *неседалень, поганинь* («язычник»), *овьчь* (< *o ik-j-), *льст-ивь, льж-ивь*, *многomiлост-ивь, отьчь* (< *ot k-j- s). В тамбовском диалекте произносятся *молебовна, молебена* [*мал'эб'ина*], *молебна* при литературном *молебен*.

Характерна деминутивная суффиксация с суффиксом *-чик-* там, где она не употребительна в литературном языке: *евангельчик* [*йавагн'ил'ч'ик*] – уменьшит. к *евангелие*: «У миняг маглинький явагнильчик есть» (Княжево, морш.). Отмечена редукция вокала в суффиксе: *-ец-* *-ц-* (*Ягорий Победоносц*).

Кратко остановимся на способах словообразования, активно действующих в тамбовском диалекте. Сложение, характерное для стиля канонического богословия (*ветхозаветник, ветхопещерник, многоглаголивый, великопроповедник*), не свойственно диалектному словообразованию, где, в основном, действуют способы, создающие однословные номинации. Аффиксальные способы словообразования не требуют обдумывания словарного запаса, они «всегда под рукой» и в системе диалекта являются определяющими. Сложение наблюдаются в примерах производства от ментальных универсалий, например в образованиях со словом «Бог»: тамб. *боговерующая, богадельщина* – «непорядок, суета», *богоданная (матушка)* – «крестная», *богоданный (батюшка)* – «крестный». Однако и в этих случаях точнее говорить не

о чистом сложении, а о совмещении словосложения с суффиксацией («Бог», «дать» *богода-нн-ая*) или о сращении, действующем в словообразовании прилагательных и причастий (*боговерующая*).

При анализе словообразования христианской лексики чрезвычайно важно обращение к лексико-семантическому (историческому) способу словообразования, действующему в диахронии. Он проявляется в переосмыслении прежних значений слов в диалектах, обычно со снижением семантики: *свят муж*, ирон.; *бог-дашка* «богом данное дитя» презрит. диал. «ребенок вне брака»; *благ святых* «наудачу»; *аноха* «простофиля» и др.

Литература

- Вендина Т.И. Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования: макрокосм. М.: Индрик, 1998.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1994. (Репринт. воспроизведение издания 1903-1909 гг.).
- Дубасов И.И. Очерки из истории Тамбовского края. Тамбов, 1993.
- Каспина М. Восприятие сюжета о грехопадении Адама и Евы в еврейской и славянской традиции // Концепт греха в славянской и еврейской культурной традиции: сб. ст. / отв. ред. О.В. Белова. М., 2000. С.116-130.
- Левкиевская Е.Е. Православие глазами севернорусского крестьянина // Российский православный ун-т ап. Иоанна Богослова: уч. зап. М., 1998. Вып.4.
- Словарь русских говоров Башкирии / под ред. З.П. Здобновой Уфа, 1992. [Сл. Башк.].
- Толстой Н.И. О реконструкции праславянской фразеологии // Славянское языкознание: VII Международный съезд славистов (Варшава, авг. 1973). М., 1973.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева; под ред. Б.А. Ларина. 2-е изд., стер. М.: Прогресс, 1986.
- Федотов Г.П. Стихи духовные. М., 1991.

Примечания

1. В данном случае мы можем сослаться на доклад А.А. Бурыкина «К проблеме региональных словообразовательных моделей в ойконимии» на международном научно-методическом семинаре «Диалектное словообразование, морфемика и морфонология» в ИЛИ РАН (СПб 2007 г.).

ОБЩЕРУССКИЕ ПРОСТОРЕЧНЫЕ ПРИЗНАКИ В ЖИВОЙ РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ Г. ТАМБОВА

Р.П. Козлова, М.В. Холодкова

Социальные перемены в русском обществе оказали существенное влияние на разговорную речь, которая в конце XX – начале XXI в. стала лидировать, оттеснив на задний план речь письменную. В разговорной речи частыми стали элементы просторечия, жаргона и т. д. Особенно интенсивно просторечная и жаргонная лексика используется в речи городского населения. Разговорная речь городского населения всегда отличалась своеобразием, так как его население является по своему социальному статусу очень разнородным, вследствие чего именно в речи горожан наиболее ярко проявляются просторечные черты. *Городское просторечие* – одна из основных частей языка города. Просторечие – это единицы языка, противопоставленные единицам кодифицированного языка, «неправильные» единицы речи, представляющие все языковые уровни. Заметим, что интерес к проблеме городского просторечия существовал всегда, но особенно он активизировался во второй половине XX в. Так, в сборниках «Литературная норма и просторечие» (1977), «Городское просторечие. Проблемы описания» (1984) определяются особенности городского просторечия на разных языковых уровнях. Кроме того, в настоящее время имеется уже достаточно обширный материал, содержащий анализ языкового облика различных городов. Исследовано и описано просторечие г. Москвы [Капанадзе 1984: 125-129], г. Челябинска [Помыкалова [и др.] 1984: 162-167], г. Элисты [Санджи-Гаряева 1984: 164-173, 1988: 253-257], г. Омска [Юнаковская 1994], г. Воронежа [Запрягаева 2004: 86-89], г. Красноярска [Бебриш 2005: 51-54] и других городов и регионов. В данной статье рассматриваются просторечные черты в речи жителей г. Тамбова, в том числе звучащей с экранов тамбовского телевидения, в сопоставлении с просторечием других городов страны.

Исследование просторечных явлений в живой речи жителей Тамбова в сравнении с просторечием других городов представляется актуальным, поскольку характерной особенностью просторечия является то, что оно используется в речи всего народа. К тому же выявление общих просторечных черт на территории различных городов позволяет установить общерусские признаки городского просторечия, о которых еще в 30-е гг. XX в. говорил С.И. Ожегов, подчеркивая, что просторечие имеет некие устойчивые признаки, однако «как велико это однообразие просторечия по всем городским поселениям, судить, пока не исследовано, трудно» [Ожегов 2000: 95].

Сравнительный анализ просторечных черт на всех уровнях языка позволяет сделать некоторые выводы. Так, в результате сравнения просторечных фонетических

В статье рассматриваются устойчивые фонетические, морфологические и словообразовательные признаки городского просторечия на материале живой речи жителей Тамбова, в том числе звучащей речи с экрана тамбовского телевидения. Тамбовское просторечие исследуется в сравнении с просторечием таких городов, как Воронеж, Челябинск, Элиста, Красноярск, Омск и др. При использовании сравнительно-сопоставительного метода выявлены общерусские устойчивые просторечные черты на территории разных городов, что свидетельствует о включенности просторечия г. Тамбова в общерусское пространство.

Ключевые слова: городское просторечие, общерусское просторечие, тамбовское просторечие.

особенностей в речи жителей Тамбова и Воронежа выявлены такие их общие черты, как широкое распространение фрикативного звука [ʃ], яканья, употребление звука [й] в начале слов, например *йих, йим* [Запрягаева 2004: 87]. К общим фонетическим чертам просторечия Тамбова и Омска относятся упрощение групп согласных, например *ниде* (*нигде*); «деформация» часто употребляемых слов, например *воще* (*вообще*), *щас* (*сейчас*); ассимиляция (*чичас* – *сейчас*) и диссимилиация (*пломба* – *пломба*) согласных по месту и способу образования; употребление ударного *о* (на месте *а* в литературном языке) в словах типа *заплотит, посадют* и т. п.; употребление *и* на месте ударного *э*, например *йисть, зайисть*; замена ударного *и* на *э*, например *квартира, партийный* [Юнаковская 1994: 123-128]. Кроме того, так же, как и на территории г. Тамбова, в омском просторечии встречаются местоимения, которые имеют иное, чем в литературном языке, фонетическое оформление: формы местоимения *этот* функционируют с начальным [й] и добавочным согласным в корне ([йэ]та, *энта, энто*), местоимения *кто, что* приобретают наращение, когда используются с частицей *то* (*ктой-то, чтой-то*) [Юнаковская 1994: 139-140, 161].

К общим фонетическим чертам просторечия Тамбова и Красноярска относятся упрощение групп согласных путем вставки гласного (*жи[з'и]нь*); диссимилиация согласных (*в кол[л']идоре*); отсечение части консонантных сочетаний в начале слова (*[драстуй] – здравствуй*) [Бебриш 2005: 52].

В речи жителей Тамбова, так же, как и в речи жителей Челябинска, отмечается высокая степень частотности просторечной частицы *чо* (*что*), которая, по словам исследователей челябинского просторечия, вносит в речь местной интеллигенции просторечную окраску и осуждается людьми, способными контролировать свою и чужую речь [Помыкалова [и др.] 1984: 165].

Примеры распространенных на территории Тамбова просторечных фонетических явлений свидетельствуют о включенности тамбовского просторечия в общерусскую систему: *Она плотит проценты* (пенсионер, из разговора); *На спиннин[х] лавят больше, чем на удочку* (рыбак, Тамб. ТВ. «Дача». 12.12.08); *Пусть хоть и лятить снежок – теперь недолго осталось ждать* (женщина, 65-70 лет, о приближении весны); *Строили на вяка* (пенсионер, Тамб. ТВ. «Тамбовская квартира». 03.04.08); *А мне энтот больше нравится* (из разговора о домах); *Обитые дермантином двери* (мужчина, 50-55 лет, Тамб. ТВ. Областные новости. 03.02.09); *Старые дома стоят в виде экспонатв* (мужчина, 60-65 лет, Тамб. ТВ. «Тамбовская квартира». 05.06.08); *Постовой йих не пускал* (ветеран МВД, Тамб. ТВ. «Тамбовская квартира». 10.11.08); *Речь должна быть [ʂ]рамотной* (Тамб. ТВ. «Тамбовская квартира». 26.11.08); *Увеличена поставка новых кни[х]*; *Во многих отраслях услу[х] сервис пока на низком уровне* (Тамб. ТВ. Областные новости. 14.03.08); *Чо-то в районе полутора тыщ* (Тамб. ТВ. Областные новости. 13.05.08).

Таким образом, устойчивыми общерусскими просторечными фонетическими чертами являются: яканье; иной, чем в литературном языке, звук в сильной позиции – *плотит* (платит), *лавят* (ловят), *йисть* (есть); лишние вставные гласные и согласные в корне слов – *жизинь*, *энтот*, звук [й] в начале местоимений – *йих*, *йэта*; фрикативный [ʂ]; чередование на конце слова г / х – (*кни[х]*); упрощение групп согласных – *тока* (только), *чо* ([ш]то).

Исследование морфологии просторечия, функционирующего на территории различных городов, также позволяет выделить устойчивые признаки общерусского городского просторечия. В просторечии Тамбова и Красноярска наблюдаются употребление существительных в ином, чем в литературном языке, роде (*кина* не будет); выравнивание основ при спряжении глаголов; использование нелитературной формы глагола *ложить*; произнесение в формах 3-го лица мн. числа глаголов II спряжения окончания *-ут*, являющегося в настоящее время ненормативным; распространение постфикса *-ся* на месте *-сь* в формах глаголов [Бебриш 2005: 52-53].

Просторечие Тамбова и Омска объединяют такие морфологические черты, как иная, чем в литературном языке, родовая отнесенность ряда существительных; иное распределение по типам склонения у ряда слов; изменение по падежам несклоняемых существительных; выравнивание основ при склонении и спряжении; использование флексий *-а* в имени п. мн. ч. (вместо *-ы*), *-ев*, *-ов* в Р. п. мн. ч. (вместо нулевого окончания), *-ими* в Тв. п. мн. ч. (вместо *-ами*); употребление форм глагола типа *командуйте*, *ездию*, *хочете*; форм

сравнения типа *ширей* / *шире* / *ширьше*, *дешевше*; форм притяжательного местоимения *их*: *ихний*, *иха* [Юнаковская 1994: 143-143, 161].

К общим морфологическим чертам Тамбова и Элисты относятся склонение неизменяемых существительных, например, *польта*, *польт*; замена нулевых окончаний существительных флексией *-ов* (*местов*, *делов*); суффикс *-ше* в формах сравнительной степени прилагательных, например, *красивше*, *длинше*; частое употребление формы притяжательного местоимения *ихний* (вместо *их*); использование флексии *-ут* в личных формах глаголов, например, *слышут*, *ходят*, *кормют* и др.; выравнивание основ при спряжении глаголов, таких как *хотеть*, *лечь*, *класть*; нарушения в образовании форм повелительного наклонения глаголов, например, *едь*, *ехай* [Санджи-Гаряева 1984: 169-172].

Примеры распространенных на территории Тамбова просторечных морфологических явлений свидетельствуют о том, что они имеют общерусский характер: *Там семь, а там восемь – а какая удобства* (женщина, 60-65 лет, о стоимости проезда в автобусах и маршрутных такси); *У нее черная пальто* (женщина, 55-60 лет); *Шампанскую купим с тобой* (женщина, 65-70 лет); *Мне такая платья не нравится* (женщина, 65-70 лет); *Возьми мою одеялу* (1 скл. вм. 2 скл., *мое одеяло*) (женщина, 65-70 лет); *Ушастый, у тебя же ухи* (парикмахер, 30-35 лет, о зайце); *У нее черного пальта нет* (женщина, 45-50 лет); *Он [героин] проходит через многие областя* (мужчина, 60-65 лет, Тамб. ТВ. «Тревожная кнопка». 02.02.09); *Места есть? – Местов нет, местов нет!* (микродиалог в маршрутном такси, женщина, 55-60 лет); *Почему я детями укрываюсь? А то мне скажут, что я детями укрываюсь* (женщина о зяте, 55-60 лет, Тамб. ТВ. «Тамбовская квартира». 11.11.08); *Там мы занимались борьбой с наркотикими* (мужчина, 50-55 лет, Тамб. ТВ. «Ты смотришь «Город». 11.03.08); *Есть Дед Мороз, который осуществляет ихние мечты* (женщина, 25-30 лет, Тамб. ТВ. Вести-Тамбов. 04.01.10); *А машина придет иха? – Да, иха, иха!* (из разговоров); *Я уже на шестнадцатом не ездю* (женщина, 55-60 лет, об автобусе № 16); *А что, пусть попробовае!* (мужчина, 50-55 лет); *Я здесь ляжу* (женщина, 65-70 лет); *У кого есть транспорт, их просят, и они отвозют* (мужчина, 55-60 лет, Тамб. ТВ. Вести-Тамбов. 17.04.08); *Меня ложут в больницу* (мужчина, 35-40 лет); *Как же я буду? Я, прям, боюся* (женщина, 60-65 лет, Тамб. ТВ. Областные новости. 14.04.08).

В результате сравнения речи жителей Тамбова, Красноярска, Омска, Элисты в морфологии городского просторечия определены такие устойчивые признаки, как употребление существительных в ином, чем в литературном языке, роде; иное распределение по типам склонения у некоторых существительных; изменение по падежам несклоняемых существительных; выравнивание основ при склонении существительных и спряжении глаголов; употребление флексий *-а* в имени п. мн. ч. (вместо *-ы*), *-ев*, *-ов* в Р. п. мн. ч. (вместо нулевого окончания), *-ими* в Тв. п. мн. ч. (вместо *-ами*); использование флексии *-ут* в личных формах глаголов;

распространение постфикса **-ся** на месте **-сь** в формах глаголов; употребление форм притяжательного местоимения *ихний, иха*.

Сравнение просторечия Тамбова с просторечием других городов на словообразовательном уровне позволяет также выделить их общие черты. Так, для просторечия Тамбова и Омска характерны широкое использование таких способов словообразования, как усечение, например, *маг* Я *магнитофон*, *мед* Я *медицинский институт*; стяжение в сочетании с аффиксацией, например, *дежурка* Я *дежурный автобус*, *легковуха* Я *легковой автомобиль*; употребление лексем с экспрессивными суффиксами, такими как **-уг-**, **-ух-**, **-ёж-**, **-аст-**, **-ущ-** и т. п., в том числе лексем с так называемыми суффиксами увеличительности типа, *грязюка*, *холодище*, *холодрыга* и различных уменьшительных имен типа *колбаска*, *мандаринка* [Юнаковская 1994: 128-134]. О диминутивах как средствах «гиперкоррекции речи» – самой распространенной черте просторечного обихода, например, *маслице*, *курочка*, *одеялко*, *неделька*, *часик*, – говорится в статье Л.А. Капаназде, посвященной проблеме московского просторечия [Капаназде 1984: 126-127], а также в статье Н.Н. Бебриш о просторечных явлениях в речи жителей г. Красноярска (например, в торговых рядах: *Средство от тараканчиков*, *от мошек*, *от моли*; *Укропчик свежий-пресвеженький*) [Бебриш 2005: 53]. В устной речи жителей г. Элисты отмечены такие просторечные особенности словообразовательного уровня, как стяжение и эллипсирование, например, *маршрутка*, *всемирка* [Санджи-Гаряева 1988], которые характерны и для тамбовского просторечия.

Примеры из живой речи жителей Тамбова показывают, что и словообразовательными особенностями тамбовское просторечие включено в систему общерусского просторечия: *На улице холодрыга такая*, *Ну и котяра вырос* (из разговоров); *Легкая депрессуха* (из речи журналиста, 30-35 лет, Тамб. ТВ. «Актуальное интервью». 07.05.08); *Все болячки от кипяточка подохнут. Вся побелочка облетела* (Тамб. ТВ. «Дача». 07.03.08); *Держи марлечку. Берем целлофанчик, накрываем и убираем в теплое место* (Тамб. ТВ. «Дача». 13.03.08); *Хорошая закуска* (мужчина, 50-55 лет).

Проведенный анализ живой речи жителей Тамбова показал, что для нее характерны многие словообразовательные особенности, отмеченные в общерусском просторечии, а также в современных словарях: лексем

со стилистически маркированными аффиксами, диминутивы, усеченные и стяженные лексемы.

Таким образом, изучение общих фонетических, морфологических, словообразовательных признаков тамбовского просторечия и просторечия других городов позволяет сделать вывод о том, что просторечию г. Тамбова свойственны общерусские черты. Определение общих признаков в просторечии различных городов, в том числе таких, которые связаны с диалектным влиянием, например употребление фрикативного [ʂ], яканье и др., подтверждает внетерриториальный, общерусский характер просторечия.

Литература

- Бебриш Н.Н. Просторечные явления в речи жителей Красноярска // Русский язык и литература рубежа XX-XXI вв: специфика функционирования: Всерос. научн. конф. языковедов и литературоведов (5-7 мая 2005 г.) / отв. ред. Р.И. Тихонова. Самара: СГПУ, 2005.
- Запругаева М.Я. Характеристика воронежского просторечия (некоторые фонетические и морфологические черты) // Современная языковая ситуация и совершенствование подготовки учителей-словесников: мат-лы V Всерос. науч.-метод. конф. / под ред. О.В. Загоровской. Воронеж: Изд-во «Научная книга», 2004.
- Капаназде Л.А. Современная просторечная лексика (московское просторечие) // Городское просторечие. Проблемы изучения / отв. ред. Е.А. Земская и Д.Н. Шмелев. М.: Наука, 1984.
- Ожегов С.И. О просторечии (к вопросу о языке города) // Вопр. языкознания. 2000. № 5.
- Помыкалова Т.Е., Шишкина Т.Я., Шкатова Л.А. Наблюдения над речью жителей г. Челябинска (К проблеме «язык города») // Городское просторечие. Проблемы изучения / под ред. Е.А. Земской и Д.Н. Шмелева. М.: Наука, 1984.
- Санджи-Гаряева З.С. Некоторые особенности устной речи г. Элисты // Разновидности городской устной речи / отв. ред. Д.Н. Шмелев, Е.А. Земская. М., 1988.
- Санджи-Гаряева З.С. Просторечные элементы в устной речи жителей г. Элисты // Городское просторечие. Проблемы изучения / отв. ред. Е.А. Земская и Д.Н. Шмелев. М.: Наука, 1984.
- Юнаковская А.А. Омское городское просторечие: Лексико-фразеологический состав. Функционирование: дис. ... канд. филол. наук. Омск, 1994.

4. Материалы и сообщения

ЗАЧЕМ СРАВНИВАТЬ?

КОМПАРАТИВИСТИКА И / ИЛИ ПОЭТИКА

И.О. Шайтанов

В момент рождения компаративистики (сравнительного изучения литератур) и на протяжении почти всей второй половины XIX в., если рядом с компаративистикой и возникала поэтика, то по принципу альтернативности. Впоследствии они то сближались, то отдалялись друг от друга в зависимости от того, каким был общий теоретический климат в гуманитарных науках. И, наконец, сегодня их пути разошлись столь же резко, как в начале их сосуществования.

Тогда, в середине XIX столетия, слово «поэтика» еще слишком явно отзывалась школьным знанием с его неизжитой ориентацией на поэтику, осененную авторитетом Аристотеля и превращенную поколениями его комментаторов в нормативное предписание. Теперь, как будто в отчаянии махнув рукой на все попытки создать какую-либо новую ненормативную поэтику, ее снова сдали в багаж архаического знания о литературе. Если слово и имеет хождение в языке тех, кто не боится прослыть безнадежным архаистом, то в сочетании «поэтика культуры». Этот термин Ю.М. Лотмана был широко подхвачен, в основном, для того, чтобы отделить понятие «поэтика» от ее прежнего предмета – литературного текста. Наиболее известный случай именно такого его использования – «новый историзм» Стивена Гринблатта.

Впрочем, «новый историзм» не исключение, а закономерность, согласно которой «текстуальность истории» запрещает устанавливать какую-либо иерархию текстов, а фактически – обращать внимание на их специфику. Для поэтики в этих условиях нет места. Она – вредный пережиток старого сознания, связанного с понятиями «вкус», «поэтическая речь» или «художественность».

В романе «Пнин» у Набокова есть объяснение тому, почему герой не смог сделать карьеру в качестве преподавателя французского языка в американском колледже. Он говорил по-французски. А его непосредственный начальник, возглавляющий кафедру, не только не говорил, но полагал, что это вредит делу преподавания.

Сатирический штрих, беглая характеристика одного персонажа или одной культурной ситуации?

Как часто бывает, писатель создает, даже мельком и бегло, ситуации, имеющие эмблематическое значение, которое в данном случае может быть принято за эмблему отношения к поэтической речи в условиях постструктуралистского теоретизма. Чем меньше поэтической речью владеть, чем меньше ее понимать, тем легче овладеть ею как текстом, безличным и безгласным.

В название вынесены два ключевых для статьи понятия, однако основная проблема сосредоточена не в них, а в соединяющих их союзах: и / или. Два союза предполагают три варианта возможных отношений между компаративистикой и поэтикой:

– то ли они сосуществуют, дополняя друг друга;

– то ли взаимоисключаются (или ... или);

– то ли представляют собой два варианта названия одного и того же: компаративистика, или (иначе говоря) поэтика.

В том или ином наборе терминов было уже бесчисленное число раз сказано и повторено, что автор умер, филологический проект закончился, все большие дискурсы исчерпаны, литература как таковая более никому не интересна и, если мы еще хотим ее спасти, нужно срочно отдать ее в ведение новой социологии, культурологии и проч.

Это направление мысли стало теоретическим кредо и обоснованием культурной ситуации конца XX в. *Fin-de-siècle* снова явил себя то ли гамлетовским ощущением времени, вышедшего из пазов, то ли декадансом, имя которому на этот раз – постмодерн. В конце века естественно ожидать конца всего. Его ожидали, его и провозгласили, но в ожидании на этот раз преобладало не апокалипсическое уныние, а какое-то наэлектризованное карнавальное возбуждение.

Не апокалипсис отзывается в нынешнем предсказании универсальной завершенности, а пристрастие массового сознания к остросюжетности действия и сенсационности финала. Мы хотим, чтобы при нас завершились все многовековые сериалы из истории культуры, мы хотим знать их конец, присутствовать при нем и торопим его наступление.

Постмодерн, в сущности, есть явление не элитарного сознания, а элитарной рефлексии по поводу неизбежного прихода масс, каковой нужно оправдать теоретически и к которому следует подготовиться на практике. Одним из следствий неизбежного торжества массового вкуса в литературе должно быть полное равнодушие к литературе как искусству слова. Зачем ждать, пока неизбежное случится? Поторопимся и встанем впереди идущих. Это лучше, чем опоздать и остаться в числе «лузеров». Отсюда почти истерическая боязнь не успеть, не заметить чего-то, почитаемого новым, и не истребить

чего-то, почитаемого старым, в себе и в других.

Для этого сознания «поэтика», безусловно, – в арсенале *старого*. Вместе с самой литературой. Для философов, теоретизирующих по поводу литературы, и литературных теоретиков эпохи постмодерна расставание с нею не было ни долгим, ни трудным. В какой-то степени оно закрепило *status quo* и подкрепило старое подозрение, что занятие литературной теорией, мягко скажем, далеко не всегда сочетается с пониманием литературы.

То, что действительно отличает русских формалистов (вслед Веселовскому) от их оппонентов, так это требование, занимаясь литературой в любых сочетаниях (история литературы, социология, культурология), *не терять из виду природы поэтического слова*. А если перевести это требование с языка терминов на естественный язык, то для того, кто занимается литературой, продуктивно понимать то, чем он занимается: обладать слухом, вкусом и не стесняться их наличия.

Если вернуться к примеру с неудачной карьерой Пнина, на свою беду говорившего по-французски: я полагаю, что преподавать иностранный язык будет лучше тот, кто на нем говорит. Хотя, разумеется, преподавание языка и умение на нем говорить – это не одно и то же.

Таков современный теоретический контекст отношений поэтики и компаративистики, имеющих свою историю – взаимного притяжения и взаимного отталкивания.

При разговоре с писателем у литературоведа нередко возникают трудности, неведомые в своем профессиональном кругу. Писатель склонен задавать вопросы, недопустимо простые: полезно ли поэту знать ритмические схемы? поможет ли прозаику теория жанра или поэтика сюжета? А если обобщить эти вопросы, то – какое отношение к творчеству имеет наука, изучающая его законы и его историю?

Можно сетовать на наивность этих вопросов. Можно отшучиваться, говоря, что ученый, ставящий опыты на лягушках, не обязан вступать с ними в беседу и объяснять им свои действия.

Однако взглянем на эти сомнения и с другой стороны: приносят ли они что-либо ученому, кроме праведного раздражения на пишущую лягушку, упорствующую в своем нежелании отразиться творческий процесс? Сколь бы наивными эти вопросы ни были, они возвращают к предмету исследования, который рано или поздно теряется из виду в терминологических завалах и в теоретических хитросплетениях, сопутствующих любой научной парадигме накануне очередной научной революции. Наивные вопросы звучат особенно остро и заманчиво в периоды кризиса.

На фоне именно такого кризиса, охватившего сравнительное литературоведение в 1950-х гг., известный американский компаративист Гарри Левин вспомнил, как представил своего коллегу великому валлийскому поэту Дилану Томасу. Услышав о литературной специализации нового знакомого, изучающего литературу сравнительно (*comparatively*), поэт заинтересовался: «С чем же это вы ее сравниваете?» – И в своей неподражаемой и не ведающей запретов манере в каче-

стве предположения озвучил односложное слово, которое я не могу позволить себе здесь повторить» [Levin 1968: 5].

К тому времени, когда Дилан Томас задал своей неудобный вопрос, весь цивилизованный мир уже добрую сотню лет изучал и преподавал литературу сравнительно. Так что под сомнение были поставлены тысячи страниц научных трудов, десятки университетских кафедр и журналов, ежегодных конференций и конгрессов.

Зачем сравнивать? Если освободить наивный вопрос от его подрывной интенции («А король-то голый!») и рассматривать как поиск первоначальной информации об определенной сфере знания, то такого рода информация должна была бы содержаться в элементарных пособиях или справочниках.

И тут оказывается, что элементарного, но сколько-нибудь общепринятого, пособия по компаративистике на русском языке нет (хотя в последние годы курс включен в программу многих университетов). Если быть совсем точным, то одна попытка все-таки состоялась – в переводе на русский язык со словацкого: Диониз Дюришин «Теория сравнительного изучения литератур» (М., 1979). Словацкого коллегу можно только поблагодарить за то, что он освоил труды А.Н. Веселовского, В.М. Жирмунского и других русских ученых, поскольку именно на их основе создан его популярно-обобщающий очерк, которым на протяжении уже тридцати лет как единственным (!) пособием по предмету пользуются русские студенты. Пользуются в тех редких библиотеках, где его сегодня можно найти. Странно, но факт.

Да и не только для студентов Дюришин закрыл своей книгой перспективу развития мировой компаративистики настолько, что начал казаться первоисточником проблем, у которых долгая история: «После того как Д. Дюришин показал, что между взаимодействием различных текстов внутри национальной литературы и текстами разных литератур с точки зрения механизма контакта существенной разницы нет, значимость этих положений с точки зрения компаративистики сделалась очевидной» [Лотман 1992: 111].

До Дюришина в течение нескольких лет этот вопрос дебатировался в полемике между американскими и французскими компаративистами. Но едва ли есть основание полагать, что кто-то из них, равно как и Дюришин, закрыл тему. Не теряет своей силы наблюдение Ю.Н. Тынянова: «В истории литературы еще недостаточно разграничены две области исследования: исследование *генезиса* и исследование *традиций* литературных явлений; эти области, одновременно касающиеся вопроса о связи явлений, противоположных как по критериям, так и по ценности их относительно друг друга. Генезис литературного явления лежит в случайной области переходов из языка в язык, из литературы в литературу, тогда как область традиций закономерна и сомкнута кругом национальной литературы» [Тынянов 1977: 29].

Так что и сегодня, если попытаться построить простейшее определение компаративистики, то оно будет звучать приблизительно так: «Изучение сходства и связей между литературами, существующими на разных языках».

Сравнение внутри одного языка – это более спорный или специфический случай, когда в своем развитии культуры, говорящие на одном языке, разошлись настолько, что встает вопрос не только об их различной идентичности, но и о возникновении на общей основе уже двух разных языков (например, английский и американский).

Как нет на русском языке специального пособия по компаративистике, также нет и специального справочника. В словарях терминов статьи о компаративистике появляются, но на простой вопрос «Зачем сравнивать?» в них едва ли отыщется ответ. Вот два новейших издания такого рода. В одном, посвященном западному литературоведению, соответствующая статья носит название «Компаративистика» (автор – Е.В. Соколова). Она начинается с перечисления имен тех, кем в разных странах «было инициировано» «возникновение литературной компаративистики». Имена относятся к 80-м гг. XIX столетия (Поснетт в Англии, Брюнетьер во Франции, Шерер в Германии). Затем необъяснимым (особенно для справочного издания) путем нас переносят на несколько десятилетий ранее, в сферу совсем иных наук: «Появление компаративистики во второй половине XIX в. связано с развитием сравнительной анатомии Ж. Кювье, сравнительной физиологии А. Бленвиля» [Западное литературоведение XX в. 2004: 189].

Стало ли понятно, почему начали сравнивать в сфере литературы? Нет. Как нет ответа и на новый вопрос: почему вдруг анатомия и физиология так сблизилась с литературной областью, минуя остальную гуманитарную сферу, поскольку ни о языке, ни о мышлении (скажем, о сравнительной мифологии) упоминания в статье также нет.

В словаре по поэтике [Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий 2008: 101-102] соответствующая статья называется «Компаративизм» (автор – Л.Н. Полубаяринова). От того, что название здесь дано в другом варианте, родословная не меняется – в тех же словах и именах (даже если они пишутся несколько по-другому): Кювье, Блэнвилль. К ним добавлены Гердер и Ж. де Сталь в качестве представителей эстетики «предромантизма и романтизма». Что же касается вопроса «Зачем сравнивать?», то попытка ответа носит негативный характер: ответа быть не может, поскольку «в истории и теории литературы сравнительный метод присутствует априори...». Правда, в «более специальном смысле слова конституируется в 1890-е гг. (главным образом, благодаря усилиям французских исследователей Ж. Текста и Ф. Бальдансперже)...».

Путь от анатомии к компаративистской библиографии, т. е. от Кювье к Бальдансперже (который, кстати сказать, окончил университет только в 1894 г. и основные свои труды написал уже в XX столетии), остается загадкой. Как и вопрос, зачем же они начали сравнивать хотя бы и «в более специальном смысле слова».

Если в современных справочниках колеблются между словами, образованными от иноязычного корня, – сравнивать (*comparer, compare*), то в аналогичных изданиях советского времени твердо придерживались русского варианта и говорили о «сравнительно-истори-

ческом методе». Под этим названием в Краткой литературной энциклопедии статью написал один из мэтров указанного метода – В.М. Жирмунский [КЛЭ 1972: 126-130]. Несмотря на обязательную советскую фразеологию, выпады против буржуазности и ритуальные поклоны в сторону единственно верной марксистско-ленинской методологии, в той старой статье информации больше – и, во всяком случае, она точнее. Там говорится об исторических предпосылках, о типологических аналогиях, о том, как от эпохи к эпохе варьируются международные контакты, и точно устанавливается момент, когда интенсивность этих контактов приводит к мысли о наличии некоей общности под именем «мировой литературы». Понятие принадлежит Гете (1827-1830) и возникло оно в развитие мыслей Гердера.

Дальше Жирмунским снова будет сказано то, что он не мог не сказать в советские годы: о том, что (по Марксу) мировая литература – явление буржуазное, а «Октябрьская революция заложила основы многонациональной советской литературы, объединенной общим осознанным мировоззрением и общей исторической целью, единством художественного метода социалистического реализма» [КЛЭ 1972: 128].

Эту позицию советского превосходства мировая компаративистика хорошо знала, поскольку она неоднократно была озвучена на международных встречах и конференциях. В уже упомянутой статье Г. Левина есть достаточно развернутое высказывание на сей счет. А о самой статье (кроме того, что она дает повод не раз на нее сослаться) нужно сказать особо. Это высказывание – итоговое для известного ученого. Оно прозвучало в момент, когда многое менялось и еще более решительно должно было измениться. В 1968 г. казалось, что кризис самой компаративистики преодолен, что она вышла на тот уровень, где, сохранив умение работать с фактами, она расширит свой горизонт и сможет стать основой современной филологии (мы бы сказали – поэтики)... Левину кажется, что умение соединять в одном методе историю литературы с критической пронципальностью – «американский подход к компаративистике» [Levin 1968: 9]. На это уместно возразить, что понятие «поэтика» с возможностями сравнительно-исторического подхода первым связал Александр Веселовский. Однако в 1960-х гг. не он представлял русскую школу компаративистики для мирового сообщества. А для официальных идеологов внутри страны начало русской компаративистики если и было памятно, то осуждено: «То, что известно как сравнительный метод (*comparativism*), в России подвергается официальному осуждению как космополитизм, формализм или подобного рода направления. На пути к компаративистике (*comparative literature*) русские так и не отказались от своей склонности к национализму или, по крайней мере, панславизму и антизападничеству. Советская история мировой литературы пишется мадам Неупокоевой, на основе русскоцентричности, принцип которой она и изложила в своем выступлении на Международной ассоциации сравнительного литературоведения в Белграде в 1967 г.» [Levin 1968: 13].

Лучше всего об официальных установках и о недо-

вольстве компаративистикой были осведомлены те, кто несмотря ни на что продолжали занятие ею в самой России. Им постоянно приходилось оправдываться и напоминать, что они не посягают на основы марксистской методологии, что сравнительно-исторический метод – это, в сущности, и не метод, а частнонаучная методика, совокупность приемов и не более того [1].

Что же касается классических истоков сравнительного метода в России, то о них лучше было не вспоминать. О них и не вспоминали – это было тем легче, что на протяжении 50 лет «Историческая поэтика» Александра Веселовского не издавалась – с 1940 по 1989 г., когда появилось ее абортное издание для студенческого пользования. Да и само имя классика, когда его стало возможно упоминать, требовало обязательных указаний на то, где и как часто он ошибался. В годы борьбы с космополитизмом это имя было и вовсе запретным (кроме как в контексте поношения). Вокруг памятника Веселовскому в Пушкинском доме – мраморная статуя, изображающая ученого сидящим, – как рассказывают, случались всякого рода трагикомические казусы. Когда редкий в те годы иностранец интересовался: «Кто это?», – сотрудники невнятно бекали-мекали в том смысле, что «вот, мол, зашел, сидит, а кто – и сами не знаем...». Так продолжалось, пока (рассказ Лидии Гинзбург) высокий московский чиновник не принял сидящего за молодого Маркса и тем самым не узаконил его сидение.

Так что американский компаративист имел право забыть или не знать о том, чего не хотели знать и помнить в самой России, – о ее участии и роли в *формировании компаративистики в контексте исторической поэтики*. А американцы отстояли это новое (или осознаваемое как новое) ее родство с поэтикой в условиях того, что известно как кризис компаративистики 1950-х гг. Их полемика с французами – событие хорошо памятное и ставшее поворотным для судеб сравнительного изучения литературы. В самом ее начале были произнесены возражения, в последующее десятилетие озвученные десятки и сотни раз.

В «Ежегоднике сравнительной и общей истории литературы» на 1953 г. Рене Уэллек (чех, преподававший в Йельском университете) опубликовал рецензию в связи с выходом в свет книги видного французского ученого М.-Ф. Гийара «*La litterature comparee*» (Париж, 1951). Это было издание, рассчитанное на то, чтобы в очередной раз обозначить позиции самой влиятельной в мире на тот день компаративистики – французской. К этой же цели было приурочено и предисловие одного из ее патриархов Жан-Мари Карре (учителя Гийара). Об этом предисловии, утверждающем перспективу и основы французской компаративистики, прежде всего и говорил Уэллек.

Он начал с того, что, характеризуя французскую школу, произнес слова «застарелая фактографичность (factualism)» [Wellek 1953: 3]. Это отправная точка, из которой выводятся несколько методологических следствий. В компаративистике привязанность к факту на протяжении десятилетий служила (что отчасти сохраняется и по сей день) неким методологическим обере-

гом, первоначально обретенным как залог свободы от старых «пиитик и риторик» и как принцип для создания новой истории литературы во всемирном масштабе.

Такого рода подход был влиятельным и доминирующим повсюду на протяжении, как минимум, всей первой половины XX столетия. В СССР он получил дополнительную мотивацию: там, где цензура связывает язык, а идеология принуждает говорить с чужого языка, лучше перейти на язык фактов. На него и перешла наиболее значительная в советское время «ленинградская школа» или «школа академика Алексеева».

Однако то, что было предназначено очистить и расширить горизонт, довольно скоро его сузило. Потери были очевидны. Они подразумеваются в изустно передаваемой шутке Шкловского: «Труды академика Алексеева напоминают машину, груженную для переезда на дачу». Много вещей нужных, даже необходимых, но все – в куче, не разобрано, не осмыслено...

Установка на сопоставление фактов и одних лишь фактов породила в компаративистике хроническую нелюбовь не только к теории, но к любым более общим выводам и заключениям. Сопоставление, ограниченное непосредственным рассмотрением «источников и влияний», не позволяет, как говорит Уэллек (и как будут повторять все американцы), увидеть литературу *типологически*, в условиях более общих и важных закономерностей. Представление о том, что компаративистика занимается исключительно бинарными соответствиями двух иноязычных литератур, исключает присутствие третьего элемента сравнения и, таким образом, препятствует построению типологической модели.

К тому же, понимание компаративистики как обязательного сопоставления иноязычных литератур, по мнению Уэллека, затемняет тот факт, что «не существует методологического различия при изучении того, как Ибсен влиял на Шоу, и того, как Вордсворт влиял на Шелли» [Wellek 1953: 1-2]. Это не бесспорное утверждение, но тогда, в контексте полемики, оно должно было подчеркнуть, что французы упускают из виду сопоставление на уровне культуры, слепо следуя принципу формального наличия двух разных языков.

Наконец, было замечено, что во французском варианте компаративистики все связи и контакты оказываются ведущими в Париж. Этот упрек американские компаративисты и по сей день оставляют в силе. Вот характерный отзыв на книгу Паскаля Казановы «*Мировая республика литературы*» (1999): «...ее бы лучше было назвать «Парижская республика литературы». Будучи неудовлетворительным обзором состояния мировой литературы в целом, книга Казановы представляет собой адекватное обозрение того, как мировая литература действует в современном французском контексте» [Damrosch 2003: 27].

Вероятно, это преувеличение (неужели инерция старой полемики продолжает действовать и полвека спустя?), но, действительно, французский автор, рисуя картину современного литературного пространства в мировом масштабе, во многих отношениях утверждает французский приоритет: «Своей «защитой и прославлени-

нием французского языка» дю Белле закладывает основы литературного пространства Европы» [Казанова 2003: 63]. А почему не Данте или Чосер?

Париж (непонятно, на все ли времена или только для каких-то эпох) провозглашен «столицей литературной вселенной, городом, обладающим самым большим литературным авторитетом в мире...» [Казанова 2003: 29].

И уж совсем вопреки не только политкорректности, но и идее равноправия культур, Казанова полагает, что есть языки, отмеченные большей и меньшей «литературностью», а есть и такие, которые обладают «специфическим сертификатом, своеобразной гарантией, что все написанное на этом языке будет литературно» [Казанова 2003: 22].

Каким же был итог почти векового существования компаративистики под знаком влияния Парижа?

– Вместо новой теории – *нелюбовь к теории*.

– Вместо всемирности – *франкоцентричная цивилизационная модель*.

– *Попытка создания истории литературы вдалеке от ее поэтики*.

Этот кризис и породил «наивный вопрос»: так зачем сравнивать? Г. Левин вспомнил, как услышал его накануне кризиса, а завершая кризис, тогдашний глава французской компаративистики в Сорбонне Рене Этьембль выпустил в 1963 г. краткий теоретический памфлет, в сущности, признающий основательность американских претензий: «*Comparaison n'est pas raison*». Каламбур подтвердил, что сравнение ничего не доказывает, никуда не ведет. По крайней мере, сравнение в его прежнем варианте.

Тогда-то, в шестидесятых, и сложилось впечатление, что новая компаративистика, которую отстояли американцы, будет создаваться в контакте с теорией культуры и поэтикой. Пути будущей культурологии и поэтики еще не казались взаимоисключающими. Во исполнение этой мечты и лишь спустя четверть века после завершения полемики, один из старейших американских литературоведов Эрл Майнер создаст книгу «Компаративная поэтика. Межкультурное эссе о теориях литературы» [Miner 1990]. В заголовке и подзаголовке – полный набор понятий, синтез которых должен был ознаменовать возникновение новой поэтики из прежних теорий литературы.

«Компаративная поэтика» Майнера не потрясла основ и едва ли может быть воспринята как исполнение желаний, лелеемых в 1960-х гг. Сегодня она читается скорее как не слишком впечатляющая попытка примирить поэтику с тем, что мы называем культурологией и что на английском языке известно как *cultural studies*.

Для всякого же, знакомого с русской филологической школой, поэтика Майнера вызывает в памяти образец другой поэтики – несопоставимо более грандиозной и новаторской, замысел которой оформился ровно на сто лет раньше, – исторической поэтики Веселовского. Если среди вариантов ее названия «компаративная или сравнительная» и не рассматривался, то, по сути, она была именно таковою.

«Ровно сто лет» – этот хронологический расчет

может показаться преуменьшением срока приоритета Веселовского перед Эрлом Майнером. Ведь в трех изданиях поэтики – с 1913 по 1989 г. – она открывалась работой 1870 г. [2] Прецедент был создан первой публикацией – в посмертном собрании сочинений, где традиционно произведения размещаются в хронологическом порядке. Том «Поэтика» открывался первой по времени написания работой Веселовского с теоретическим заданием. Но это было совсем иное задание: ни плана исторической поэтики, ни ее названия еще не существовало. Они появятся в первой половине 1890-х гг. Но что объединяло будущую поэтику с первой работой ученого, обращенной к теории, так это место, которое он отводил сравнительному методу: «...сравнительное изучение поэзии должно во многом изменить ходячие понятия о творчестве» [Веселовский 2006].

Так сказал в 1870 г. молодой доцент, открывая свой первый курс по общей литературе в Санкт-Петербургском университете лекций «О методе и задачах истории литературы как науки».

Похвально, но достаточно естественно то, что, начиная свой первый лекционный курс, ученый предположил ему теоретическое размышление, которое предварило многое в его дальнейшем творчестве. Но подлинное значение этого размышления будет восстановлено лишь в том случае, если мы вспомним: это был, по сути дела, первый курс истории общей (тогда также называемой всеобщей, а впоследствии – зарубежной, мировой) литературы, предложенный в русском университете.

В XIX в. организация науки была тесно связана с деятельностью университета и зависима от его программы. Наука институализировалась в структуре соответствующего факультета. Наиболее непосредственным образом русская академическая жизнь была ориентирована на Германию, там черпая идеи и находя подтверждение, как обновлять систему преподавания. Но даже в Германии, как убедился Веселовский, новый подход к литературе не вполне утвердил себя в университетской жизни. Об этом, как о волнующей новости, он сообщает, открывая первый свой отчет, каковы должны были присылать для публикации в «Журнале министерства народного просвещения» студенты и преподаватели, командированные за границу: «Кафедра истории всеобщей литературы еще не получила в Германии права гражданства, в том смысле, по крайней мере, в каком существует кафедра всеобщей истории, общей филологии и т. п.» (Берлин, 6 декабря 1862 г.) [ЖМНП 1863: 152].

Русский университет, подвергнутый разгрому при Николае I и теперь стремящийся к восстановлению своих прав, к духовному обновлению, решает проблемы, актуальные и для Европы. Как всегда, в России в подобные моменты в качестве необходимой составляющей новизны мыслится открытость всему миру, и в первую очередь – европейскому. Идея *всемирности, всеобщности* несет особую смысловую нагрузку и требует реального воплощения. Ранее всего она реализуется в сфере истории, что заставляет ученого-историка опасаться за чистоту и точность своей сферы знания. Интенсивное взаимодействие наук не снимает вопроса о специфич-

ности предмета каждой из них: «Кафедра всеобщей истории получила в последние два десятилетия особенную важность в русских университетах... При недостатке кафедр всеобщей литературы, истории искусства, истории христианской церкви в более обширном смысле, вследствие уничтожения кафедры философии в 1848 г. в преподавании всеобщей истории сосредоточилось много посторонних интересов, которые нигде не находили себе удовлетворения» (Отчет В. Герье) [ЖМНП 1863: 244].

Кафедра всеобщей истории литературы была введена в русский университетский Устав в 1863 г. Этот Устав известен как одно из освободительных свершений нового императора – Александра II.

Опережая изменение в Уставе, особым министерским распоряжением кафедра всеобщей истории литературы в Санкт-Петербургском университете была учреждена еще 15 марта 1860 г.

В истории компаративистики иногда говорят, что первая кафедра сравнительного изучения литературы была основана де Санктисом в Неаполе для Георга Гервега в 1861 г. (а поскольку Гервег не смог приехать, де Санктис сам впоследствии занял ее). Еще чаще факт ее создания относят на тридцать лет позже – 1897 г., Лион [Weisstein 1988: 99]. Так что петербургский университет имеет шанс побороться за первенство.

Распоряжения могут опережать Устав, Устав может давать возможности, но готова ли действительность принять желанные свободы? Если воспользоваться законом, позже открытым Веселовским в качестве одного из основных для сравнительного изучения литературы, недостаточно пожелать нечто заимствовать или учредить – удачность предприятия определяется наличием «встречного течения».

Оно не сразу возникает в российских университетах. Желание заниматься всеобщей историей литературы, вероятно, было, но люди, способные ее преподавать, вначале оказались в сильном дефиците. Об этом можно судить по отчетам с мест, которые университеты печатали в том же «Журнале министерства народного просвещения». На протяжении нескольких лет наладить учебный процесс не удается.

Вот сведения по основным университетам на 1864 г. Кафедра остается вакантной в Дерпте и Харькове. В Новороссийске «ожидается прибытие преподавателя». В Киеве раздельно читают курсы итальянской, испанской, французской литератур. В Санкт-Петербурге, после нескольких лет пустования, кафедра занята доцентом Бауэром (по рекомендации известного классика Куторги).

В Казани курс «общей литературы» читается специалистом по русской литературе (автором известной книги о Сумарокове) профессором Буlichem. То же и в Москве: первым лектором по всеобщей литературе оказывается знаменитый русист – Ф.И. Буслаев. О нем известно (в том числе и из воспоминаний его бывшего студента Веселовского), что Буслаев был одним из первых, кто в своем курсе русской литературы широко прибегал к всемирным аналогиям: «Песнь о нибелунгах», Данте, Сервантес. Так что Буслаев имел полное право на новый курс. Он его читал, но кафедра, тем не менее, числилась

вакантной! На нее в 1870 г. (по рекомендации Буслаева) был приглашен Александр Веселовский. Однако своей *alma mater* он предпочел столичный университет – в Санкт-Петербурге. А в Москве первым постоянным профессором всеобщей литературы станет в 1872 г. соученик Веселовского – первый российский шекспировед Н.И. Стороженко.

Простой ответ на простой вопрос сложился теперь сам собой, т. е. исторически: *сравнительный метод исследования возник одновременно с обновленным методом изучения и преподавания, известным ранее всего как мировая литература (Weltliteratur)*. Термин звучит по-немецки в силу приоритета Гете, образовавшего его по аналогии с гердеровской идеей всемирной истории (*Weltgeschichte*).

Во все время существования компаративистики, то с большей, то с меньшей степенью остроты, пытались определить ее теоретический статус. Вначале в сравнительном подходе увидели возможность нового, широкого и непредвзятого, обращения к литературным фактам, не отягощенным предписаниями поэтики и риторики, которые все еще оставались «параграфом школьного знания».

Минус – теория дает надежду на возможность новых обобщений. Новой поэтики? Это слово было настолько чревато старыми предрассудками, что к нему шли трудно. Предпочитали какие-то другие варианты. Вначале – и довольно надолго – возобладали (что было предсказуемого в XIX столетии) исторический вариант: сравнительный подход в качестве *метода истории литературы как науки*. Именно так поставил вопрос в России А.Н. Веселовский еще в 1870 г. при начале курса истории всеобщей литературы.

С момента возникновения сравнительный метод мыслился как инструмент для создания истории всеобщей / мировой литературы. Задача виделась грандиозной, но конкретная работа компаративиста постепенно свелась к предварительному сбору материала, ограниченного бинарными связями литератур, – с глазу на глаз. Это направление, известное позже как «французская школа», оставалось доминирующим вплоть до 1950-х гг., когда разразился «кризис компаративистики».

Однако задолго до кризиса в разное время и в разных странах звучали слова порой весьма энергичного протеста. Известный как основоположник итальянской компаративистики, Артуро Фаринелли избрал для этого в 1930 г. весьма, казалось бы, неподходящий повод – свое участие в сборнике, посвященном одному из патриархов французской школы – Фернанду Бальдансперже. О попытках писать историю мировой литературы он говорит с южной страстью как о «фантастических, тщетных, глупых свалках фактов и цифр». Забывать пространство мировой литературы фактическими данными, чтобы потом нарезать его на периоды, Фаринелли находит столь же схоластическим занятием, как другой итальянец его поколения – Бенедетто Кроче – полагал бесперспективным прибегать к жанрам и прочим категориям старой поэтики. Мысля новую эстетику «как общую лингвистику», Кроче не отвергал сравнительного подхода, поскольку

помнил, что тот возник в области языка (сравнительная грамматика). А значит, компаративистика – это сравнительная или общая лингвистика, т. е. новая эстетика. Но никак не история литературы.

Если «эстетика как лингвистика» – тезис, которым запомнился Кроче (в числе первых угадав основное направление поэтики XX в.), то многие, и не имея столь амбициозной позитивной программы, одновременно с ним были готовы согласиться, что понимание компаративистики как истории литературы – явное преуменьшение ее значимости и возможностей. Одни говорили о ней как о новой филологии, другие сетовали, что она пренебрегает «критическим подходом», т. е. не судит литературу с точки зрения вкуса. Следы спора между американской и французской школой можно обнаружить, по крайней мере, на полвека раньше, чем разразился «кризис компаративистики». Еще в 1905 г. прозвучала критика в адрес тогда недавно умершего Гастона Париса за то, что, понимая компаративистику как «установление связей между отдельными произведениями и периодами», он пренебрег «развитием критических идей» [Smith 1905: 1]. Этот упрек означал, что французский компаративист проходит мимо поэтической природы слова.

К этому же самому и даже несколько более раннему времени относятся первые попытки связать сравнительный подход с делом создания новой поэтики: «Автор – сторонник историко-сравнительного метода; что новая поэтика создается именно в этом направлении – утверждаю и я...», – так по поводу посмертно опубликованной «Поэтики» (1888) немца Вильгельма Шерера писал Александр Веселовский в «Определении поэзии», предназначенном быть первой частью его собственной «исторической поэтики» [Веселовский 2006].

О «Поэтике» Шерера Веселовский говорил как о «единственной книге», в которой он нашел встречные себе идеи: «...по крайней мере что касается до общей части моего курса». Однако он не был удовлетворен половинчатостью решений: «... у Шерера историческая точка зрения нередко сталкивается с умозрительной, Аристотель – с этнографическим наблюдением, школьные категории – с выводами, которым среди них нет места» [Веселовский 2006].

Новая поэтика получила оправдание в глазах ее создателей, когда она была осознана в оппозиции к старой, «умозрительной», и признана способной подвести итог современному опыту, соединив «историческую точку зрения» с «этнографическим наблюдением» и «историко-сравнительным методом. Список междисциплинарных союзников никогда не может быть закрыт.

Мыслью о сравнительном методе должна была открываться первая часть «Исторической поэтики» – «Определение поэзии»: «Давно чувствуется потребность заменить ходячие «теории поэзии» чем-нибудь более новым и цельным, что бы отвечало тем потребностям знания, которые вызвали в наши дни сравнительно-историческую грамматику и сравнительную мифологию. Указав на эти дисциплины, я с тем вместе определил задачи, материал и метод новой поэтики». И затем со всей определенностью: «Метод новой поэтики будет сравнительный» [3].

Декларировать в науке – это одновременно много и мало. Замысел может быть сам по себе открытием, но он не гарантирует исполнения. Веселовский продвинулся в создании исторической поэтики достаточно далеко, чтобы можно было сказать о том, что методологическое намерение не осталось пустым обещанием.

Самый беглый взгляд, брошенный на текст «Исторической поэтики», убедит, что подход к материалу у Веселовского не какой-либо еще, а сравнительный. Одна из причин, по которой далеко не каждое издательство решится на издание «Исторической поэтики», – ее многоязычие. Сотни примеров на десятках языков, старых и новых. Количество ошибок и, следовательно, количество версток, с которыми работал десяток корректоров, задержало издание 2006 г., по крайней мере, на пару лет. А предшествующее издание 1989 г. просто избавилось от большинства примеров ввиду их недоступности для современного не только читателя, но даже филолога. Путь простой, но не лучший, поскольку он меняет представление не только о материале, с которым работал Веселовский, но и о его методе теоретика и компаративиста. Как теоретик Веселовский мало похож на современных коллег. Количество терминов, которым он пользуется, – минимально. Максимально – число примеров, таких, которые не позволят упрекнуть его ни в европоцентризме, ни в желании ограничиться современностью.

Веселовский скорее знаменит другим (и за другое порой осуждаем) – он начинает из глубокой древности, из той поры, где искусство слова еще не выросло из обряда и мифа, где слова «не крепки тексту». Казалось бы, там компаративисту еще нечего делать, но именно в глубине синкретизма Веселовский выстраивает типологические модели поэтических форм и формул. Стадия, на которой их самозарождение сменяется более сложными процессами миграции и заимствования, наступает позже и рассматривается в другой части «Поэтики» – «Поэтика сюжетов».

Когда В.Я. Пропп, наиболее глубокий и творческий продолжатель Веселовского, полагал, что «разделение мотива и сюжета представляет собой огромное завоевание», он мотивировал это тем, что «оно создает условия для научного анализа сюжетов, анализа их состава и дает возможность ставить вопросы генезиса и истории» [Пропп 2000: 102]. На языке современной науки можно сказать, что Пропп оценил достижение Веселовского в контексте нарратологии. Но его можно (и нужно) оценить в контексте компаративистики, поскольку, разделяя мотив и сюжет, Веселовский определяет, на каком уровне развития повествовательной формулы осуществляется ее заимствование: мотивы самозарождаются, сюжеты открыты для миграции.

«Поэтика сюжетов» – последний раздел «Исторической поэтики», над которым работал Веселовский. Текст был собран и издан после него в том неполном, незавершенном виде, в каком его оставил автор. В плане «Исторической поэтики» «Поэтика сюжетов» – третий раздел второй части. Четвертым разделом этой же второй части должна была быть «История идеалов». А последней, чет-

вертой частью всей «Исторической поэтики» – «Краткая история поэтических родов». Это то, что написано не было, но мы имеем возможность судить по плану «Исторической поэтики» и по другим, более ранним работам ученого, в каком направлении он двигался, следуя сравнительно-историческому методу.

Там, где Веселовский употреблял слово «род», мы обычно ставим слово «жанр». Там, где он говорил об «истории идеалов», впоследствии будут говорить об истории или биографии идей. *Сюжеты, идеи, жанры* – это основные герои компаративных исследований. Но путь, намеченный Веселовский, был определен тем, что он пролегал в пределах, обозначенных словом «поэтика». В этом – его отличие, и в этом – его приоритет.

Первый из «идеалов», который Веселовский называет в плане как заслуживающий исследования, – *Naturgefühl*, чувство природы. К тому времени, когда Веселовский поставил задачу, ее уже начали осуществлять. Самым известным и общим исследованием были книги Альфреда Бизе, опубликованные по-немецки соответственно в 1884 и 1887 гг.: «Развитие чувства природы у греков и римлян» и «Развитие чувства природы в Средние века и Новое время» (русс. пер.–1890). Однако и до книг Бизе свет увидел ряд более частных исследований, относящихся к отдельным национальным традициям и писателям.

Историей идей на материале античности еще при жизни Веселовского занялся знаменитый классик Ф.Ф. Зелинский: сначала он печатал статьи в журналах, а в 1904 г. выпустил в свет первый сборник «Из жизни идей» (см. современное переиздание – СПб.: Алетейя: Логос, 1995).

Но наиболее памятное оформление этот исследовательский принцип получил в США в 1920-х гг. в так называемой школе биографии идей. До сих пор издается «Журнал истории идей» («*Journal of the History of Ideas*»), выпущена пятитомная энциклопедия (*Dictionary of the History of Ideas. Studies in the Pivotal Ideas. 5 vols. 1973*). Сделано много по изучению генезиса и бытования того, что в этой школе называют «unit ideas», т. е. «элементарные идеи». Такова принципиальная исследовательская установка, указывающая на то, что основоположники школы по преимуществу – представители естественных наук. Позитивистское стремление разделять и классифицировать сопровождает это направление.

План «Исторической поэтики», в который включена «История идеалов», у Веселовского, как и принципы его работы, дает основание предполагать, что и здесь он поступил бы иначе, уходя от позитивизма в стремлении строить свою поэтику как науку о духе (если употребить терминологию XIX столетия) или как «поэтику культуры», не забывающую однако о специфичности составляющих ее текстов. Ведь именно с этого, с постановки проблемы литературной специфики, начал Веселовский «Из введения в историческую поэтику»: «История литературы напоминает географическую полосу, которую международное право освятило как *res nullius* (имущество, не имеющее хозяина), куда заходят охотиться историк культуры и эстетик, эрудит и исследователь общественных идей...» [Веселовский 2006].

Итак, вспомним еще раз ряд, который выстраивает Веселовский: сюжеты, идеи, жанры... Он успел показать в рамках «Исторической поэтики» лишь то, как следует компаративно изучать сюжеты. За ее пределами есть работы и о жанрах (о романе прежде всего), и об идеях (например, «Женщина и старинные теории любви», о «поэтике розы»). Перенесенные в пространство «Исторической поэтики» эти исследования также, вероятно, получили бы несколько иной поворот. Так, идеи и мотивы, «отвечающие на запросы первобытного ума» (например, бой отца с сыном), подводят Веселовского к анализу формы эпоса, внутри которого они, прежде всего, обретают сюжетное завершение. Можно сказать, что Веселовского интересовала *жанровая судьба сюжетов и идей*.

На вопрос «зачем сравнивать?» «Историческая поэтика» подсказывает такой вариант ответа: затем, чтобы восстановить хронологию запросов человеческого ума (как мог бы выразиться Веселовский) или эволюцию культурного сознания; затем, чтобы научиться восстанавливать эту эволюцию, понимая язык текстов, в которых сохранена для нас жизнь сознания, т. е. их поэтику.

В ее основе – сравнительно-исторический метод, ибо только в пространстве мировой литературы открылись возможности увидеть культурные закономерности, осознать их во всей полноте их изменчивости, вариативности. Лучший пример тому – идея, которая подтолкнула к возникновению сравнительно-исторического изучения литератур – идея всемирной истории. Если она была сформулирована философом в конце XVIII столетия, то это не значит, что как «запрос ума» и сюжетно оформленный ответ на него она не возникла гораздо ранее. Для Веселовского предметом многолетнего интереса был миф о «мировой империи», последнее добавление к которому на то время обеспечил Наполеон. То, что в просветительской идее выглядит утопией благоденствия (обмен товарами и идеями), в свете мифа приобретает более приближенную к реальности окраску – силы и жестокости, обеспечивающих безграничность власти.

По неслучайному стечению обстоятельств впервые, как сегодня полагают, словосочетание «*litterature comparee*» появилось именно по-французски как название серии учебных антологий «*Cours de litterature comparee*», опубликованных в 1816 г. [Bassnett 1993: 12]. Первый компаративист современности – Наполеон, наглядно доказавший проницаемость любых национальных границ и продемонстрировавший единство мира в рамках своей империи, всего лишь два года как сошел со сцены мировой истории на поле Ватерлоо.

И много спустя – после возникновения просветительской утопии – идея мировой истории наиболее неопровержимо продолжала доказывать свою реальность в завоеваниях, войнах, вскоре получивших название мировых, а со второй половины XX столетия – во всемирной разрушительности нового оружия. «Мы все живем в одном мире, так как в нем есть атомная бомба», – сформулировал этот закон английский писатель и общественный деятель Чарлз П. Сноу. Когда он говорил, более мощного оружия, чем атомная бомба, изобретено еще не было.

С тех пор – с середины прошлого столетия – было предпринято немало усилий объединить мир и более мирными средствами, осуществив тем самым идею всемирности, которую перевели в иные термины и назвали «глобализацией». В этом переводе, кстати сказать, была утрачена историческая преемственность; вновь наша ситуация оказалась совершенно исключительной, как и ее проблематика [Шайтанов 2005][4]. Исключительного в ней, действительно, немало, но далеко не все. Если бы политик обратился к компаративисту, то он бы получил дифференцированное представление о проблемах: и о тех, с которыми уже сталкивались в контексте всемирной истории, и о тех, которые порождены нами или в наше время.

То, что ново, очень отчетливо проступило при попытке перевести на новый терминологический язык понятие «мировая литература». Получилось: «global literature». Что потерялось или что было приобретено в этом переводе? Новейший американский исследователь «мировой литературы» Дэвид Дэмрош полагает: «Подчеркивая формирующую силу местного контекста, я хотел бы провести различие между «мировой литературой» и обретшей силу понятия «глобальной литературой», которую читают лишь в международных аэропортах и которая не зависит ни от какого контекста» [Damrosch 2003: 25]. «Мировая литература» предполагает всемирную связь разных национальных литератур; «глобальная» обозначает всемирное чтение, лишенное культурных корней. Наступление эпохи мировой литературы приветствовал Гете. Ее замена на «глобальную» подобна отказу от французской, мексиканской, японской или любой другой кухни в пользу всемирного Макдональдса.

Мировая литература породила компаративистику. Глобальная может означать ее конец, поскольку сравнение возможно лишь там, где сходное обнаруживает себя в несходном. Остается надеяться, что глобализация, как бы далеко она ни зашла в области экономики и политики (мы все живем в одном мире), пощадит культуру хотя бы до степени «глокализации»: глобализация + локализация [Высоцкая 2004].

В таком случае вопрос «зачем сравнивать?» сохранит свою актуальность не только в контексте мировой истории, но и мировой современности. Возможно, он переживет еще один кризис, носящий сегодня отнюдь не только частнонаучный характер.

Литература

- Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика. М.: РОССПЭН, 2006.
- Высоцкая Н. Транскультура или культура в транс // Вопросы литературы. 2004; № 2. ЖМНП. 1863. Февраль. Ч. 117. Отд. II. С. 152.
- Западное литературоведение XX в.: энциклопедия. М.: Intrada, 2004. С. 189.
- Казанова П. Мировая республика литературы. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 2003.

- КЛЭ. Т. 7. М.: Советская энциклопедия, 1972. С. 126-130.
- Лотман Ю.М. К построению теории взаимодействия культур (семиотический аспект) // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. Таллинн: Александра, 1992.
- Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. М.: Издательство Кулагиной: Intrada, 2008.
- Пропп В.Я. Русская сказка. М.: Лабиринт, 2000.
- Тынянов Ю.Н. Тютчев и Гейне // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.
- Шайтанов И. Триада современной компаративистики: глобализация – интертекст – диалог культур // Вопросы литературы. 2005. № 6.
- Bassnett Susan. Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford: Blackwell, 1993.
- Damrosch David. What is World Literature? New Jersey: Princeton UP, 2003.
- Levin H. Comparing the Literature? // Yearbook of Comparative and General Literature. 1968. № 17. P. 5.
- Smith G. Gregory. The Modern Language Review. 1905. V. 1. № 1. P. 1
- Weisstein Ulrich. Lasciate Ogni Speranza: Comparative Literature in Search of Lost Definitions // Yearbook of Comparative and General Literature, 37 (1988). P. 99.
- Wellek R. The Concept of Comparative Literature // Yearbook of Comparative and General Literature. 1953. № 7 (V. II). P. 3.

Примечания

1. «Разумеется, сравнение подобного рода представляет не особый метод в собственном смысле, поскольку различие методов (то, что мы называем методологией) есть различие принципов научного исследования, обусловленных мировоззрением данного научного направления. Сравнение относится к области методологии, а не методологии: это методический прием исторического исследования, который может применяться с разными целями и в рамках разных методов, однако является необходимым для любой исследовательской работы в области исторических наук. Поэтому нельзя противопоставлять «марксистский метод» «сравнительному методу» и не следует вообще, во избежание недоразумений, говорить о «сравнительном методе» или о «сравнительном литературоведении» как об особой науке со своим методом. Марксистский метод можно и следует противопоставлять формалистической, механической компаративистике, которая до сих пор имеет очень широкое распространение в зарубежном литературоведении и отражает специфические особенности его методологии» (1960). – Жирмунский В.М. Проблемы сравнительно-исторического изучения литератур // Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. Л.: Наука, 1979. С. 67.

2. Подробнее о судьбе исторической поэтики, ее замысле и составе см.: Шайтанов И. Классическая поэтика неклассической эпохи // Вопросы литературы. 2003. № 4; Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика / сост., вступит. стат., коммент. И.О. Шайтанова. М.: РОССПЭН, 2006.

3. Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика. С. 83. В этом издании, где работы, составившие историческую поэтику, впервые расположены по плану А.Н. Веселовского, «Определение поэзии» впервые включено в ее состав.

4. См. подробнее: Шайтанов И. Триада современной компаративистики: глобализация – интертекст – диалог культур // Вопросы литературы. 2005. № 6.

«ИСТОРИЯ МОСКОВИИ» МИЛЬТОНА. У ИСТОКОВ МИФОЛОГЕМЫ О РУССКОМ ХАРАКТЕРЕ

Е.Н. Чернозёмова

Мифологическая структура вполне естественна, если речь идет о восприятии чужой и незнакомой, удаленной и таинственной страны...

Н.П. Михальская
[Михальская 2003: 125]

Трактат Мильтона «Краткая история Московии и других малоизвестных стран, лежащих на восток от России» представляет несомненный интерес, не только для историков культуры, но и для литературоведов. Трактат интересен тем, что запечатлевает и формирование в сознании европейцев мифологемы о русских, их образе жизни, национальном характере, и становление жанра исторического трактата.

Проблематика темы «Мильтон и Россия» содержит ряд актуальных для современного литературоведения вопросов. В их числе – почему произведения, пользовавшиеся большим успехом у читателей на Западе, не обретают должной популярности в России, зачастую оказываются лишены внимания литературоведов, не включенными в учебные программы курса истории литературы. Между тем, место такого рода произведений в историко-культурном и литературном процессе подчас достаточно важно, и рассмотрение их плодотворно как в исследовательском плане, так и в учебном процессе.

К числу произведений, остающихся вне поля зрения широкого русскоязычного читателя, относится «История Московии» Дж. Мильтона, впрочем, как и его великие поэмы. Сейчас сосредоточимся на трактате Мильтона, жанре, не относящемся собственно к литературе художественной.

Нельзя сказать, что это произведение вовсе обойдено вниманием критики. Ему посвящены специальные статьи, но чаще историков, чем литературоведов [См. список литературы]. Но, тем не менее, интереснейшее произведение, способствующее осознанию россиянами того, как и почему их образ сформировался у европейцев, остается малоизвестным и по-настоящему не востребованным читателем.

В этой связи встает другая проблема, не менее важная

В современном сознании укоренились мифологизированные представления о национальных характерах. Каковы истоки мифологизированного представления о русских? Как воспринималась Московия европейцами XVII века? Почему трактат о Московии, составленный выдающимся английским писателем, не становится предметом изучения филологов и не вводится в вузовские курсы? Каково место трактата в литературном процессе?

Ключевые слова: имагология, трактат, литературный быт, историческое, сказочное.

и актуальная, – объяснить, почему не происходит встречи широкого российского читателя с произведением, прямо его касающегося. Причины, препятствующие осуществлению такой встречи, по-видимому, лежат, вовсе не в области временной дистанционности или трудностях, сопряженных с проблемами перевода.

Текст «Московии» был переведен на русский язык в XIX в. Е.П. Карновичем и опубликован в «Отечественных записках» 1860 г. Сегодня русскоязычному читателю доступен перевод «Истории Московии» на русский язык, выполненный Ю.В. Толстым в последней четверти XIX в. (1875), через два с четвертью века после ее написания и почти ровно через два века после первой публикации, которая состоялась через восемь лет после смерти Мильтона. Перевод Ю.В. Толстого оказался весьма качественнее предшествующего ему перевода Карновича, в котором Ю. Толстой нашел многочисленные ошибки и сопроводил свой анализ уточнениями и комментариями.

Уточненное исследование времени создания трактата показывает, что он создан между концом 1649 и 1652 г. [Лимонов 1979], т.е. в середине XVI в., в момент разрыва дипломатических и торговых отношений между Англией и Россией, и написан зрелым Мильтоном, который преследовал несколько целей. Во-первых, Мильтон создавал

трактат как образец, следуя которому нужно писать о жизни государств. Сам автор в предисловии к трактату отмечает, что многие источники не удовлетворяли его то неоправданными длиннотами, то излишней скороговоркой. Мильтона, видимо, заботила полезность и увлекательность составляемого им материала. Образец политико-географических сведений о государствах нужен был для решения образовательных целей, для просвещения нации, что следует из трактата Мильтона «О воспитании» (1642). В этом состояла вторая функция трактата. Милтон стремится показать согражданам историю дипломатических отношений Англии и России, роль национальных характеров и традиций и значения их несовпадения для становления культурных связей. Историк Ю.А. Лимонов вскрывает третью функцию – политический мотив появления трактата, который объясняет, почему для образца написания истории государства была выбрана именно Россия. «Я начал с Московии, как с самой северной из Европейских стран, почитаемых образованными (civil – E. Ч.)», – пишет Милтон [Московия Джона Мильтона 1875]. Ю. Лимонов усматривает одну из функций трактата в привлечении внимания русских к сути событий в Англии, в желании провести параллели между событиями великой смуты в России, приведшей в итоге на престол Михаила Романова, и революцией Кромвеля. Историк обращает внимание на миссию лорда Колпепера – посланца принца Чарльза, будущего Карла II, к царю Алексею Михайловичу за субсидиями в поддержку предстоящего военного похода на Англию и Реставрации. Трактат будто бы взывал не помогать представителю свергнутой династии [Лимонов 1979].

В трактате содержится становление мифологемы о русском характере, вырастающей из наблюдений за образом жизни, общественным укладом московитов, в котором отмечается бесправие простолюдинов: «Каждый дворянин имеет право суда и расправы над людьми, поселенными на его землях» (Every gentleman hath rule and justice over his own Tenants), слабость правосудия: «Законников у Русских нет (They have no Lawyers): каждый из тяжущихся сам ведет свое дело (but every man pleads his own Cause) или письменно излагает свое прошение или свой ответ, и лично вручает Великому Князю (to the Duke); несмотря на это, правосудие мало соблюдается, по причине лихоимства мелких Приказных», произвол и лихоимство властителей, существующие на самом высоком уровне: «Количество доходов Государя зависит от его произвола и оттого, что могут заплатить его подданные: он не гнушается самыми грубыми средствами собирать с них деньги. В каждом порядочном городе есть питейный дом (drunken Tavern), называемый корчмою (Cursetay), который Царь отдает или на откуп, или в награду за службу какому-нибудь Боярину, или Дворянину: Боярин этот делается на время властелином города, грабит и обирает жителей сколько ему угодно; когда же он обогатится, то его посылают, на его собственный счет, на войну, и там выдавливают из него его дурно приобретенное богатство: таким образом, ведение войны не стоит Царю ничего, или стоит ему очень мало» [Московия Джона Мильтона 1875].

Те же наблюдения со своеобразными выводами из-

лагает немецкий юрист С. Пуфендорф в «Истории замечательнейших государств современной Европы» (1667), которую он создает чуть позже Мильтона, пытаясь воспроизвести особенности правления и государственного устройства ряда стран. Не являясь собственно художественной по замыслу, как и трактат Мильтона, книга Пуфендорфа при описании национальных характеров также отражает складывающиеся мифологемы. Пуфендорф отмечает: «Российский народ склонен к пьянству, поэтому все питейные заведения приносят казне большой прирост» [Пуфендорф 1718, 1723].

Указывая на своеобразие отношений русских к войне и военным действиям, Милтон отмечает: «Они сражаются без порядка (they fight without order) и неохотно вступают в сражение (nor willingly give battle), а воюют хитростью и засадами (but by stealth and ambuth). Именно хитрость отмечена как национальная черта русских и в испанском романе-трактате XVII в. Б. Грасиана «Критикон» (E1 criticon, 1649 – 1658), появившемся примерно в одно и то же время с трактатом Мильтона. Глава «Торжище Всесветное» (кризис XIII, части I) у Грасиана открывается притчей, соотносимой с мифологемой о ящике Пандоры: женщина, нарушив запрет Бога, из любопытства отомкнула подземелье, где были заключены беды, и они разлетелись по свету. Перечисляя географически точно их местонахождение, Грасиан дает одну из первых в литературе характеристик национальным характерам, в том виде, в котором они сформировались в сознании человека XVII в. Гордыня, по его утверждению, забралась в Испанию (ее сопровождают любовь к себе и презрение к другим, чванство, заносчивость, тщеславие), алчность со своими родственниками скупостью, малодушием, трусостью, торгашеством заняла Францию, ложь с обманом, надувательством, кознями и плутнями прошла по всей Италии, гнев забрел в Африку, чревоугодие и пьянство – в Германию, непостоянство обосновалось в Англии, простоватость – в Польше, неверность – в Греции, варварство – в Турции, жестокость – в Швеции, несправедливость – в Татари, изнеженность – в Персии, трусость – в Китае, дерзость – в Японии, хитрость – в Московии, лень опоздала и, найдя все места занятыми, перебралась в Америку к индейцам [Грасиан 1981: 181-182].

Хотя в предисловии Милтон и называет Московию культурной, образованной страной (civil), в характеристике нравов московитов возникают отнюдь не цивилизные оттенки: «Они невежественны и не допускают учения среди себя (They have no Learnin, nor will suffer to be among them); величайшая приязнь основана на пьянстве (their greatest friendship is in drinking); они величайшие болтуны (they are great Talkers), лгуны (Lyars), льстецы (Fletters) и лицемеры (Dissemblers), чрезвычайно любят грубую пищу (They delight of gross Meats) и вонючую рыбу (pouysom Fish), питье их несколько лучше; ибо заключается в разных сортах меда (Meath)». Нищета бедняков противопоставляется роскоши царских приемов и пиров [Московия Джона Мильтона 1875].

В такой характеристике каждое положение достойно комментария. Остановимся на необразованности московитов. В написанной задолго до Мильтона книге «О Госу-

дарстве Русском» посланника (1588) Дж. (Джайлса) Флетчера (1546 – 1611) отмечалось, что для управления людьми выгодно лишать людей образования и в Московии «цари уничтожают все средства к его улучшению» [Флетчер 1906; Михальская 2003: 21-23]. И, тем не менее, русские ценят образованность. Об этом свидетельствует утверждение С. Пуфендорфа о том, что русские высшим искусством считают умение читать и писать, которое может быть прочитано как ироничное: научиться писать и читать для русского – высший предел. Но есть в таком утверждении и возможность другого, высокого прочтения, которое объясняет во многом и само состояние русской словесности XVII в.. В то время как европейская литература пережила период Возрождения – этап узаконенной игры словом, осознававшейся как доблесть, – и пришла к пониманию того, что сакральное отношение к слову – не дикость, а мудрость, – в России продолжало сохраняться высокое отношение к слову; трудно приживалась легкая изящная словесность. Слово было или овеяно традицией духовной письменности или тяжеловесно-площадной народной оценочностью. Авторского, психологического свободного слова не существовало именно потому, что «читать и писать» считалось высшим искусством. В XVII в. Россия мучительно искала общее культурное пространство, в котором сошлись бы и начали взаимодействовать духовная и светская словесная традиции. И может быть сама длительность и тщательность, с которой велся этот поиск, и послужили основой тому бурному всплеску развития русской словесности, который произошел в начале XIX в. и повлиял на все, что происходило в дальнейшем.

Для лондонцев, живущих на одной параллели с современным Харьковом, русский север ассоциируется с непереносимым холодом, и не всегда ясно, что они имеют в виду, когда сообщают: «зимой там до того холодно, что в дровах, горящих на огне, сок замерзает, капая с конца, противоположного зажженному» (so cold in Winter, that the very Sap of their Wood-fevel burning on their fire, Freezes at the Brands end where it drops) [Московия Джона Мильтона 1875] – идет ли здесь речь о плавящейся на углях смоле или подтаивающих на огне обледеневших поленьях. Факт или художественное преувеличение скрывается за сведениями о том, что корабельщикам в первый приезд англичан в Россию, «холод до такой степени захватывал дух, что на переходе только от своих кают до люков они падали, как бы задохнувшиеся» [Флетчер 1906: 128]. Привычка к стуже, по наблюдениям англичан, формирует особый тип русского характера: «Удивительно терпеливо переносят они стужу и дурную пищу; ибо в такую пору, когда земля покрыта обледенелым снегом глубиною в ярд, рядовой воин проводит месяца по два в поле без шатра или навеса над своей головой: развесит только свой плащ с той стороны, откуда дует непогода, разведет огонек, и ложится перед ним спиной к ветру; пьет холодную воду из реки, смешанную с овсяной мукой, и это вся его пища; конь его кормится древесными сучьями (Green Wood) и корою (and Bark), все время остается в открытом поле и, не смотря на то, отправляет свою службу» [Московия Джона Мильтона 1875]. С. Пуфен-

дорф также отмечает, что внешне россияне «великотеlesны», крепки и хорошо переносят различные неудобства, тяжелый труд, голод и холод.

Мильтон стремится выявить, как личные качества и характер английского посланника влияют на становление отношений между двумя государствами. Как уважение и даже восхищение к мужеству посланника и его верности интересам своей королевы побеждают, и несовпадения в понимании церемониала русскими и англичанами уходят на второй план. В трактате описан прием английского посланника королевы Елизаветы сэра Еремея Бауса (Sir Jerom Bowes, 1583) при дворе Ивана Грозного. Русского царя Мильтон по сложившейся в Европе традиции называет по второму имени – Васильевич (Emperour Vasilievich). То же имя – Базилио (Василий) – находим в отношении Ивана Грозного в пьесе 1617 г. Лопе де Вега «Великий князь Московский, или Преследуемый Император» (El gran duque de Moscovia, 1616). Лопе основывался на труде 1606 г. испанского историка. Русский царь, – пишет Мильтон, опираясь на опубликованные воспоминания, – предложил посланнику сесть «на приготовленное для него место, шагах в десяти (от престола) и оттуда прислать ему грамоту и подарок Королевы» через боярина. Англичанин вопреки указанию направился к престолу, преградившему ему путь боярину сказал, что королева ему ничего не писала, и вручил послание царю. В ходе следующих приемов сэр Баус прямо отвечал на вопросы царя, отстаивая честь своей королевы, чем порой вызывал его негодование. Однажды взбешенный царь сказал, что «не будь тот Послом, он бы его выкинул за дверь», на что сэр Баус заявил, что королева сумеет ответить за обиду, нанесенную посланнику. Царь приказал ему немедленно идти домой, а когда гнев прошел, с похвалой отзывался стоявшим при нем о посланнике, увеличил его содержание, изъявил желание познакомиться с догматами Англиканской веры и, отозвавшись о них с похвалой, приказал прочесть их своим Боярам [Московия Джона Мильтона 1875].

Несмотря на наличие в трактате столь подробно описанных эпизодов, в нем прослеживаются традиционное для древнего эпоса совмещение исторических и мифологических, а подчас и сказочных начал. Как в «Беовульфе» сведения о битвах даннов соседствуют с историей набегов чудовища Гренделя, так и в трактате середины XVII в. совмещены рассказы об указах царя, дававших льготы английским купцам и разрешавших беспешинную торговлю, со сведениями о том, что русские зимой передвигаются на санях, сидя на шкурах белых медведей. Рядом с рассказами о русских городах возникает мифологизированный рассказ о диковинном для англичан звере «росомахе»: «...эта страна образует равнину, коей северная окраина покрыта огромными пустынными еловыми лесами, где изобилуют черные волки, медведи, буйволы и еще особенный род зверей, называемых росомахами (rossomakka), которых самки рожают, проходя через какое-нибудь узкое место; как, например между двух столбов, и таким образом выдавливая приплод из своей утробы» [Московия Джона Мильтона 1875].

Начав работу над трактатом, Мильтон явно испытывал недостаток в исторической литературе на английском языке. Функцию исторической литературы для широкого пользования в Англии конца XVI в. брали на себя хроники (исторические пьесы) Шекспира. Слово «история» в начале XVII в. в Англии означало «рассказ», «повествование». Даже если речь шла о драме, слово история нередко указывало на генезис пьесы, источником которой было прозаическое повествовательное произведение. Так, «Трагическая история доктора Фауста» (*The Tragical Historie of Doctor. Faustus*) К. Марло (опубликованная в 1604 г.) была создана вслед за переводом на английский язык прозаической «Истории ужасающей жизни и заслуженной смерти доктора Иогана Фауста» И. Шписа, созданной по мотивам немецких народных книг, «Достойнейшая история монаха Бэкона и монаха Банги» (*Honourable Historie of Frier Bacon and Frier Bongay*, 1594) Роберта Грина – вслед за прозаической «Знаменитой история брата Бэкона» (*The Famous Historie of Fryer Bacon*), приблизительно в 1555 г. (отметим, к слову, что это год второй экспедиции Ричарда Ченслера в Россию и основания в Лондоне торговой «Московской компании», состоявшей из британских купцов). В основе «Шотландской истории короля Джеймса IV» (*The Scottish History of King James the Fourth*, 1591, публ. 1598) Роберта Грина также лежит прозаический источник.

Мильтон называет 19 источников, которыми пользуется при составлении текста трактата. Он опирается на записки путешественников и купцов, дневники английских посланников в Россию, т. е. обращается к не собственно художественной, но деловой, документальной литературе, или, по выражению Ю.Н. Тынянова, к материалам литературного быта. В числе источников, используемых Мильтоном: дневник сэра Гега Уилоби, рассказ Р. Ченслера, К. Адамса, составленного со слов Ченслера, заметки Р. Джонсона, слуги Ченслера, путешествия Дженкинсона, дневники Посланника Рандольфа и сэра Еремея Бауса, «Путешествия в Печору Гордона из Гуля» и В. Персглова, «Венчание Феодора», писанное Е. Горсеем и другие сообщения, опубликованные в общей сложности в трех популярных изданиях. В числе авторов, на которых ссылается Мильтон, были люди, не понаслышке знавшие о России. Так, Гросий создал первые словесные портреты Грозного и Федора Иоанновича, преподавал в Москве латынь и написал для будущего патриарха Филарета латинскую азбуку русскими буквами. Его мемуары использовал Карамзин для «Истории государства Российского». Историки литературы отмечают сходство Горсея с героем Шекспира Джоном Фальстафом; кроме того, фамилия, похожая на «Горсей», встречается у одного из персонажей пьесы Шекспира «Бесплодные усилия любви», время написания которой почти совпадает с отъездом Горсея в Москву.

Исследователи констатируют, что более всего Мильтон изучал и перерабатывал свидетельства, касающиеся времен ЛжеДмитрия, и менее всего обрабатывал материалы о Сибири и путях в Китай (Катай – Cathay). Последним в списке значит описание путешествия Т. (Фомы) Смита (*Thomas Smithes*), представляющее события Смут-

ного времени. Несмотря на то, что переводчик «Истории Московии» на русский язык Ю. Толстой относится к знаниям Мильтона о Московии скептически, отмечая, что все 19 указанных им источников содержатся в трех книгах (одна из которых составлена Перчесом), которыми автор трактата пользуется. Нельзя сказать, что к середине XVII в. Россия для англичан является вовсе неведомой. К этому времени налажена торговля пенькой, медом, мехами; в Россию приглашены британские врачи, аптекари, мастера по добыче металла, специалисты строительного дела, инженеры, золотых и каменных дел мастера, специалисты по отысканию и добыче строительного камня. Это свидетельствует об изменении положения, которое в свое время застал Дж. Флетчер, написав: «Цари (...) стараются не допускать ничего иноземного, что могло бы изменить туземные обычаи» [Флетчер 1906: 128].

Отношение к иностранцам москвитов внешне может выглядеть даже как низкопоклонство: «Когда они сами ездят в чужие края, или когда иностранцы приезжают к ним, то они одеваются очень пышно, иначе даже Царь одевается плохо (*goes but meanly*). (...) Царь не платит вовсе жалованья никому, кроме иностранцев, но за военные заслуги награждает землями в пожизненное владение», – значит в трактате Мильтона [Московия Джона Мильтона 1875]. Однако за таким почитанием кроется, прежде всего, уважение к мастерству. Ясность в этот вопрос вносит глава романа Гриммельсгаузена «Симплиций в Московии» (1670. Кн. 5, гл. 20–22). Напомним, что Симплиций вызван в Московию для того, чтобы руководить работами по добыче серы, необходимой для производства пороха. О нравах москвитов в немецком романе говорится, что существует и уважение к владеющими нужными государству знаниями и умениями, обладающим сведениями о механических художествах, военных машинах, фортификации, артиллерии, производстве пороха и пр., за что их богато одаривали. В эпизоде трактата Мильтона: «Русские (...) ссорились и спорили о том, кому достанется запрячь лошадей в Ченслеровы сани» [Московия Джона Мильтона 1875] (посланника короля Эдуарда, а во втором визите в 1555 г. королевы Марии – Е. Ч.), прослеживается желание угодить скорее царю, милостиво отнесшемуся к прибытию посланника, чем иноземцу, завоевать благосклонность и подавание от монарха, проявляя дружелюбие и учтивость к гостю.

Сведения о России поступали и с юношами, направлявшимися в XVI и XVII вв. на обучения в Оксфорд и Кембридж, Винчестер и Итон. В 1562 г. А. Дженкинсоном была составлена карта России, изданная в Лондоне [*Russiae, Moscoviae et Tartariae... 1562*]. В первой трети XVII в. возник первый словарь «Собрание русских слов», с комментариями и переводом на английский, составленный выпускником Оксфорда Р. Джеймсом (*Richard James, 1592 – 1638*).

В списке источников, составленном Мильтоном, не упомянуты поэмы, пьеса, роман начала XVII в., в которых поэтически были освоены сведения и мотивы путешествий англичан Уилоуби, Ченслера и Дженкинсона в Россию [Михальская 2003: 31]. Так, в XI книге поэмы У. Уорнера (*William Warner, 1558 – 1609*) «Альбион» (*Albion's*

England, 1602) в героической тональности описывалось плавание англичан через холодные моря Лапландии к устью Оби: «Нет, не легко проплыть на Обь, и путь туда далек, / Но смелый Боро там бывал, трудами пренебрег» [Алексеев 1982: 21]. Есть упоминания о плавании англичан по Белому морю и в 19 песне большой в тридцать тысяч строк поэме М. Дрейтона (Michael Drayton, 1563 – 1633) «Poly-Albion» (I часть – 1612, II часть – 1622).

Нет в списке источников у Мильтона и упоминания произведения Т. Лоджа (Thomas Lodge, 1558 – 1625) «Маргарита Американская» (1596), содержащего «элементы неокуртуазного авантюрного романа в прозе и италиянизированной лирической поэмы» [Дмитриева 2002], действие которого было связано с идеализированной выдуманной Москвией с куртуазной аристократией. Такое видение было продиктовано во многом тем, что писатель был сыном сэра Т. Лоджа, богатого купца, олдермена, с 1561 г. управлявшего «Московской компанией» (в 1564 г. ставшего мэром Лондона). Ему были не выгодны нелицеприятные высказывания о Московии, с которой было выгодно налаживать и поддерживать торговые отношения.

В 1618 г. в Лондоне была представлена пьеса Д. Флетчера (Fletcher John, 1579 – 1625) «Верноподданный» (The Loyal Subject), опубликованная в 1637 г. Известно, что пьеса была сыграна в 1633 г. перед королем Карлом I. Ее автор был племянником посланника Дж. (Джайлса) Флетчера (1546 – 1611), автора книги «О государстве Русском». Действие пьесы, в ходе которого оклеветанный воевода (полководец) проявляет верность уверовавшему в клевету князю, происходит в Москве (Muscovy) [Михальская 2003: 32–35]. Происходящее в пьесе созвучно Смутному времени, пьесе Хейвуда (Heywood John, ок. 1497 – ок. 1580) «Царственный монарх и верный подданный» (Royall King and Loyal Subject), исследователи находят связи произведения Флетчера и с пьесой Лопе де Вега «Великий князь Московский». Дж. Флетчер разрабатывает в пьесе проблему верности, вообще характерную для его пьес. Таковы «Трагедия девушки» и «Валентиниан». В отношении к русскому характеру проблема эта остается не разрешенной на страницах книги дяди Флетчера – Джайлса, указывающего на Русь как государство тираническое, без письменных законов и правосудия, где в угнетении находятся люди больших врожденных способностей и природных достоинств. Проблема словно бы перекочевывает в книгу С. Пуфендорф, который отмечает чрезмерную гордость русских и странным образом сочетающуюся с ней раболепие. Пуфендорф высказывается о том, что однако этот народ рабски смиряется перед жестокой властью и любит быть в повиновении. Позже, в XVIII в. тем же качеством, которое покажется раболепием англичанину, представляющему парламентскую страну, будет изумлен герой Д. Дефо, прибывший во второй части романа о Робинзоне Крузо в северные области России. Встретившись там с оклеветанным и сосланным государем дворянином, Робинзон обсуждает с ним возможность побега и не понимает отказа, объясняемого тем, что сбежавшего государь может посчитать в действительности виновным, тогда как дворянин ни в чем не

виноват и останется верным царскому указу, даже видя его несправедливость. Эта странность русских на самом деле была воплощением по-русски переживаемой рыцарственной идеи служения государству и монарху – неписаного закона, при котором знатность и богатство добровольно приносились высшему избраннику во имя крепости страны и отсутствия междоусобиц. Художественная разработка проблемы в пьесе Дж. Флетчера, ведомого законами жанра трагедии, по Л.Е. Пинскому, всегда рассказывающей о состоянии души и сердца, оказалась более ясной, в ней присутствовал дух, отсутствовавший в более приземленном стремлении к зримой объективности записках путешественников и трактатах.

Отсутствие указаний на пьесы у Мильтона не удивительно: воспитанный в пуританских традициях Милтон не уделял внимание театру. Отсутствие указаний на поэмы свидетельствует о том, что Милтон брал тон документалиста, а не художника, к тому же он не был согласен с героизацией походов англичан, одержимых вполне корыстными намерениями: «Открытие России со стороны Северного Океана было впервые сделано изо всех известных нам народов Англичанами, и могло бы казаться подвигом почти геройским, если бы предприятие это было внушено более высоким побуждением, чем чрезмерная любовь корысти и торговли» [Московия Джона Мильтона 1875]. Однако Милтон хочет воздать должное последствиям сделанного открытия и продолжает почти в эвфуистической манере, вскрывающей различные грани и оттенки описываемого явления: «Тем не менее, так как дурные причины часто сопровождаются хорошими последствиями, и так как, благодаря этому открытию, сделались известны многие предметы, не бесполезные для познания природы и другие замечания, то не будет напрасным трудом вкратце рассказать начало и весь ход этого отважного путешествия» [Московия Джона Мильтона 1875].

Нет в списке источников и двух книг, вышедших в Англии в середине и во второй половине XVII в., важных для раскрытия темы, интересующей Мильтона. Объяснение их отсутствия может крыться в том, что один из них «Краткое историческое повествование о Русском государстве, о том, как оно складывалось из 24 великих княжеств в единое государство, начиная с 1514 г.» (1645) создавался в то самое время, когда Милтон работал над трактатом. Книга вышла под инициалами J.F. Второй источник (Сэмюэль Коллинз «Современное состояние России», The Present State of Russia, 1671) появился за три года до смерти Мильтона, когда он был слеп и работал над созданием своих великих поэм.

Закладывая основы жанра английского исторического трактата, Милтон попадает во власть жанровых отношений, позволяющих совмещать в изложении материала полезное и увлекательное, стремится, опираясь на свидетельства очевидцев, выявить духовную составляющую жизни интересующего его народа. Присутствующие в трактате начала дают в свою очередь возможность вырастания и развития двух жанров – собственно исторического трактата с требованием объективных и точных сведений, следующих правилу досто-

верности, и исторической повести и романа как произведений художественной литературы, допускающих вымысел, не противоречащий, однако, духу и логике исторической эпохи.

Литература

Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи. М., 1982.

Алексеев М.П. Сибирь в известиях иностранных путешественников и писателей. Т. I. Иркутск, 1932. С. 291.

Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа. XVII – первая четверть XVIII в. М., 1976.

Бобринская И.Д. Русские глазами англичан (на основе этнокультурных представлений в литературе путешествий XVI-XX вв.) // Вестник МГЛУ. Вып. 525. Языковое сознание как образ мира. Сер.: Лингвистика. 2006. С.49-56.

Грасиан, Бальтасар. Карманный оракул. Критикон / ред. Е.М. Лысенко, Л.Е. Пинский; пер. Е.М. Лысенко. М., 1981.

Дмитриева О.В. Английская фантазия на русскую тему: «Маргарита Американская» Томаса Лоджа (1596) // Россия – Британия: сб. мат-лов науч. конф. Воронеж: ВГУ, 2002.

Левин Ю.Д. Восприятие английской литературы в России: исследования и материалы. Л., 1990.

Левин Ю.Д. Об исторической эволюции принципов перевода: К истории переводческой мысли в России // Международные связи русской литературы: сб ст. / под ред. акад. М.П. Алексеева. М.; Л., 1963.

Лимонов Ю.А. Время возникновения «Истории Московии» Джона Мильтона // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. IX. Л: Наука, 1979.

Лимонов Ю.А. Русские источники «Истории Московии» Джона Мильтона // Проблемы истории международных отношений. Л., 1972.

Михальская Н.П. Образ России в английской художественной литературе IX -XIX вв. М., 2003.

Московия Джона Мильтона / под ред. Ю. Толстого. М., 1875.

Павлова Т.А. Мильтон. М., 1997.

Пуфендроф С. Введение в историю европейскую через Самуила Пуфендорфа на немецком языке сложенное, также через Иоанна Фридерика Крамера на латинский переложенное / пер. Гаврилы Бужинского. СПб., 1718, 1723. (Отдел редких книг РГБ).

Самарин Р.М. Творчество Джона Мильтона. М., 1964.

Сборник научной конференции «Россия – Британия». Воронеж: ВГУ, 2002. Из содержания: Амелькин А.О. Смута в России глазами англичан; Десятков С.Г. Яков Брюс в Англии в конце XVII в.; Дмитриева О.В. Английская фантазия на русскую тему: «Маргарита Американская» Томаса Лоджа (1596); Ивонина Л.И. Русская смута начала XVII в. и Яков I Стюарт; Ковригина В.А. О часовом мастере, приглашенном из Лондона Великим посольством; Lieven D. Aristocracy: Russian and British Models; Лузанов Н.А. Тайная миссия посольства П.С. Прозоровского в Англию в 1662 – 1663 г. ; Моисеев М.В. «Страна Мангат» и ее обитатели в записках Э. Дженкинсона; Ноздрин О.Я. Кавалеры и генералы: случай 1658 г.; Орленко С.П. Чрезвычайный посланник Иван Гебдон в Москве в 1677

– 1678 г. ; Пенской В.В. Британские военные специалисты и русская армия в XVII в.; Полознев Д.Ф. Первая поездка «из англичан в москвичи», или чем обязан Ярославль Британии; Сукина Л.Б. Традиционное благочестие русских в сочинениях английских путешественников и дипломатов XVI века.

Сенци М. Мильтон в России // Русско-европейские литературные связи. М.; Л., 1966. С. 284-292.

Толстой Ю. Заметка по поводу статьи господина Полуденского «Русская история Мильтона» в «Русском Вестнике» 1860. № 2 (апрель) // Чтения Общества Истории и Древностей Российских (ЧОИДР). 1874. № 3. 10 марта.

Трапезников Вл. Торговые сношения англичан с Россией через Северный край в XVI – XVII вв. // Северный Край. Журнал Вологодского Общества изучения Северного Края. 1922. Январь-февраль.

Флетчер Д. О Государстве Русском / пер. с англ. СПб., 1906.

A brief Historical relation of the Empire of Russia and its original growth out of 24 great Dukedoms into one enure Empire since the year 1514. By J.F.

A Brief History of Moscovia and of other lessknow Countries lying eastward of Russia as far Cathay. Gather'd from the writings of several eyewitness. By John Milton. London, 1682.

Собрание редких книг библиотеки Томаса Купера университета Южной Каролины. URL: www.sc.edu/librery/.../hom.html.

Cawley R. Milton's Literary Craftsmanship, a Study of Brief History of Moskovia. N.Y., 1965.

Early voyages and travels into Russia / Ed. D. Morgan.; London, 1886. Vol. 1.

Greene R. The Famous Historie of Fryer Bacon, containing the wonderfull things that he did in his Life: Also the manner of his Death; With the Lives and Deaths of the two Coniurers, Bungye and Vandermast // Minor Elizabethan Drama — The Pre-Shakespearean Comedies / ed. by Ashley Thorndike. В написании сохранены особенности грамматики XVI в.

Purchas. Hakluyt's Posthumus or Purchas his Pilgrimes. Contaning a History of the World in sea-voyages and lande-travels, by Englishmen and others, London, 1626.

Russiae, Moscoviae et Tartariae Descriptio Auctore Antonio Jenkinsono Anglo, edita Londini Anno 1562 et dedicata illustriss. D. Henrico Syndeo Walliae praesidi. 1562.

Thomas Smithes Voiage and Entertainment in Rushia. With the tragicall ends of two Emperors and one Empresse, within one Moneth during his being there. And the miraculous preservation of he now rainging Emperor esteemed dead for 18 yeares. L., 1605.

«Культура России»

URL: <http://www.russianculture.ru/brit/brit4.htm>.

Примечания

1. В современном сознании укоренились мифологизированные представления о национальных характерах. Каковы истоки мифологизированного представления о русских? Как воспринималась Московия европейцами XVII в.? Почему трактат о Московии, составленный выдающимся английским писателем, не становится пред-

метод изучения филологов и не вводится в вузовские курсы? Каково место трактата в литературном процессе? Имагология, трактат, литературный быт, историческое, сказочное.

«МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ» И «МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ СТИЛЬ»: ПРОБЛЕМА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕНОСА

О.И. Половинкина

Литературная мода переменчива, но не случайна. Всякий новый ее поворот отражает потребности культурного сознания, специфику литературного процесса. Английская метафизическая поэзия XVII в. сделалась на Западе предметом всеобщего увлечения в начале 1920-х гг. Творимое ею равновесие между мирским и духовным началом привлекло англоязычный культурный мир в эпоху, отмеченную утратой религиозных основ мировосприятия. Культурное сознание нашей страны было так или иначе изолировано от всякой религиозной основы в течение многих лет. Духовная жажда, вполне проявившаяся на Западе еще в первой половине XX в., у нас осталась до конца необозначенной и неудовлетворенной. В этой ситуации оказался востребован поэтический язык, соотносимый с метафизическим языком английской поэзии, или, по словам И. Бродского, «перевод с небесного на земной» [Бродский 2000: 156]. В России много говорят о «метафизической поэзии» в последнее десятилетие, распространяя это понятие на явления русской поэзии.

Вопрос о правомерности терминологического переноса остается дискуссионным. Его история начинается в XIX в., когда С.Т. Колридж прибегает к определению «метафизическая», которое С. Джонсон закрепил за поэзией «школы Донна», чтобы обозначить особый вид поэзии: «Поэзия становится источником наибольшего удовольствия, когда поддается пониманию только в общем, не совершенно. <...> По этой причине то, что я называю метафизической поэзией, доставляет мне такое наслаждение» [Richards 1960: 214]. Предполагая, что Колридж включал сюда поэзию Донна и многое из Вордсворта, А. Ричардс тут же составляет свой «метафизический канон»: поздняя поэзия У. Б. Йейтса, лучшая поэзия У.Х. Одена, У. Эмпсона, Т.С. Элиота [Richards 1960: 215]. Сам Т.С. Элиот не только отнес к метафизической поэзии Данте, других поэтов «нового сладостного стиля», а также Ш. Бодлера и Ж. Лафорга, но и предложил теорию «метафизических периодов» в истории, когда сфера человеческого опыта расширяется с помощью поэзии: «Революция в сфере мысли совер-

Статья посвящена проблеме расширительного толкования термина «метафизическая поэзия», осуществлявшегося со времен С.Т. Колриджа. Автор статьи полагает более точным понятие «метафизический стиль» и подробно останавливается на его реальном наполнении.

Ключевые слова: метафизическая поэзия, метафизический стиль, «метафизический канон», метафизические периоды, остроумие, метафора-кончетто, философская поэзия, религиозная поэзия.

шает выбросы идей, привлекательных для поэзии, которые действием поэзии приобретают непосредственность ощущения» [Eliot 1993: 53]. С этой точкой зрения полемизировал видный специалист по итальянской и английской поэзии XVII в. М. Прац, не без оснований полагавший идею Элиота ненаучной: «Идея метафизического братства через века – поэтическая идея, подобная идее Мелвилла о гениях, держащихся за руки по всему миру» [Praz 1971: 266].

Сомнения Праца и сегодня разделяют многие ученые. Несмотря на то, что у терминологического переноса в XX в. было достаточно в высшей степени авторитетных сторонников, таких как Г. Грирсон и Х. Уайт [Grierson 1962: 74-75], он не закрепился в англо-американском литературоведении. Литературоведческие словари и справочники, как и российская «Литературная энциклопедия терминов и понятий» (2001), говорят о метафизической поэзии в связи с исторически определенным явлением [Barton, Hudson 1997: 38; Красавченко 2001: 531-532]. Расширительное толкование термина «метафизическая поэзия» чревато слишком сильным акцентом на буквальном значении слова «метафизическая» – имеющая отношение к учению о высших «причинах» бытия. В таком случае к метафизической поэзии можно отнести «Божественную

комедию» Данте, «О природе вещей» Лукреция, «Фауста» Гете, что и делает в предисловии к своей антологии метафизической поэзии Г. Грирсон. В его определении стирается грань между метафизической и философской поэзией: «Метафизическая поэзия в широком смысле – это поэзия, которая, как «Божественная комедия» (Данте) или «О природе вещей» (Лукреция), возможно как «Фауст» Гете, вдохновлена философской концепцией вселенной и ролью, назначенной человеческому духу в великой драме бытия» [Grierson 1925].

О том, что акцент на буквальном значении слова «метафизическая» может привести к полному размытию понятия, свидетельствует диссертационное исследование Е.А. Иконниковой. Понимая «метафизическое» как «запредельное», автор этой работы называет метафизической не только поэзию И. Бродского или О. Седаковой, что уже достаточно традиционно, но и Пушкина, Пастернака, Тарковского, Китса, Шелли и многих других поэтов, слишком разных и принадлежащих слишком разным традициям [Иконникова 2002]. «Тематическое воплощение идеи запредельного» не только оказывается совершенно недостаточным критерием для того, чтобы определить поэзию как «метафизическую», но и порождает смешение понятий. По Е.А. Иконниковой, «если тот или иной текст религиозный, то он уже автоматически и метафизический» [Иконникова 2002: 11].

Однако взаимоотношения между метафизической и религиозной поэзией достаточно сложные: религиозная поэзия не может просто приравниваться к метафизической. Существующая в современном отечественном литературоведении понятийная путаница усугубляется тем, что религиозная поэзия для него относительно новый предмет изучения. «Литературная энциклопедия терминов и понятий» не дает определения этому жанру, останавливаясь лишь на специфичной для русской литературы духовной поэзии [Стрижёв 2001]. Проблему религиозной поэзии в англоязычном мире освещает «Краткая энциклопедия английских и американских поэтов и поэзии» (1972). Автор статьи «Религия и поэзия» предлагает различать поэзию, связанную с религиозной практикой (псалмы и пр.) и исключительную индивидуальное начало, и поэзию, «выражающую индивидуальное религиозное чувство», сюда входит поэзия, «религиозная в самом общем смысле», и поэзия, выражающая веру в определенную доктрину [Ridler 1970: 253-254]. Более внятное определение религиозной поэзии дает Х. Гарднер. В предисловии к составленной ею антологии религиозной поэзии она заявляет, что «пришла к следующему критерию»: «Религиозное стихотворение, так или иначе, связано с откровением и откликом человека на него» [Gardner 1979: 7]. Эта мысль детально развивалась ею в лекциях на тему «Религия и литература», прочитанных в марте 1966 г. в Университете Калифорнии: «Для тех, кто принимает ее, религия является откровением, данным свыше <...>. Свообразным интересом и красотой религиозная поэзия обязана тому, что поэт, будучи человеком верующим, творит в оковах. <...> Пытается он выразить в собственных словах и об-

разах сущность откровения или свой отклик на него, он предлагает читателю признать, хотя бы на время чтения стихотворения, истины, которые не подаются как его собственные открытия, ценности, которые не являются его индивидуальными ценностями, [предлагает ему] соответствовать опыту, мерилу которого не создается стихотворением, но принимается на веру» [Gardner 1971: 134-135].

Гарднер высказывала убеждение, что понимание религиозной поэзии в каждую эпоху определяется взаимодействием характерных для данной эпохи представлений о религии и о поэзии [Gardner 1971: 122]. С. Джонсон, писавший о религиозной поэзии в конце XVIII в., считал, что поэзия должна «доставлять наслаждение, представляя идею чего-то в более приятном виде, чем позволяет сам порядок вещей», и потому признавал права только дидактической поэзии и поэзии, воспевающей величие божественного творения. В очерке «Жизнь Уэллера» говорится: «Отношения Господа и человеческой души не могут быть предметом поэзии. Человек, который молит о милости своего Создателя, обращается к своему Спасителю, возвышается над тем, что может дать поэзия» [Johnson 1925: 173]. А в XVII в., напротив, именно этот вид религиозной поэзии получил наибольшее распространение, особенно у поэтов «школы Донна». Для С. Джонсона вера «неизменно одинакова» [Johnson 1925: 174] и не нуждается в новых видах метафорического выражения, поскольку поэзия понимается как искусство, декорирующее реальность, не раскрывающее в поэтическом слове истину: невозможно бесконечно декорировать хорошо известное и в самом высоком значении истинное. С точки зрения метафизического «остроумия» (wit) поэзия прозревает истину посредством утонченного искусства. В поэзии метафизиков вера погружается в «хаос нового опыта» (А. Тейт), создаваемый игрой «острого ума». Этому способствуют две важные особенности религиозной мысли XVII в., проявившиеся в протестантской проповеди. Во-первых, соединение веры с интеллектуальным, теологическим содержанием, которое было одинаково характерно для католиков и протестантов и приносило в эмоционально насыщенную поэзию метафизиков «жесткость системы» мысли, по слову Гарднер. Во-вторых, протестантская типология, которая помещала индивидуальную жизнь в контекст священной истории и, следовательно, давала возможность осознавать события и ситуации священной истории как частные, глубоко личные, сопоставимые с культурным опытом современности и опытом обыденной жизни. Благодаря этим факторам метафизическое «остроумие» становится достоянием религиозной поэзии, формируется благочестивая поэзия, в которой выраженная индивидуальность находится в напряженном единстве с «оковами», ограничениями, накладываемыми жанром религиозной поэзии.

Современниками новаторство Донна воспринималось как отказ от ученого увлечения античной литературой, отказ от свойственной ренессансной поэзии изобретательности, основанной на поэтической услов-

ности, в пользу остроумия, изобретательности нового типа, которая основана на остроте, пронизательности ума и позволяет максимально использовать возможности английского языка. Т. Кэрью в элегии на смерть Дж. Донна, определяя его заслугу перед английской поэзией, говорил о том, что Донн «очистил» принадлежащий музам сад от «сорняков учености», выбросив прочь «семена рабского подражания и насадив новую изобретательность» – «The Muses garden with Pedantique weedes / O'rspreed, was purg'd by thee; The lazie seeds / Of servile imitation throwne away; And fresh invention planted...». «Наш упрямый язык покорился» его «властному остроумию» («imperious wit») [Donne 1975: 94]. «Остроумие, – по точному замечанию И.О. Шайтанова, – не абстрактная, не безличная способность. Она неотделима от обладателя, входящего в стихотворение со своим голосом, со своей *интонацией* и тем самым решительно меняющего облик стиха». Новый «облик стиха» оказывается продуктивной моделью для новой разновидности религиозной поэзии, формирующейся в начале XVII в. Как писала Х. Уайт, «в метафизической поэзии (подразумевается любовная поэзия Донна – О.П.) авторы религиозной лирики XVII в. нашли готовый инструмент выражения...» [White 1963: 207]. К любовной лирике Донна восходят образный строй и метрическая организация поэзии Дж. Герберта, влиятельнейшего религиозного поэта эпохи. Л.Л. Мартц писал о музыкальности лирики Герберта в противоположность «страстной тирании говорного аргумента» в поэзии Донна: «Елизаветинские песни, исполнявшиеся под лютию, эхом звенят в стихотворениях “Храма”» [Martz 1954: 273,272]. Однако музыкальность звучания в стихотворениях Герберта соединяется с непринужденностью, естественностью тона, разговорностью слова, мелодичность сочетается с интонацией, в чем сказывается поэтическое влияние Донна. Герберт избирает ситуацию дружеской беседы в обращении к Богу, воспроизводя естественную интонацию разговора: «My God, I read this day» – «Мой Боже, я прочел сегодня» («Affliction V»); «My God, I heard this day» – «Боже, я нынче слышал» («Man»). По поводу последних слов Х. Гарднер заметила, что они создают впечатление спонтанности мысли, «будто все стихотворение выросло из случайно услышанного замечания» [Gardner 1979: 23]. В некоторых случаях Герберт непосредственно воспроизводит интонации Донна, присваивая их, изменяя и делая *своими*. В том, что цитируется интонация стихотворений, написанных на принципиально иную тему, Т.С. Элиот видел подтверждение силы и глубины влияния [Eliot 1962: 30-31]. Он сопоставил первые строки стихотворения Донна «The Sun Rising», выражающие любовную жалобу на слишком рано начавшийся день, и начало «The Discharge» Герберта, стихотворения, посвященного христианскому смирению:

Busie old fool, unruly Sunne
Why dost thou thus,
Through windows and through curtains call on us?

Busie enquiring heart, what wouldst thou know?

Why dost thou prie,
And turn, and leer, and with a licorous eye
Look high and low ... [Donne 1971; Herbert 1941].

В первой строке Герберт преобразует ритмику донновского стиха, «неправильное ударение» сохраняется только в первом случае: создав интонацию, оно сменяется упорядоченностью пятистопного ямба. Во второй строке Герберт убирает нагромождение звуков, которое затрудняет чтение донновского стиха, когда заменяет осложненную внутренней рифмой аллитерацию («Why dost thou thus») музыкальным ассонансом, также предполагающим внутреннюю рифму («Why dost thou prie»).

Когда английские метафизики заимствуют для религиозной поэзии сюжеты, образность, стиховые формы и интонации любовной лирики, они поступают так же, как религиозные поэты предшествующих эпох. Отличие заключается в том, что религиозная поэзия английских метафизиков не просто использует заимствованное в своих целях, но вступает в соперничество с любовной лирикой, присваивает себе «общелитературную поэтику», по слову Л.В. Пумпянского, делает своим поэтический язык светской лирики [Пумпянский 1983: 322].

Таким образом, *метафизический стиль* объединяет любовную лирику раннего Донна с религиозной поэзией его последователей, определяя границы метафизической поэзии XVII в. как целостного явления. Как известно, название «метафизическая» поэзия «школы Донна» получила более или менее случайно: ни У. Драммонд, ни Дж. Драйден, ни С. Джонсон не подразумевали прямой связи с конкретным метафизическим учением, характеризуя скорее поэтический стиль, чем предмет поэтического размышления. Осознание этого факта предопределило одну из тенденций в изучении феномена метафизичности. Если «метафизическая поэзия» представляется слишком размытым понятием вне того явления, по отношению к которому оно впервые возникло, то термин «метафизический стиль» может применяться к разновременным поэтическим явлениям.

Х. Гарднер впервые обобщила черты метафизического стиля в английской поэзии XVII в. в предисловии к составленной ею антологии английской метафизической поэзии («Метафизические поэты», 1957). Это «трудность мысли»; «концентрация стиля», подобного «причудливой раме» («curious frame» – выражение Э. Марвелла, «The Coronet»), «в которой сжаты слова и мысли»; «пристрастие к метафорам-кончетти», используемым как «инструменты определения или убеждения в ходе аргументации»; живая, часто подчеркнута обыденная ситуация, создающая ощущение спонтанности мысли; разговорная естественность интонации [Gardner 1972: 17,18-19, 21, 22-23, 24]. Для полноты картины к перечисленному необходимо добавить черты, которые выделила Дж. Беннет, обобщая понятие метафизического стиля. В книге «Пять метафизических поэтов» она подчеркивала определяющую роль мысли в структуре поэтического текста и значение опыта: «[Метафизические поэты] искали связь между своими ощущениями и умственными представлениями» [Bennett 1960: 7, 2].

Исследование метафизического стиля на материале английской и американской поэзии разных эпох предпринял в 1959 г. Дж. Данкен. Метафизический стиль понимался им как «совокупность черт, абстрагированных путем анализа из поэтической практики группы поэтов [метафизиков]» [Duncan 1959: 27]. Перечень свойств метафизического стиля поэзии XVII в., в общем и целом повторявший обозначенное Х. Гарднер, автоматически распространялся на историческую реальность других поэтических эпох. Однако вряд ли возможно увидеть одну и ту же статическую модель, воспроизведенную в поэзии разных исторических периодов. В 1969 г. Э. Майнер писал о внутренней динамике, изначально свойственной этому ряду и связанной с «историей развития метафизической поэзии» в XVII в. [Miner 1969]. Очевидно, метафизический стиль должен пониматься не как статическая «совокупность черт», но как явление подвижное, возникающее в результате взаимодействия стилистических элементов между собой с другими литературными рядами, а также с речевыми и внелитературными рядами, такими как, например жанр проповеди. В терминологии русской филологической школы метафизический стиль представляет собой систему, которая «дана обязательно как эволюция, а с другой стороны, эволюция носит неизбежно системный характер» [Тынянов, Якобсон 1977: 283]. В истории метафизического стиля в разные эпохи на первый план выдвигаются различные элементы. Так, в английской поэзии XVII в. доминирующим элементом метафизического стиля было барочное остроумие, воплощенное в метафорах-кончетти, парадоксах, игре слов. Барочное остроумие открывало возможности для проявления свободной воли художника, оформляло мысль, рождавшуюся в процессе поэтического высказывания, провоцировало появление индивидуальной интонации в стихе, хотя и не предполагало полного отхода от нормативности. Тропы и фигуры речи, которые меньше чем через столетие стали казаться нарочитыми, искусственными, в первой половине XVII в. рассматривались как отказ от «рабского подражания» классическим образцам, не отклоняющимся от истины. В свою очередь, создавая метафизический стиль, американские поэты XX в. невысоко ставили «языковые трюки», столь важные для поэзии барокко. Рассуждая об эпохе барокко, но, несомненно, подразумевая творческие интересы своего времени, Т.С. Элиот говорил, что в поэтическую школу метафизических поэтов объединяют «способы мыслить и чувствовать» («habits of thought and feeling»), а не «языковые трюки». В своих размышлениях о метафизической поэзии Т. С. Элиот, Дж. К. Рэнсом и А. Тейт выделяют категорию опыта. «Непосредственный опыт», по Ф.Г. Брэдли, лежит в основе сформулированного Элиотом представления о целостности восприятия (sensitivity) как об основном качестве метафизической поэзии. Фиксированное в слове метафизической поэзии единство познания и бытия Элиот осмысливает как постижение абстрактной мысли через «незначительные

частности» повседневной жизни, иначе говоря, через обыденный опыт. Доминирующей чертой метафизического стиля в XX в. становится «предельная конкретизация абстрактного» (выражение Р. Уэллестейн).

Литература

- Бродский И.* Большая книга интервью. М., 2000.
- Иконникова Е.А.* Типология метафизического в поэзии: на материале английской и русской литературы: дис. ... д-ра филол. наук. М., 2002.
- Красавченко Т.Н.* Метафизическая школа // Литературная энциклопедия терминов и понятий / сост. А. Н. Николюкин. М., 2001.
- Пумпянский Л.В.* К истории русского классицизма: (Поэтика Ломоносова) // Контекст. 1982. М., 1983.
- Стрижёв А.Н.* Духовная русская поэзия // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001. Ст. 253.
- Тынянов Ю., Якобсон Р.* Проблемы изучения литературы и языка // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
- Barton E.J., Hudson G.A.* A Contemporary Guide to Literary terms with Strategies for Writing Essays about Literature. N. Y., 1997.
- Bennett J.* Five Metaphysical Poets. Donne, Herbert, Vaughn, Crashaw, Marvell. Cambridge, 1960.
- Duncan J.E.* The Revival of Metaphysical Poetry. The History of a Style, 1800 to the Present. Minneapolis, 1959.
- Donne J.* The Critical Heritage. / ed. by A. J. Smith. L., 1975.
- Donne J.* The Complete English Poems / ed. by A. J. Smith. L., 1971.
- Eliot T.S.* George Herbert. L., 1962. P.
- Gardner H.* Introduction // Faber Book of Religious Verse / Selected and ed. by H. Gardner. L., 1979.
- Gardner H.* Religion and Literature. L., 1971.
- Gardner H.* Introduction // Faber Book of Religious Verse / Selected and ed. by H. Gardner. L., 1979.
- Gardner H.* Introduction // The Metaphysical Poets / Selected and ed., introd. by H. Gardner. L., 1972.
- Grierson H.J. C.* Introduction // The Metaphysical Lyrics and Poems of the Seventeenth Century / Selected and ed. with an essay by H. J. C. Grierson. Oxford, 1925.
- Herbert G.* The Works of George Herbert / ed. with comment. by F.E. Hutchinson. Oxford, 1941.
- Johnson S.* Lives of the English Poets. N. Y., 1925. V. 1.
- White H.* Metaphysical Poetry // Modern Writings on Major English Authors. N. Y., 1963.
- Martz L.L.* The Poetry of Meditation: A Study in English Religious Literature of the Seventeenth Century. New Haven, 1954.
- Miner E.* The Metaphysical Mode from Donne to Cowley. Princeton (N. J.), 1969.
- Ridler A.* Religion and Poetry // The Concise Encyclopedia of English and American Poets and Poetry / ed. by S.
- Richards I.* Coleridge on Imagination. Bloomington, 1960.
- Praz M.T.* S. Eliot as a Critic // T. S. Eliot. The Man and His Work / ed. by A. Tate. Bungay (Suffolk), 1971.
- White H.* The Metaphysical Poets. A Study in Religious Experience. N. Y., 1962. P. 74-75.
- Spender and D. Hall. L., 1970.

5. Критика, рецензии, обзоры, библиография

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ В.В. ЛЕДЕНЁВОЙ «ЛЕКСИКОГРАФИЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА»

Р.П. Козлова

Колоссальный по содержанию труд В.В. Леденёвой, включающий описание и анализ словарей разных типов и жанров (83 единицы), состоит из введения, десяти разделов, обобщающих упражнений, списка использованных словарей, списка рекомендуемой литературы, списка сокращений. Известно, что теоретическое языкознание тесно связано с конкретной языковой базой и решением многих практических задач. Вот почему рецензируемое учебное пособие – это практикум. В нем не только даны сведения о том или ином словаре, но и определены задания, которые позволят студентам более детально познакомиться с тем или иным словарем, его типом, проанализировать его особенности, на что направлены очень четко сформулированные вопросы и задания.

1-й раздел «**Мир и культура человека на страницах словаря**» посвящен энциклопедиям, энциклопедическим словарям, справочникам. В этом разделе, кроме традиционных энциклопедий («Большая советская энциклопедия», «Советский энциклопедический словарь»), анализируется «Словарь античности», «Мифологический словарь» (Смоленск, 2000), «Время Бусово: Словарь древнеславянских названий» А.Д. Онопенко. Энциклопедические словари невозможно представить без энциклопедий, посвященных русскому языку, поэтому в практикуме представлены «Русский язык. Энциклопедия», «Энциклопедия для детей. Языкознание. Русский язык», а также «Краткий справочник по современному русскому языку» (под ред. П.А. Леканта), «Словарь-справочник лингвистических терминов» Д.Э. Розенталя и М.А.Теленковой – пособия, которыми постоянно пользуются преподаватели русского языка, студенты и учащиеся. Все названные словари помогут начинающим филологам (студентам филологических специальностей) яснее увидеть не только особенности этого лексикографического жанра, но и отличить собственно энциклопедические словари от лингвистических энциклопедий. В этом разделе студентам дается задание определить тип каждого словаря, сравнить перечень словарных статей в энциклопедии и толковом словаре с целью определения объектов описания и их отличий друг от друга.

Современная русская лексикография представлена столь широким разнообразием разноаспектных словарей, что знакомым быть со всеми невозможно. Труд доктора филологических наук, профессора Московского государственного областного университета В.В. Леденёвой «Лексикография современного русского языка. Практикум» является опровержением этого суждения, потому что включает анализ такого количества словарей, который, кажется, не под силу произвести одному человеку. Рецензируемое учебное пособие – это не просто следование классификационной схемы Л.В. Щербы, это вдохновенное описание функционирующих в настоящее время в практической жизни словарей, наполненное живым содержанием каждого из них. Прочитав практикум, не только студенты высших учебных заведений, но и любой человек найдет для себя много новых сведений о нашем родном языке, так как далеко не все словари имеются у каждого носителя языка, да и не все стороны языка изучаются каждым конкретным исследователем.

Раздел 2-й «**Портреты слов**» посвящен важнейшим толковым словарям. Этот раздел призван дать представление о разных толковых словарях, способствовать тому, чтобы студенты могли увидеть различия между толковыми словарями и словарями энциклопедическими. В разделе «Портреты слов» рассказывается о любимых исследователями русского языка и всеми его носителями словарях, включая «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, «Толковый словарь русского языка» Д.Н. Ушакова, «Словарь русского языка» С.И. Ожегова, а также «Словарь современного русского литературного языка» (в 17-ти томах) – крупнейшее событие в русской лексикографии, и современный «Большой толковый сло-

варь русского языка» (гл. ред. С.А. Кузнецов).

В каждом из названных словарей внимание студентов направлено на изучение структуры словарных статей, способов толкования значений слов, нормативности, роли ограничительных и запретительных помет, фиксации многозначных слов и регистрации омонимов, отражения изменений в пополнении и развитии лексической системы языка, а также целесообразности помещения в некоторых из них областной, просторечной лексики и фразеологизмов.

Ответить на все вопросы и задания позволяют помещенные в учебном пособии предисловия к словарям, описание структуры словарей, а самое главное, сами словарные статьи, цитатные материалы, оценки словарей выдающимися деятелями науки.

Раздел 3-й **«Биография слов»** – это рассказ об этимологических и исторических словарях. Он включает исторические словари, среди которых «Словарь древнерусского словаря» И.И. Срезневского, «Словарь русского языка XI–XVII вв.», «Словарь русского языка XVIII в.», и словари этимологические, а это «Историко-этимологический словарь современного русского языка» П.Я. Черных, «Этимологический словарь русского языка» А.Г. Преображенского, «Этимологический словарь» М. Фасмера, «Этимологический словарь русского языка» Н.М. Шанского и Т.А. Бобровой.

Особенностью этого раздела учебного пособия является то, что в нем внимание студентов обращено как к структуре словарной статьи, к ее зонам, так и к роли иллюстративного материала, его характера, к хронологическим рамкам, к системе ссылок. Изучение лексики русского языка разных веков – XI–XVII и XVIII – позволяет проследить динамику лексической системы, а изменения в языке, бесконечно разнообразные, как известно, являются отражением поступательного развития общества, совершенствования человеческого знания. У студентов при изучении данного материала формируется четкое представление о том, чем отличаются исторические и этимологические словари друг от друга и от других типов словарей. Анализ словарных статей помогает проследить постоянное движение в грамматической, лексической и синтаксической системе языка, которое делает его более совершенным и в то же время единым организмом на протяжении многих веков функционирования.

Раздел 4-й **«Жизнь – люди – слово»** – это рассказ о словарях, включающих так называемую периферию словарного запаса. Жизнь не стоит на месте, она постоянно изменяется, словарный запас языка следует за изменениями, происходящими в обществе, поэтому словари фиксируют лексику, которая недавно появилась и еще не известна широкому кругу носителей языка. Это отражает «Толковый словарь современного русского языка» Г.Н. Складневской, «Краткий словарь современных понятий и терминов» (под общ. ред. В.А. Макаренко), «Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х гг.» (под ред. Н.З. Котеловой). Вследствие изменений в общественной жизни многие слова, наоборот, были из-

вестны, но перестали употребляться или употребляются относительно небольшой частью носителей языка. Временные изменения в языке фиксируются в диалектных словарях («Словарь говоров Подмосковья» А.Ф. Войтенко), в жаргонных («Слова, с которыми мы все встречались» Е.А. Земской и О.П. Ермаковой) и некоторых др. А такой словарь, как «Бизнес-сленг «новых русских». Словарь-справочник» В.Т. Пономарева, – это реакция языка на изменения, происходящие в экономике страны.

Раздел 5-й **«Слово – член лексико-семантической системы»** посвящен описанию аспектных словарей. Среди них не только известные словари, например, «Словарь омонимов русского языка» О.С. Ахмановой, «Словарь антонимов русского языка» М.Р. Львова, «Словарь синонимов» (под ред. А.П. Евгеньевой), но и новые словари, как по времени их публикации, так и по способу представления языкового материала, например, «Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений» (под общ. ред. Н.Ю. Шведовой), «Русский семантический словарь. Опыт автоматического построения тезауруса: От понятия к слову» (под ред. С.Г. Бархударова). Названные словари – это и свидетельство широких парадигматических связей слов в современном русском языке, и демонстрация новых технологий в составлении словарей. Эти технологии касаются способов представления лексического материала и использования новых технических средств при составлении словарей.

Раздел 6-й **«Сокровищница народной мудрости»** – словари пословиц, поговорок, фразеологические словари. Среди них на первое место помещен «Лингвистический энциклопедический словарь» (гл. ред. В.Н. Ярцева). Почему лингвистическая энциклопедия оказалась не в энциклопедических словарях, а отнесена к словарям, в которых отражена народная мудрость? И, кажется, ответ ясен. Этот словарь вобрал в себя квинт-эссенцию всего того, что сказано о языке на протяжении его исследования учеными, которые тоже являются частью своего народа. В этом разделе особое положение принадлежит труду В.И. Даля «Пословицы русского народа», Сборнику образных слов и иносказаний М.И. Михельсона «Русская мысль и речь: свое и чужое», «Словарю русских пословиц и поговорок» В.П. Жукова, «Словарю-справочнику по русской фразеологии» Р.И. Яранцева, «Фразеологическому словарю русского языка» (под ред. А.И. Молоткова). Изменения во фразеологической системе современного русского языка отразились в «Словаре фразеологической лексики современного русского языка» М.А. Алексеенко, Т.П. Белоусовой, О.И. Литвинниковой.

Раздел 7-й **«Знания о языке и языковой материи»** представляет словари морфем, словообразовательные и грамматические словари. По сути это словари, рассказывающие о формальных признаках слова. Справочные материалы, помещенные в такого рода словарях, оказывают неоценимую помощь в работе преподавателям всех рангов, студентам, аспирантам,

учащимся школ, родителям и всем, кто интересуется родным языком.

Раздел 8-й «Диалог культур» посвящен изданиям, в которых зафиксированы иноязычные слова и их перевод на русский язык. В данном разделе представлены так называемые двуязычные словари, например, «Французско-русский словарь» В.В. Потоцкой и Н.П. Потоцкой (М., 1970) и словари иностранных слов. Задачи, поставленные перед студентами, заключаются в определении специфики каждого типа, в установлении различий между ними.

Раздел 9-й «Хранители нормы» – это словари, описывающие структуру слов, определяющие особенности их сочетаемости, устанавливающие принадлежность к частям речи, обращающиеся к орфографическим и орфоэпическим трудностям русского слова. На наш взгляд, это тот тип словарей, который наиболее часто пользуют все носители языка: и филологи, и нефилологи, так как хорошее владение разговорной и письменной речью требует постоянного контроля над ее правильностью. Все перечисленные словари – это постоянные безмолвные наши консультанты.

Раздел 10-й «Словари о словарях» – это совершенно новый тип словарей, рассказ об особых словарях, которые являются лоцманами «в огромном лексикографическом пространстве» и помогают найти специалистам, студентам, носителям языка именно нужный словарь. Имеются в виду сводные словари, словари-антологии, аннотированные указатели.

Заключают рецензируемый труд обобщающие упражнения.

Учебное пособие «Лексикография современного русского языка. Практикум», несомненно, очень актуально, потому что это первое аналитическое собрание лексикографических источников по русскому языку. По содержанию и структуре это новаторское издание практически ценное и потому, что это практикум, и потому, что насыщено разнообразной и очень востребованной информацией.

Таким образом, рецензируемая книга – это не только демонстрация существенных достижений русской лексикографической мысли, это еще и обобщающий труд, наполненный живым содержанием, отражающий эти достижения в сконцентрированном виде. В практикуме нет такого описания словарей, которое дается в разделе «Лексикография» в учебниках по современному русскому языку. Практикум – это новый подход и новые оценки, может быть и имплицитные, научных достижений лексикографов как прошлых, так и настоящих лет. В пособии, на наш взгляд, чрезвычайно удачны заголовки разделов, ярко отражающие содержание каждого из них, с одной стороны, а с другой – представляющие язык как живое существо, к которому и относиться надо, как к живому – бережно, внимательно, осторожно, как к родному и очень дорогому существу.

В этом пособии присутствуют сами словари. А задача студентов состоит в том, чтобы познакомиться со всем имеющимся в русистике богатством словарей, увидеть особенности каждого из них, сравнить с другими, определить сходство и различия, осознать практическую значимость.

Своим бесценным трудом В.В. Леденёва убедительно показывает, что у лексикографии есть своя история, что некоторые словари, составленные в XIX в., актуальны до сих пор, что без многих из них невозможно было бы полное освещение тех или других сторон русского языка в словарях нового типа, невозможно было бы движение лексикографии вперед.

Практикум охватывает все основные типы словарей, а внутри каждого типа наиболее известные и значимые, он представляет собой оригинальное, насыщенное фактическим материалом пособие, которое будет полезным как студентам в процессе изучения проблем русской лексикографии, так и аспирантам, преподавателям высших учебных заведений, учителям-словесникам – всем, кто интересуется родным русским языком и любит его, как одну из очень важных национальных святынь.

6 . Наши публикации

ВОСПОМИНАНИЯ

Ю.А. Лёвшина

От редколлегии. Этот номер уже готовился к печати, когда из Минска пришла печальная весть о смерти Юлии Алексеевны Левшиной – кандидата филологических наук, доцента, одного из преподавателей, особенно любимых тамбовскими студентами-филологами 1950 - начала 1980-х гг.

Вся жизнь Ю.А. Лёвшиной связана с Тамбовом. Она родилась в семье, ставшей одним из признанных центров культурной жизни города. Отец, художник и педагог Алексей Иванович Лёвшин, был создателем первой в Тамбове детской художественной школы. Многие графические работы ее брата, московского архитектора Б.А.Лёвшина, посвящены старому и новому Тамбову. Муж Г.Е. Борисов, кандидат философских наук, доцент, преподавал в ТГПИ и на протяжении многих лет возглавлял областное отделение фонда культуры.

Выпускница МГУ имени М.В.Ломоносова Ю.А.Лёвшина на протяжении трех десятилетий, вплоть до выхода на пенсию, увлеченно работала в Тамбовском пединституте, читала лекции по зарубежной литературе, спецкурсы по истории романтического пейзажа и портрета, вместе со студентами проводила литературные вечера и концерты классической музыки, собиравшие огромные аудитории. Ю.А. Лёвшина – автор ряда научных статей и двух книг воспоминаний.

Так случилось, что публикуемые ниже воспоминания, написанные специально для нашего журнала, стали последним трудом Юлии Алексеевны, исполненным горячей любви к родному городу, к людям, к жизни.

Светлая память...

Я уже писала, что вначале меня приняли преподавателем английского языка на кафедру английского языка факультета иностранных языков, где моими коллегами стали многие незаурядные преподаватели иняза: О.Н. Субботина, К.А. Димитриу, Т.К. Малахова, Н.Б. Вихрова, З.М. Лачинова, Г.Н. Броудо и мн. др. К концу же первого года работы, будучи зачисленной в заочную аспирантуру при кафедре литературы факультета русского языка и литературы, я познакомилась и с коллективом этого факультета. А началось это так: мне надо было стать на учет в профсоюзной организации ТГПИ, и мне сказали, что по этому вопросу мне надо было обратиться к Ю.П. Марченко, аспиранту кафедры русского языка, уже работающему на этой кафедре преподавателем. Он сразу произвел впечатление очень общительного человека. А вскоре я познакомилась и с другими работниками факультета: преподавателем Л.А. Ярославцевой, К.В. Шенкер. Еще до знакомства с ними я слышала добрые отзывы о них от Г. Борисова (моего жениха и впоследствии мужа), так как обе они читали курсы литературы и у историков. На факультете работали и молодые преподаватели, недавние выпускники: А.В. Кушаков, Б.И. Зимин. Были здесь и аспиранты, ученики профессора Н.И. Кравцова: Е. Говердовская, Н. Гридасова, работавшие над диссертациями, а были и только что поступившие в аспирантуру: В. Антоненко и Н. Корнева, с которыми я впоследствии занималась у Николая

Эти страницы моих воспоминаний, продолжая рассказ о моей жизни (см. «Дом Жиллярди», Минск, 2008), посвящены 1950-1960-м гг., т.е. годам учения в аспирантуре у Н.И. Кравцова и первым годам работы на филологическом факультете ТГПИ.

Ивановича болгарским языком и болгарской литературой (об этом – ниже).

Еще за время моей работы на инязе я познакомилась со многими молодыми преподавателями других факультетов ТГПИ. Например, с Н.Б. Качоровской, преподавателем географии, которая немногим ранее тоже окончила МГУ, преподавателями физико-математического факультета: Г. Беловой и Б. Захаровичем-Винокуровым.

Знакомство с коллективом нашего пединститута показало мне, что это был слаженный, живой коллектив, и это проявлялось во всей атмосфере жизни в институте, в работе всех его подразделений, в отношениях между коллегами и со студентами. Это была органичная слаженность. Господствовала деловая обстановка, сложившаяся в единстве всех педагогических и воспитательных задач коллектива.

Сближению нас, молодой поросли ТГПИ, естественно, способствовало участие во всей общеинститутской внеаудиторной работе – я имею в виду ученые советы, профсоюзные собрания, а позже, когда я стала вначале кандидатом в члены ВКП(б) (1950), а потом и членом партии (1951), – и партийные собрания. В те времена ученые советы проходили с приглашением, а по сути дела, – обязательным присутствием всего педагогического состава. Это очень сближало весь преподавательский коллектив: ведь решались общие, интересные для всех факультетов проблемы.

Очень объединяли и смотры художественной самодеятельности, которые были традиционными, проводились регулярно в апреле каждого учебного года, будучи приуроченными к Ленинским дням (ко дню рождения В.И. Ленина). Был создан художественный совет, в который входили маститые преподаватели разных факультетов, обычно так или иначе связанные с эстетико-воспитательной стороной учебного процесса. Так, в совет входили: Л.В. Лебедев, искусствовед, который вел в Институте факультативные курсы по истории искусства, Н.Д. Макачук, которая преподавала на спортфаке художественную гимнастику и, конечно, была арбитром при оценке танцевальных и многих других номеров из концертной программы, связанных с физкультурой и спортом, и т. д. В конце 40-х – 50-е гг. худсовет возглавлял профессор Н.И. Кравцов.

Добавлю, что параллельно со смотрами проходили

факультетские выставки произведений прикладного искусства: демонстрировались наглядные пособия для занятий в школе на студенческой педпрактике, а также рисунки, вышивка, лепка и другие виды студенческого творчества. Эту часть жюри возглавлял художник А.И. Левшин, который в конце 40 – начале 50-х гг. вел в Институте факультативные курсы рисования.

Эти смотровые концерты и выставки, конечно, сама подготовка к ним захватывали всех: и студентов, и преподавателей. Весь второй семестр посвящался очень интенсивной подготовке к смотру. Приглашались и специалисты – из музыкального училища, театра, филармонии – для подготовки сольных певческих номеров, хорового исполнения, танцев, театральных номеров.

Правда, к середине 50-х гг. сложилась практика приглашения только хоровиков и концертмейстеров для хора. А вообще-то талантливые и инициативные студенты и молодые преподаватели практически становились создателями танцевальных коллективов, выступали и с сольными номерами: чтением, игрой на рояле. Чтецов готовили Ю.П. Марченко, позже В.И. Антоненко. Оба они прошли школу Н.И. Кравцова, который в течение многих лет читал на филфаке курс выразительного чтения. Им было издано очень интересное и полезное пособие для студентов-филологов педагогических институтов, для учителей школ. Длительное время это пособие пользовалось большим спросом и на филфаке, и в школах. Оно было бы и сейчас очень полезным.

Каждый факультет выступал со своей программой. Думаю, всем сотрудникам ТГПИ и студентам того времени запомнились и сцена из «Бориса Годунова» Пушкина в исполнении студентов и преподавателей филфака П.Я. Горбунова, К.В. Шенкер, и знаменитый чеховский «Медведь» со С.Б. Прокудиным и Е.В. Авдошенко в главных ролях, и постановка оперетты «Чанита», где, наряду со студентами, роли исполняли преподаватели: В.В. Шпакковский, Г. Гонтарев. Зал не вмещал всех желающих посмотреть все эти и другие постановки. Что это было? Только «показуха»? Нет и нет! Это молодежная студенческая энергия, талантливость, выдумка выливались в эти шоу-программы, представления, концерты.

Мне, конечно, пришлось участвовать в подготовке и проведении этих студенческих праздников (стало известно, что я играю на пианино). По форме это было поручением факультетского партбюро. Но по существу это было одно из направлений педагогической деятельности. Считаю, что ничто так не сближает преподавателя со студентами, как общая работа во внеучебное время. Безусловно, главной составляющей общения преподавателя со студентами остается чтение курсов, проведение семинарских и практических занятий. Но это общение осуществляется и в процессе творческой работы – подготовки к концерту или поэтическому вечеру. Для меня эти так называемые партийные поручения были не в тягость, являлись частью общего педагогического процесса, способствующего становлению в стенах Института личности школьного учителя.

Моя внеучебная (внеаудиторная) работа (тогда она называлась общественной) шла, таким образом, в двух направлениях. Одним из направлений, как я сказала, стало участие в постановке смотровых концертов, в со-

ставлении программы к ним. Кроме этого, с первых шагов моей работы на инязе мне было поручено курировать факультетскую стенную газету, т.е. помогать студентам ее выпускать.

В те времена еще процветали стенные газеты (формат – 2-3 больших листа ватмана). Потом, в 1957 г., была основана многотиражка, т.е. общая для всего Института газета «Народный учитель». В 50-е гг. была должность ответственного секретаря газеты, а редактором на общественных началах от партбюро утверждался преподаватель. Длительное время курировал газету завкафедрой философии А.Л. Хайкин. Более подробные сведения о «Народном учителе» можно найти в Словаре-справочнике ТГУ имени Г.Р. Державина (Тамбов, 2004). Здесь же скажу только, что газета стала очень популярной в Институте. В разное время редакторами газеты были Г. Ремизов, Б. Новиков и др. А с 1972 г., после утверждения платной должности, редактором стала В.Т. Дорожкина, выпускница филфака ТГПИ, ныне известный на Тамбовщине поэт и общественный деятель.

Редакторы собирали вокруг себя активно работающую группу корреспондентов из талантливой студенческой молодежи. К участию в многотиражке привлекались также и преподаватели. «Народный учитель» был популярным и любимым, его выхода с нетерпением ждали. В газете поднимались серьезные вопросы вузовской жизни. Что бы ни происходило в Институте – от повседневного учебного процесса до общесоюзных и международных научных конференций преподавателей – все находило отражение в «Народном учителе», выпускаемом еженедельно.

В газете был раздел юмора и сатиры, как бы продолжавший традицию сатирической стенгазеты филфака «Колючка», всегда вызывавшей интерес у студенчества всего Института.

При «Народном учителе» была создана литературная группа. Ее руководителем был доцент кафедры литературы, блестящий знаток русской советской поэзии Л.Г. Яковлев. Одаренные студенты сплотились вокруг этого преподавателя – выпускника МГУ. В нем привлекали обширные знания, истинный энтузиазм в работе со студентами. Многие участники литобъединения, такие как Л. Беляева (в студенчестве – Принцева), М. Кудимова, С. Бирюков, В. Дорожкина, стали известными поэтами, писателями, журналистами. Но это все потом. А тогда, в конце 40-х – 50-е гг., еще господствовала стенная печать. Вот с моего кураторства в «Колючке» на факультете русского языка и литературы и началась моя общественная работа.

Хотя, казалось бы, «Колючка» была только факультетской, однако она вобщем-то обращалась к тематике, близкой и понятной и для других факультетов. А материал в ней был так ярко отражен в рисунках и так остроумно – в подписях к ним (часто в стихотворной форме), что смотреть и читать ее сразу сбегались толпы студентов с разных факультетов. Значит, газета выходит не зря – радовались мы!

С каким увлечением мы рисовали шаржи, сочиняли подписи к рисункам! Как много было споров, поисков, пока, наконец, мы не приходили к единому мнению! И какой же интересной была для меня работа с талантли-

вой студенческой молодежи (в выпусках газеты участвовали студенты: Наседкина, Гребенников и мн. др.)! Сохранились фото, запечатлевшие некоторые номера газеты и моменты подготовки «Колючки».

Во время моего поступления в заочную аспирантуру (начало 50-х гг.) определялась и судьба Г. Борисова. В июле 1950-го г., когда он сдавал свой последний государственный экзамен, он был приглашен на беседу с тогдашним ректором (тогда называлось – директором) Г.М. Михалевым.

Георгий Михайлович сообщил Глебу, что Институт имеет возможность рекомендовать одного из студентов исторического факультета в аспирантуру философского факультета МГУ по кафедре логики. Михалев заинтересовался, не хотел ли бы Борисов поступить туда.

Предложение было полной неожиданностью, но совпадало с давнишней мечтой Глеба об аспирантуре и поэтому было принято им с огромным энтузиазмом, хотя и со свойственной ему скромностью: сможет ли он? Кроме того, еще одно обстоятельство не могло не мучить Глеба: его отец Е.В. Борисов был в 1941 г. репрессирован по пресловутой 58 статье и сослан в лагерь, где умер в 1942 г. (в 1956 г. он был полностью реабилитирован). Но много горьких минут пережил сын репрессированного. Впоследствии, уже после окончания аспирантуры, это действительно сыграло некоторую роль в судьбе Глеба. Например, он не был утвержден секретарем партбюро философского факультета, не был оставлен на работе в Министерстве высшего образования в Москве.

Слава Богу, было и много умных, честных, думающих людей. И первым среди них Глеб всегда называл коммуниста Г.М. Михалева, который поверил в подающего надежды студента, прошедшего Отечественную войну и награжденного родиной за героизм орденами и медалями.

Таким образом, определилась, хотя и в общих чертах, судьба Глеба. Это предложение укрепило его веру в свои силы, в свое будущее.

И вот поэтому он смущенно и торжественно является однажды к нам домой (конечно, мне было уже известно, что он собирается сказать моим родителям) и объявляет родителям, что мы любим друг друга и собираемся пожениться. Вижу одобряющий взгляд отца и ласковый – матери. Родители согласны! «Ну, теперь поцелуйтесь», – говорит папа. Вот так состоялась наша помолвка.

Потом был выпускной вечер у Глеба. И Глеб спросил у Михалева, можно ему привести на вечер свою невесту, на что Георгий Михайлович мог только ответить с улыбкой и с небольшой хитринкой в доброжелательном взгляде: «Ну, конечно». Это только ведь мы с Глебом не подозревали, что все видели нас бродящими по вечерам по Набережной или на сеансах в кино (тогда кино было неотъемлемой частью нашей жизни), так что наша помолвка стала достоянием всех наших знакомых.

Само событие, т.е. регистрация брака и свадьба, было отложено до нашего поступления в аспирантуру: Глеба – на кафедру логики философского факультета МГУ, а меня – в очную аспирантуру на кафедру литературы ТГПИ к Н.И. Кравцову. Обоим надо было писать вступительный реферат. Кроме того, Глебу еще надо было готовиться к вступительным экзаменам по немец-

кому языку и истории философии, что при его ответственном отношении к делу превратилось в тщательное дочитывание и перечитывание книг по истории философии, так как Борисову казалось недостаточным то, как эти темы были представлены в программе педвуза.

Конечно, молодость брала свое. Продолжались наши встречи, прогулки с бесконечными разговорами о нашем будущем, об аспирантуре; продолжались и поездки на лодке, тем более, что дома у нас гостил приехавший на каникулы мой брат Борис, который часто и выступал инициатором этих лодочных прогулок. Но в некоторых вещах Боря и помогал нам. Так, он прекрасно оформил наши с Глебом рефераты. Тогда ведь не было компьютеров. И Борис сделал на ватмане тушью такие изящные обложки для наших работ, что они не уступили бы и терпешней компьютерной графике.

Молодежь факультета, на котором я стала работать, тоже тянулась к встречам, беседам. Глеб в этой компании стал абсолютно своим, так как знал всех учившихся или уже работающих в ТГПИ, их объединяли и студенческие интересы, и общественная работа (Глеб был членом бюро ВЛКСМ Института).

Объединяющим всю эту молодежь звеном был, конечно, Н.И. Кравцов, вместе со своей женой М.Н. Морозовой, доцентом, заведующей кафедрой русского языка на филфаке. Обычно по приглашению Н.И. Кравцова и его жены молодежь собиралась в их квартире. Запомнился один из вечеров, который, однако, состоялся в доме моего отца. Почему? Потому, что было лето, и терраса нашего дома выходила в большой сад с обилием цветов, яблонь, кустов сирени. В этот раз, помню, собрались: Е. Говердовская, Е. Шмякова (работала после окончания филфака в студенческом профкоме), Н. Гридасова, Ю. Гурьев, выпускник филфака, к тому же закончивший и музыкальное училище, прекрасно игравший на пианино. Впоследствии он уехал в Москву, стал композитором. Справка о нем есть в Тамбовской энциклопедии (Тамбов, 2004); судя по помещенным там сведениям, сейчас он живет во Франции. Но не раз, живя и в Москве, и за границей, он приезжал в Тамбов и выступал с концертами. И в Тамбове мы не раз встречались с ним. Скромность, любовь к малой родине были свойственны ему, и он вспоминал наши встречи начала 50-х гг. Как я благодарна судьбе, что свела меня с такими интересными земляками! В тот вечер мы говорили о литературе, о поэзии, о жизни, Гурьев играл на пианино.

В конце лета, 26 августа, состоялась наша свадьба. Она прошла очень скромно, по-семейному.

Весь август и сентябрь 1950 г. прошел у меня и Глеба в подготовке к вступительным экзаменам в аспирантуру. Глеб писал вступительный реферат, занимался немецким языком и повторял материал по истории партии. Мне в некоторой степени было легче, я уже сдала немецкий язык (сдавала именно немецкий, так как английский был обозначен в моем университетском дипломе как основная, наряду с зарубежной литературой). Я писала вступительный реферат по творчеству болгарского поэта Д. Полянова и одновременно с этим, по настоянию Н.И. Кравцова, готовила и статью о Полянове для «Ученых записок» ТГПИ. В начале сентября Глеб ездил на экзамены по истории партии и немецкому языку, которые

успешно сдал. В особенности он радовался высокой оценке по иностранному языку, который нередко служил камнем преткновения для поступающих в аспирантуру по общественным наукам. А для меня сложность состояла в том, что я в сентябре приступила параллельно к работе на втором курсе иняза. Напомню, что я была зачислена вначале в заочную аспирантуру и должна была проводить свои учебные занятия. Мне было поручено вести второй курс, это означало, что требовалась новая подготовка по курсам фонетики, лексики, по домашнему чтению и т.д.

Быстро летело время. Или, может быть, мне только теперь, по прошествии многих-многих лет жизни, так кажется? Скорее всего, именно так, тогда же мне казалось, что жизнь была до предела заполнена работой, выполнением бесконечных дел. Были частые отъезды и приезды Глеба (из Москвы – в Москву), пока, наконец, все так или иначе не уладилось. В его письмах – рассказы о новых товарищах по учебе, новых педагогах. В.И. Черкасов, В.Ф. Асмус... Глеба потрясают их знания в разных сферах науки, огромная эрудиция: каждый из профессоров – личность. И хотя работать приходится много, учиться интересно и занятия идут успешно. Библиотека имени Ленина стала любимым местом занятий Глеба. Общежитие же для аспирантов, как и для студентов МГУ, находилось на Стромьнке.

Во время моих приездов в Москву основным нашим пристанищем была комната в квартире моего дяди Шуры. Остановливались мы и у друзей отца Глеба – Амитириных. Е.В. Борисов и Г.Е. Амитиринов были однокашниками по университету в Варшаве, так как Варшавский университет был до 1917 г. единственным университетом в России, куда принимали из духовной семинарии, а оба – и Амитиринов, и Борисов – были детьми священников и заканчивали не гимназии, а семинарии.

Семья Амитириных была своеобразной, интересной. Сам Гурий Евплович был учителем литературы в одной из московских школ. По внешнему облику он очень напоминал чеховских учителей: очки на умных, внимательных глазах, борода, всегда подтянутый, хотя и просто одетый. В манерах – внутреннее достоинство, сочетающееся с какой-то готовностью всегда откликнуться на происходящее вокруг. Его жена была тургеневских корней: ее девичья фамилия была Тургенева. Всю жизнь она проработала в Москве в Литературном музее. В молодости, вместе с первым мужем, писателем Соловьевым, она вращалась в литературных кругах и была знакома со многими представителями Серебряного века. Жалко, что пропала многолетняя переписка Гурия Евпловича, его жены Татьяны Алексеевны с Андреем Белым – письма долгое время хранились в доме Борисовых, но в 1930 – 40-е гг, когда было опасно держать дома подобные документы, были уничтожены.

В конце августа и сентябре уже велись и регулярные занятия болгарским языком в аспирантской группе с Н.И. Кравцовым. Наша группа состояла из принятых в 1950 г. трех аспирантов. Кроме меня, в ней занимались две выпускницы факультета русского языка и литературы, только что сдавшие вступительные экзамены в аспирантуру. Это были В. Антоненко и Н. Корнеева. Впоследствии Валентина Ивановна стала работать в

ТГПИ преподавателем русской литературы, а Н. Корнеева вышла замуж за писателя Девятова и впоследствии уехала с ним в Москву.

В своей книге «Дом Жиларди» я уже писала о том, что отношу его [1] к числу таких больших ученых и педагогов, как, например, мои учителя по университету: М.М. Морозов, Л.Е. Пинский, А.А. Аникст, которые и составляли блестящую когорту русских педагогов, ученых-филологов, преданных науке, своей профессии, педагогов широкого профиля, разносторонних, любимых многими поколениями своих воспитанников, ставших впоследствии тоже учеными, педагогами.

Остановлюсь поэтому не на подробностях биографии Н.И. Кравцова, а на рассказе о нем как о человеке, у которого мне посчастливилось быть в аспирантуре и работать на кафедре литературы, когда он был заведующий кафедрой в ТГПИ (1942 – 1960 гг.).

Прошло уже 30 лет, как нет Н.И. Кравцова, сменились поколения студентов, изменились исторические условия, но до сих пор вспоминают Николая Ивановича: вспоминают бывшие выпускники ТГПИ своего наставника, замечательного человека, запомнившегося не только своими блестящими, четко выстроенными лекциями, но и увлеченностью учебным материалом, человека с широкими интересами, старающегося и своих воспитанников включить в орбиту этих интересов, привить любовь к литературе, театру.

У меня сохранилось письмо бывшей классной руководительницы моей дочери, заслуженного учителя РСФСР, выпускницы ТГПИ Е.Н. Поздняковой. С этим хорошим человеком мы переписывались, теперь, правда, наше общение свелось к разговорам по телефону.

В этом сохранившемся письме, о котором я говорю, Екатерина Никитична рассказывает о том, как студенты с самого первого курса обожали Николая Ивановича Кравцова и не только за интересные лекции: он покорял и тем, что с первых дней он включал первокурсников в многообразную общественную жизнь факультета. Так, он предложил им участвовать в драматическом кружке, которым руководил сам. Они гордились тем, что профессор приглашал их на литературные вечера у старшекурсников, занимавшихся поэтическим творчеством, многие из которых были фронтовиками, серьезными, взрослыми людьми. Все это вызывало живой отклик у студенческой молодежи, заставляло их видеть в своем Институте родной дом, позволяло лучше представить себе суть их будущей профессии.

Уже эти эпизоды общения Кравцова со студентами показывают весь размах деятельности Н.И. Кравцова как педагога.

Не могу не добавить, что в одном из последних номеров «Литературной газеты» (октябрь 2009 г.) была помещена небольшая статья о Н.И. Кравцове. Это было сообщение о переиздании в издательстве Московского университета в 2009 г. его учебного пособия. Это еще одно свидетельство значительности научной и учебной деятельности известного филолога-слависта. Статья имеет убедительное название: «Побеждает добрый и честный».

Я уже рассказывала в начале своего повествования о большой воспитательной работе со студентами в Инсти-

туте, например, о большой популярности, которой пользовались смотры художественной самодеятельности, в которых участвовали и студенты, и преподаватели. И не мудрено, что постановки драматического кружка, руководимого Н.И. Кравцовым, играли видную роль в смотрах.

Николай Иванович устраивал общие походы факультета на спектакли Тамбовского облдрамтеатра, с последующим обсуждением спектаклей с актерами театра. Иногда организовывались и вечера-встречи с актерами театра. Мне не раз пришлось играть роль ведущей этих вечеров.

Все это сочеталось у Кравцова и с другими видами его работы. Удивительны были и широта его деятельности вообще, и его умение все это сочетать, причем с видимыми результатами.

В этом смысле запомнился такой эпизод. На несколько дней я по болезни (простуда, грипп) «вышла из строя», не ходила на работу, а когда вернулась, то извинилась, что от не зависящих от меня обстоятельств не закончила свою статью. Николай Иванович, укоризненно взглянув на меня, сообщил, что сам он в подобных случаях как раз и завершает свою очередную работу. Честно говоря, это был полезный урок.

Или еще один пример. Иногда, вернувшись после бюллетеня (больное сердце) на занятия, Кравцов на наши соблезнующие вопросы: «Ну, как Вы?» – говорил: «Вот, написал» – и выкладывал на стол свою завершленную, напечатанную им (на машинке) очередную статью.

Ни в коем случае нельзя представить себе подобные ситуации как «показушные» – это было следствие большой любви к занятиям, к науке.

Еще добавлю, что в Институте тогда кафедра литературы широко отмечала литературные даты. На эти литературные вечера обычно приглашались все преподаватели Института и, конечно, студенты. Николай Иванович выступал с большим докладом, который часто сопровождал чтение художественных произведений студентами. Запомнились вечера, посвященные Есенину, венгерскому поэту Петефи и др. При всем многообразии общественной работы, которую вел Н.И. Кравцов на кафедре и факультете и вообще в Институте, конечно, главной оставалась его научная деятельность, в которую он активно включал всех членов кафедры. Одно из основных направлений в 1950-е гг. на кафедре было изучение болгарской литературы.

Большой победой кафедры было создание под руководством Н.И. Кравцова вузовского учебника по русской литературе XIX в. (Москва, Просвещение, 1966 г.).

Надо еще отметить, что кафедра выпускала ученые записки по болгарской литературе, где печатались работы и Н.И. Кравцова, и его аспирантов-болгаристов, а впоследствии и других преподавателей кафедры, занимавшихся болгарской литературой (К.В. Шенкер). Выпуски эти были высоко оценены в отечественной и болгарской печати («Слово о факультете», Тамбов, 2004 г. и другие издания).

Как я уже сказала, завершив учебный год преподавателем в английской группе на втором курсе инязе, я была переведена на факультет русского языка и литературы преподавателем зарубежной литературы. Теперь мне стало легче уезжать в Москву. Глеб заранее подыскивал какую-нибудь комнатку, обычно при помощи тети

Фани. У нее была масса знакомых, готовых сдать комнату ненадолго для аспирантов. Николай Иванович всегда с некоторой долей иронии отпускал меня в Москву: «Не пора ли подольше оставаться в монастыре?» – обычно шутил он.

Но Москва была мне интересна и концертами, театром (билеты куда нам тоже помогала доставать тетя Фаня, так как мы обычно стремились попасть на «гвозди» сезона), встречами с друзьями Глеба, аспирантами-философами – болгариним и литовцем. Во время моих приездов в Москву мы, конечно, встречались и с моим братом Борей, который всегда с большим увлечением и интересно рассказывал о своей работе, об архитектуре, об искусстве вообще.

Я уже не говорю о том, что до сих пор вспоминаю эти незабываемые часы, проведенные в Ленинке в работе над диссертацией. Помнится тишина читального зала, свет абажура на столе, тихое шуршание бумаги. И все новые и новые открывающиеся мне научные данные по болгарской литературе, по теме диссертации.

Осенью 1954 г. у меня состоялась защита диссертации в Ученом совете Московского государственного педагогического института имени Ленина (в настоящее время – университета). Место защиты было определено нашим Институтом, тем более, что там была одна из кафедр пединститутов РСФСР, где ввели в преподавание болгарскую литературу. А преподавала ее недавно защитившаяся Н.П. Михальская (она защищала диссертацию по И. Вазову, единственному тогда переведенному болгарскому автору), моя бывшая однокурсница по МГУ и подруга.

Труднее было с выбором оппонента – доктора наук. Им стал заведующий кафедрой зарубежной литературы МГУ Р.М. Самарин. Он стал заведующим уже после моего окончания университета. Но он сразу согласился быть оппонентом у меня как у аспирантки известного и уважаемого слависта. Во время защиты на Ученом совете МГПИ Самарин прямо назвал школой Кравцова, «гнездом Кравцова» его аспирантов-славистов, как еще учившихся, так и уже защитивших диссертации.

Я, конечно, очень волновалась и во время защиты, и после. Помню, при выходе из зала, где шло заседание Совета, у балюстрады вестибюля меня ждал Глеб. И когда я с огорчением сказала, что все было не так, как бы хотелось, он только спокойно спросил: «Как проголосовали?», – и на мое «единогласно» сказал: «Все понятно»: он хорошо знал мое вечное недовольство собой, мое обычное «самоедство».

После защиты, как положено, мы отмечали это событие. Торжество не было пышным и многолюдным – так захотели руководители. Присутствовали заведующая кафедрой зарубежной литературы МГПИ имени Ленина М.Е. Елизарова, по учебнику которой занимались студенты-филологи в пединститутах. Были приглашены очень уважаемый и всеми любимым профессор этой кафедры Б.И. Пуришев, мой руководитель – профессор Н.И. Кравцов, мой оппонент Н.П. Михальская, мы с мужем. От устройства встречи в ресторане все отказались. И вечер проходил в квартире моего дяди Шуры на Сивцевом Вражке. Он сам был на очередных киносеансах, и гостей принимала его жена тетя Фаня (тоже ре-

жиссер Мосфильма). Она была гостеприимная хозяйка. Все было по-домашнему вкусно, по-московски хлебо-сольно, она потом говорила мне, что гости мои ей понравились своей интеллигентностью, открытостью, демократизмом.

И снова – в Тамбов! К работе, к студентам, по которым я уже скучала.

1956 г. – год рождения ребенка, нашей любимой дочери Елены-Аленушки. В плане преподавания год сложился трудновато. Еще точно не определилась нагрузка, она пока складывалась в основном из проверки контрольных работ у заочников и т.п.

Но потом все устроилось. Я стала читать курс по Средним векам и Возрождению. Значит, любимый Шекспир! И курс по XIX в. – это любимые Бальзак, Диккенс, Голсуорси, Т. Гарди, и курс зарубежной литературы конца XIX – начала XX в. (некоторых писателей знала и любила еще в юности – Оскар Уайльд, Гауптман, современные писатели, которых читала как в школьные годы – Стейнбек «Гроздь гнева», так и в новых журналах – в «Иностранной литературе»).

Это был целый новый мир, который мне надо было открывать для моих учеников и как бы заново открывать для себя!

Эти годы были очень счастливыми. Маленькая дочь! Счастье материнства! Такой огромный мир! И занятия любимой литературой.

Несколько раньше меня уже защитился Глеб (в Ученом совете философского факультета МГУ имени Ломоносова). И теперь для нас начался новый период жизни – преподавательской деятельности в ТГПИ. Жизнь была заполнена подготовкой к лекциям. Кроме философии в ТГПИ, Глеб еще вел занятия в областной партийной школе. Кроме того, он был внештатным лектором обкома и читал эстетику на высших курсах при обкоме. И еще ему предложили также читать лекции по эстетике для студентов школы-студии МХАТа при Тамбовском областном драмтеатре имени Луначарского (60-е гг.). Из этого перечня становится ясно, что Глебу надо было много заниматься не только чистой философией (диалектика, история философии, эстетика, этика), но и новым для него предметом – историей искусства.

Глеба всегда отличал широкий диапазон научных интересов. Так, в начале 60-х гг. он окончил заочную аспирантуру в Ленинградском институте искусства имени И.Е. Репина, что дало ему полное право вести занятия по истории искусства.

Свои знания в этой области он черпал и из наших многочисленных путешествий по России, которые мы вместе с ним совершали во второй половине 50-х и 60-е гг., да и позже – в 70 – 80-х гг. Это посещение мест русской истории, культуры, русской славы. А начались наши путешествия с Ясной Поляны, Спасско-Лутовинова, Михайловского, с неоднократных поездок в Ленинград (теперь Петербург), впоследствии же мы были в юбилейные дни на Куликовом поле и во всех местах, связанных с этим событием, во Владимире, Оптиной пустыни под Калугой. Мы путешествовали по Золотому кольцу России, были у церкви Покрова-на-Нерли. Эти поездки оставили

на всю жизнь неизгладимые впечатления. Трудно выделить наиболее яркие эпизоды – так все они были изумительны. Но не могу не остановиться на воспоминаниях о посещении трех мест: Михайловского, церкви Покрова-на-Нерли и Оптиной пустыни.

Пушкинские места были объектом поклонения всего СССР тех лет. Туда совершались экскурсии школьников и студентов, просто всех тех, кто любил Родину и Пушкина. Михайловское было очень популярным местом посещения, особенно в 50 – 60-е гг., когда директором Музея-заповедника был С. Гейченко. Как живая до сих пор стоит в памяти эта картина – могила Пушкина (помню, как я рассказывала об этом потом студентам)! ..Июньский день. Мы с мужем терпеливо ждем, когда пройдет очередная группа перешептывающихся школьников. Вот, наконец, поднимаемся на площадку перед могилой и читаем: «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть и равнодушная природа красною вечною сиять!». Как и предвещал гений, природа в этот светлый июньский безветренный день сияла красною вечною. Казалось, что мы на могиле знакомого с детства человека. Я и до сих пор считаю эту встречу с Пушкиным одним из сильнейших переживаний в жизни.

Не менее велико и впечатление от церкви Покрова-на-Нерли. Июнь. Голубое небо без единого облачка. Зеленые луга вокруг. Мы присели на маленьком взгорочке и не можем оторвать взгляда от этой открывшейся перед нами гармонии: белая с зелеными (тогда) куполами церковь, с золотым крестом, не можем оторвать взгляда от этой картины вечной тишины и покоя.

Такие же впечатляющие воспоминания остались от посещения Оптиной Пустыни. Как было не преклонить колен перед нашей памятью, перед нашей великой культурой! Ведь тут бывали и Гоголь, и Достоевский, и Лев Толстой. Постояли у могилы старца Амвросия. Многие подобные мгновения запечатлены на фото, а что-то – и на кинокамере.

На Куликовом поле, в Калуге и в некоторых других местах мы были вместе со С.Б. Прокудиным, его женой и с моим братом Борисом, его женой Маргаритой и их старинным другом, тоже московским архитектором. Московские архитекторы запечатлели посещенные места в акварелях, в пастельных и карандашных зарисовках. Борис часто выставлял свои графические работы и в Москве в Доме архитектора, и в Тамбове. Кроме того, он выпустил несколько альбомов со своей графикой (например, «Русская старина», Тамбов, 1970). Одна из таких акварелей и сейчас висит в моей квартире в Минске. Память живет...

Примечания

1. Есть большая литература о Н.И. Кравцове. Это, прежде всего, статьи в Литературной энциклопедии, статьи в академических выпусках Известий АН СССР, вестниках МГУ. В Тамбове о нем можно найти статьи в Тамбовской энциклопедии (Тамбов, 2004), Словаре-справочнике Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (Тамбов, 2004), статья С.Б. Прокудина напечатана в сборнике «Слово о Факультете» (к 70-летию филологического факультета ТГУ, Тамбов, 2000).

7. Хроника: факты, события, имена

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ. К 125-ЛЕТИЮ Е.И. ЗАМЯТИНА

О.В. Толмачёва

Международный конгресс литературоведов, приуроченный к 125-летию Е.И. Замятина состоялся 5 – 8 октября 2009 г. Организаторами этого масштабного научного форума выступили Международный научный центр изучения творческого наследия Е.И. Замятина в Тамбове, его отечественные (Елец, Мичуринск) и зарубежные (Краков, Лозанна) филиалы, Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН.

Конгресс открылся в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина, продолжил работу в Елецком государственном университете имени И.А. Бунина. Закрытие состоялось 8 октября в родном городе писателя – Лебедяни, когда-то Тамбовской, а теперь Липецкой области.

Конгресс, по традиции проведенных ранее на Тамбовской земле Международных Замятинских чтений (1992, 1994, 1997, 2000, 2002, 2004, 2006 гг.), привлек внимание широкой научной общественности. В программе конгресса заявлено более 130 докладов и научных сообщений. География участников, как и прежде, разнообразна: Москва, Санкт-Петербург, Томск, Тюмень, Екатеринбург, Воронеж, Саранск, Саратов, Сыктывкар, Орел, Ульяновск, другие российские города, а также Беларусь, Казахстан, Украина, Англия, Германия, Китай, Швейцария, Франция, Южная Корея.

К началу работы конгресса издан фундаментальный труд «Литературоведение на современном этапе: Теория. История литературы. Творческие индивидуальности» общим объемом около 60 п.л. Половину сборника составляют материалы, посвященные изучению жизни и творчества Е.И. Замятина.

В год 200-летнего юбилея Н.В. Гоголя Международный конгресс литературоведов закономерно открылся докладом доктора филологических наук В.В. Агеносова (Москва) «Гоголь и русская литература XX в.». Докладчик подчеркнул востребованность гоголевской традиции. В начале XX в. наиболее полное воплощение мистических традиций Гоголя проявилось в романе А. Белого «Петербург». Прежде всего, по оценке В.В. Агеносова, близость петербургских повестей и романа А. Белого прослеживается на стилистическом уровне. Романно-эпическая традиция гоголевского «Тараса Бульбы» оказалась востребованной в годы Второй мировой войны (Б. Горбатов «Непокоренные», А. Фадеев «Молодая гвардия»). В 30-40-е гг. к традиции сатириче-

В статье представлена хроника мероприятий, проведенных в рамках Международного конгресса литературоведов, приуроченного к 125-летию Е.И. Замятина (5 – 6 октября 2009 г., Тамбов – Елец), а также обзор ряда докладов ведущих российских и зарубежных исследователей, опубликованных в сборнике материалов и прозвучавших на пленарных и секционных заседаниях конгресса.

Ключевые слова: конгресс, литературоведение на современном этапе, Замятин.

ского изображения российской действительности обращаются в своих произведениях А. Платонов и М. Булгаков. В 60-е гг. XX столетия, наряду с беспощадным обличением городской бездуховности, в повестях В. Распутина, В. Астафьева, В. Белова, В. Лихоносова звучит заимствованная у Гоголя лирическая линия в подходе к описанию русской действительности, гоголевская нота любви к России и щемящее душу беспокойство за ее судьбу. Не обошли гоголевскую тему и постмодернисты. Она также приобретает фантастический характер и сопрягается с темой крови, насилия и цинизма в творчестве А. Королева. Развивались гоголевские традиции и в драматургии (А. Вампилов, Н. Коляда, Н. Садур, О. Богаев). Проведенные наблюдения позволили сделать вывод о первостепенной роли гоголевской традиции в литературе XX в.

Доктор наук Р. Гольдт (Майнц, Германия) в докладе «Бремя и привязанность. Афанасий Фет как посредник и критик немецкой культуры», опубликованном на немецком языке в сборнике конгресса, рассмотрел разные уровни русско-немецких связей в жизни и творчестве А. Фета. Не всегда счастливое взаимоотношение двух культур, подчеркнул исследователь, во многом определяло своеобразие мировоззрения и эстетики великого поэта и мемуариста. Первую часть исследования Р. Гольдт посвятил немецким семейным корням Фета, впервые преподнес их в свете немецких и русских архивных документов, в первую очередь – из Гессенского государственного архива в г. Дармштадте. По мнению немецкого исследователя, воспоминания и письма Фета показывают, что поэт всю свою жизнь глубоко переживал двойственность своего немецкого наследия: с одной стороны, неотделимого от привязанности к большой и

одинокой в России матери, внушившей ему любовь к немецкому языку и культуре, с другой – повлекшего потерю дворянского звания и превратившего его из знатного Шеншина в разночинца Фета. Эта двойственность подсознательно сказывалась и в восприятии им немецкой действительности. Сопоставление его путевых заметок в «Современнике» (1856-1857) и воспоминаний (1890-1893) выявило существенные сдвиги в его оценке Германии. Отдельно докладчик проанализировал образ немцев в рассказе «Семейство Гольц». Особое внимание Р. Гольдт уделил переводческой деятельности Фета, в частности, как открывателя философии Шопенгауэра. Переписка с Л.Н. Толстым отражает путь обоих писателей к новому платонически-пессимистическому осмыслению бытия, которому Фет в отличие от графа остался верен до конца своих дней. Р. Гольдт обратил внимание и на поэтологические принципы переводов из Гейне и Гете, укрепившие за Фетом репутацию предшественника Серебряного века русской поэзии.

Член-корреспондент РАН Н.В. Корниенко в докладе «Текст Шолохова и литературные контексты первого советского десятилетия» коснулась проблемы комментирования шолоховского текста в ракурсе литературной политики 1920-х гг. Исследователь подчеркнул, что для изучения литературной личности Шолохова «необходимо перейти от биографических фактов к творчеству: превратить метафорический «воздух литературы» в реальный историко-литературный пейзаж, понять логику отношений того или иного факта-события из этого пейзажа и литературной биографии – через текст» [Литературоведение на современном этапе... 2009: 195]. Отмечая предельную политизированность литературы 20-х гг., Н.В. Корниенко показала, как эта ситуация отразилась в творчестве Шолохова. Докладчик проанализировал, например, как писателем в рассказе «Пастух» был воплощен созданный в 1922–1925-е гг. оргуслиями напостовцев и лефовцев эстетический канон комсомольского текста. Н.В. Корниенко подробно остановилась на оппозиции «образа» и «факта» шолоховского романа «Тихий Дон» как повествовательном приеме, насыщенном авторскими откликами на платформу учебы у классиков и теорию «факта».

Доктор филологических наук т. д. Белова (Саратов) в докладе «Смысл и функция образа заглавного героя в книге М. Горького «Жизнь Клим Самгина»» акцентировала внимание на отсутствии в горьковедении адекватного осмысления итогового произведения М. Горького. Одна из главных причин затянувшихся споров вокруг романа, по т. д. Беловой, – «субъектная организация текста, центральная фигура героя, заслонившая образ автора» [Там же: 219]. С точки зрения исследователя, роман М. Горького необходимо перечитать сквозь призму идей, отраженных писателем в цикле статей «Издалика», «О современности», в статье «Две души», в «Несвоевременных мыслях», а также через «последовательно раскрываемую в сюжете проблему «Восток–Запад» [Там же: 220]. Рассмотрев отдельные эпизоды «Жизни Клим Самгина», т. д. Белова сделала вывод о несостоятельности тезиса, отраженного в откликах рапповской критики на появле-

ние романа в печати, об однозначном критическом взгляде автора на Клим Самгина, а также о сочувственном отношении писателя к заглавному герою книги. В сложившейся политической ситуации только устами не-симпатичного для себя героя писатель мог свободно рассказать о российской действительности переломной эпохи. М. Горький, вынужденный «предельно зашифровать свое прощальное произведение, использует образ «интеллигента средней стоимости» как проводника объективных истин, импонирующих автору мыслей и взглядов на отдельные явления российского и европейского быта, градостроительства, жизненной философии, культуры и политики» [Там же: 221].

Доктор филологических наук И.О. Шайтанов (Москва) в докладе «Триада современной компаративистики: глобализация – интертекст – диалог культур» констатировал имеющиеся крайности в современной компаративистике. Определяющими в этом процессе выступают основные понятия сравнительного изучения литературы: интертекстуальность и глобализация. «Точно так же, как интертекстуальность в конечном своем выражении отрицает индивидуальность авторства, глобализация отрицает индивидуальность культуры. Всякое «свое» подозревается в том, что оно может проявить себя как «чужое», т.е. – враждебное» [Там же: 19]. Путь обновления компаративного исследования И.О. Шайтанов связывает с понятием «диалога» (М. Бахтин), в котором соединяющая граница доминирует над разделяющей. «Границы, по крайней мере в пространстве культуры, наделены способностью не только разделять, но и связывать, – говорит исследователь, – предоставляя место для встречи и диалога – для диалога культур. Это и есть глобальная посылка современной компаративной теории» [Там же: 20]. Еще одна теория основана на понятии интертекста, согласно которой «вместо разграничено-автономного пространства культуры» возникает «неразличимая «текстуальность истории», которая «запрещает устанавливать какую-либо иерархию текстов, а фактически – обращать внимание на их специфику» [Там же: 20], в связи с чем абсолютно нивелируется поэтика.

Доктор филологических наук Л. Геллер (Франция-Швейцария) свою научную концепцию, развернуто представленную в докладе «Оствальд, Богданов, Малевич и многие другие. Заметки о русских судьбах энергетизма» (в сборнике материалов конгресса доклад опубликован в авторизованном переводе с французского И. Панковой), выстроил на анализе идей немецкого ученого-химика Оствальда, русского революционера и мыслителя Богданова и изобретателя супрематизма в искусстве, одного из лидеров русского авангарда Малевича. «Находясь внутри модернистской «парадигмы», – заметил исследователь, – все названные фигуры были так или иначе причастны к течению энергетизма, влияние которого было одним из решающих повсюду, где распространялось в ту пору влияние Европы (включая Японию)» [Там же: 23]. «Энергетическая теория приспособляется к самым разным способам использования, иногда противостоящим друг другу. Развиваемая разными авто-

рами на разных уровнях применения и концептуализации, она далека от монолитности, многообразна и многозначна, включая аспекты, не соответствующие ее статусу экспериментальной науки ... ее основные понятия, энергия и экономия, также зависят от условий и от уровня абстрагирования и метафоризации и их использования...» [Там же: 41]. Не хватило бы объемной монографии, констатировал Л. Геллер, для полного рассмотрения роли, которую играет в России энергетизм: «Это ценный попутчик синтетистов, особо многочисленных в период модернизма...» [Там же: 41]. Автор доклада, ссылаясь на статью Е.И. Замятина «О литературе, революции, энтропии и прочем» (1923), сделал вывод: «Энергетистом был Евгений Замятин... Борьба против энтропии и за творческую экономию мысли не была выиграна в то время. Она продолжается и сегодня. Такова одна из причин, по которой исследования модернизма и энергетизма все еще актуальны» [Там же: 44].

Л.В. Полякова в докладе «Натурфилософская парадигма современной науки о литературе и "Письма об изучении природы" А.И. Герцена: методологический аспект» сформулировала суть натурфилософских подходов в литературоведении, выдвинула тезис о том, что в «науке о литературе сформирована и продолжает формироваться своя космология» [Там же: 48]. Она обратила внимание на «плодоносную ветвь» – «междисциплинарные исследования в аспекте естественнонаучных открытий В.И. Вернадского в ноосфере и Л.Н. Гумилева в области этногенеза» [Там же: 48]. Такие подходы дают возможность нового взгляда, нового прочтения произведений, создания новых научных концепций. «Более того, – сказала Л.В. Полякова, – именно они позволяют обнаружить бесперспективность, а подчас просто надуманность многих прежних наших внедрений в природную проблематику художественной литературы, которые осуществлялись без предварительной методологической разработки критериев оценок, определенности путей анализа, без опоры на единство и цельность в трактовках пейзажной атрибутики» [Там же: 48]. Современной науке о литературе необходимы раздвинутые горизонты, увеличенный масштаб зрения, укрупнение всего плацдарма анализа. Автор доклада сделала акцент: литературоведение нуждается в обобщении и непредвзятом осмыслении всего огромного исторического опыта в изучении вопроса о месте и функциях природы в художественной литературе. С одной стороны, на этот опыт предстоит выработать и критерии оценок. Одним из этапов этого постериорного познания являются общеполитические труды А.И. Герцена. Исследователь остановилась на анализе его «Писем об изучении природы» (Опубл. 1845 – 1846). Л.В. Полякова поставила герценовские письма в общеполитический контекст творчества не только современников мыслителя, но и М.М. Бахтина или антропологических изысканий М. Бубера. По сути, это установка на диалог двух сознаний в гуманитарных и других науках, диалог наук, исследований. Таким образом, по убеждению тамбовского исследователя, Бахтин предлагает конвергентность разных методологий и методов в исследовании художественной

литературы, и такая методология, по Герцену, философская и естественнонаучная, особенно продуктивна в исследовании проблемы человека и природы в искусстве, где в художественных образах реализуются особые области философии – натурфилософия и антропологическая аксиология.

Доктор филологических наук А.И. Ванюков (Саратов) в докладе «Русская повесть XX в.: история и поэтика жанра. Введение методологическое» обратился к вопросам теории жанра повести в процессе ее исторического становления. Рассуждения выстроены с опорой на труды В.Г. Белинского, заложившего «прочную методологическую основу исследованию художественной природы жанра» [Там же: 56]. А.И. Ванюков отметил, что жанровая поэтика повести – поэтика постоянно обновляющегося вида русской эпики, раскрывающая существенные особенности отечественного художественного сознания. Повесть занимает «среднее» положение между рассказом и романом, при этом в основу деления эпических жанров исследователь положил «не предмет эпического изображения ..., но меру широты в описании ..., т.е. масштаб изображения эпического содержания, который и обуславливает меру жанра» [Там же: 57]. Отсутствующая в настоящий момент целостная история русской повести XX в., как полагает А.И. Ванюков, может быть создана коллективом авторов, исследующих судьбу повести как жанра «в единстве русской повести конца XIX – начала XX в. (Серебряного века), русской повести советской эпохи (повести 1920-1940-х, 1950-1960-х и 1970-1980-х гг.) и повести русского зарубежья («три волны»)» [Там же: 58].

В докладе доктора филологических наук Т.А. Снигревой и кандидата филологических наук А.В. Подчинова (Екатеринбург) «Литературная биография: теория, история, движение жанра» прояснялось прошлое и настоящее издательского проекта «Жизнь замечательных людей». Проанализированы три периода существования издания, выделенные на основании принципа знакового для проекта издательского имени: «павленковский» (1890-1990-е), «горьковский» (1930-1980-е), «молодогвардейский» (1990-2000-е). Авторы прослеживают закономерность: в зависимости от того, какая преследовалась задача, менялся и жанр биографии. Основная и неизменная задача серии – просветительская, но исторические реалии вносили свои коррективы. Первый период характеризуется жесткой установкой на максимальную объективность жизнеописания героя. И, таким образом, хронология становится сюжетообразующим принципом, а жанр – популярной биографией, акцентирующей внимание на «великих деяниях человека». Второй период отмечен привнесением идеологического характера: «...история «замечательных людей» не столько воссоздавалась, сколько переписывалась в рамках идеологических задач нового времени, а также реальностей культурной революции и лозунга ... «страна должна знать своих героев» [Там же: 61]. Поставленной целью определяется жанр – научно-популярная биография. Третий, современный период, по наблюдениям исследователей не имеет единой стра-

тегии. Произошла смена принципа отбора «героя». Если ранее термин «знаменитый» приближался по значению к термину «великий», то теперь он стал ближе – к «скандально заметный». Но именно эта смена формата издания дает простор для творческого и научного экспериментирования, в том числе и с жанром. Авторы доклада отметили появление нового жанра, жанра литературоведческого романа, задача которого «не столько «воскресить» или «приблизится к подлинной личности», сколько предложить / создать свою художественную версию судьбы Мастера-Творца» [Там же: 63]. Отличительной чертой жанрово-стилевой организации текста стала субъективность создаваемой биографии.

Созвучным по теме оказался доклад кандидата филологических наук М.В. Скороходова (Москва) «Проблемы подготовки научных биографий писателей». Московский ученый сделал обзор работ, посвященных исследованию особенностей научной биографии, что позволило выявить некоторые проблемы, возникающие при ее подготовке. Анализ ряда исследований (Н.А. Рыбникова, Г.О. Винокура, Н.Ф. Бельчикова, В.А. Мануйлова и др.) привел автора статьи к выводу о том, что выявление и изучение источников является лишь созданием документальной базы для написания научной биографии. Нередко источники противоречат друг другу, и тогда необходимо, осмыслив их, отметить наиболее достоверные, с точки зрения автора. В случае нехватки материала от исследователя требуется создание собственных гипотез, основанных на имеющихся данных. В результате научная биография должна дать наиболее полным и достоверным представлением о жизненном и творческом пути писателя.

Доктор филологических наук М.М. Голубков (Москва) в докладе «Как «наткнуть палец» на модернизм? Эстетика модернизма в русской литературе первой половины XX в.» озвучил свои размышления о природе модернизма. Он охарактеризовал существующие современные концепции модернизма следующим образом. Первая разработана в трудах В.А. Келдыша и Л.Я. Гинзбург. Ее суть заключается в том, что философская основа модернизма определялась как отказ от реалистической мотивировки характера, социально-исторической или же биологической, но не уход от детерминизма вообще. Второй подход подразумевает противопоставление реалистического и модернистского искусств по принципу мемисиса и антимемисиса (Л.А. Колобаева, Д.В. Затонский). Сторонники третьей концепции (например, В.Е. Хализев) считают, что целью модернистского искусства становятся поиски тех сторон действительности, которые скрыты от реалистического взгляда, а также познание тех сущностей, которые открываются философии и в целом гуманитарному знанию XX в. Все эти концепции, уточнил докладчик, ни в коей мере не противоречат друг другу, «напротив, их различия обнаруживают объемность и масштабность явления, которое они описывают» [Там же: 70]. На русской почве модернизм зародился на рубеже XIX-XX вв. Истоки его – в новом мироощущении человека, существенно отличающемся от мышления человека эпохи

реализма. Отсюда проистекает и новая поэтика, и новая литературная стилистика. М.М. Голубков выделил некоторые эстетические принципы модернизма, заложенные на рубеже XIX-XX вв., которые обнаружили свою актуальность на протяжении XX в. (множественность повествовательных позиций; обращенность к универсальным, онтологическим проблемам; универсальным способом типизации становится обращение к мифу и др.).

Ряд докладов, представленных на конгрессе, раскрыл проблемы, связанные с переводческой деятельностью. Кандидат филологических наук Е.А. Ломова (Алматы, Казахстан) в докладе «Художественный текст в свете межъязыковой коммуникации» остановилась на проблемах перевода диалектизмов на русский язык в англоязычном художественном тексте. Докладчик проследил несколько путей решения. Один из них – «дистилляция», которая полностью игнорирует нестандартные лексические единицы. Такой способ решения проблемы Е.А. Ломова считает неприемлемым, поскольку теряется неповторимое красочное звучание, что в итоге приводит к существенным потерям и в читательском восприятии, и в художественности воссоздаваемых образов [Там же: 95]. Другой путь (он в настоящее время превалирует над другими) – попытка найти диалектизм, жаргонизм эквиваленты в русском языке. Но очень часто эта задача не решается, «особенно если речь идет о местных территориальных диалектах» [Там же: 95]. Наиболее приемлемыми, по оценке Е.А. Ломовой, являются следующие приемы: использование стилистического приема метафоры или сравнения, при передаче разговорной, сленговой лексики – суффиксов с негативной коннотацией; использование просторечий, а также приема «обратный ход», когда нейтральное слово оригинала заменяется лексически-сниженным эквивалентом в переводе» [Там же: 97].

Проблемам художественного перевода посвящен и доклад кандидата филологических наук К. Ястжембски и доктора филологических наук Х. Вашкелевич (Краков, Польша) «"Мы" Евгения Замятина в переводе на польский язык». Они обозначили трудности, возникающие при художественном переводе, и отметили, что все переводческие трансформации, принимаемые переводчиком во время работы над текстом, эффектом которых являются разного рода замены, добавления, опущения, компенсации, модуляции и т.п., должны мотивироваться присущей изначально, т.е. в подлиннике, смысловой нагруженностью произведения, при одновременном тяготении переводчика к сохранению стилистической его организации. Наиболее уязвимым вопросом теории и практики перевода исследователи считают проблему непереводаемого, когда при попытке перевести конкретный термин обнаруживается отсутствие семантических или стилистических эквивалентов на языке перевода. Непереводаемыми могут быть значения, структурные черты произведения, интертекстуальные реминисценции и звуковая организация художественного текста. Некоторые моменты докладчики проиллюстрировали примерами из романа «Мы», переведенного на польский язык

Адамом Поморским (1989). Исследователи отметили, что в целом перевод «сохраняет значение и смысл подлинника, однако и ему не удалось избежать ловушек» [Там же: 582].

Доктор философии Джулия Куртис на протяжении многих лет работает над научной биографией Замятина. В докладе «Е.И. Замятин и В.С. Познер» она обратилась к наименее изученному на данный момент периоду жизни писателя – эмиграции, главным образом, к «первым шагам» писателя за рубежом (в сборнике материалов конгресса доклад опубликован на английском языке). По ее словам, жизнь Замятина во Франции – очень сложный период и именно поэтому так необходимо понимать «нюансы взаимоотношений писателя с разными художниками эмигрантских кругов и среди французов». Свое выступление Куртис ограничила описанием взаимоотношений Е.И. Замятина и В.С. Познера, с которым писатель познакомился в Петрограде, когда тот был еще юным 16-летним поэтом. Познер вместе с Чуковским посещал семинар Н. Гумилева в литературной студии Дома искусств. Он участвовал в инаугурации группы «Серрапионовы братья» и вскоре после этого вместе с семьей покинул Россию и обосновался в Париже, где продолжал интересоваться судьбой Серрапионов. 26 августа 1931 г. Е.И. Замятин обращается к В.С. Познеру с просьбой о содействии в оформлении французской визы для него и жены. В письме от 3 сентября того же года Познер сообщил Замятину, что встретил человека, который может «замолвить за него словечко». Дж. Куртис воспроизвела «историю» переписки Замятина и Познера, используя неопубликованные материалы из архива Познера. Не оборвалась связь этих людей и во время пребывания Замятина во Франции. Например, на просьбу Замятина в письме от конца января 1932 г. подыскать для него и жены скромное жилье, Познер предлагает воспользоваться его квартирой. Позднее они также встречались, о чем свидетельствует личная переписка писателя и его жены Людмилы Николаевны. Но более всего помогал Познер Замятину «оставить свой след в литературном мире Парижа и произвести желаемое впечатление». Например, в апреле 1932 г. Замятин обратился к Познеру с просьбой организовать интервью и оказать содействие в переводе и публикации статьи «О моих женах, о ледоколах и о России».

Н.С. Замятина (Липецк) озвучила научное сообщение, выполненное в соавторстве с доктором филологических наук Н.Н. Комлик (Елец) ««Предания русского семейства» (новые материалы к биографии Е.И. Замятина)». Авторы представили к публикации несколько неизвестных писем писателя, членов его семьи и близких друзей семьи, предварив их предисловием, погружающим в патриархальный мир, созданный в родном доме писателя, раскрывающим некоторые подробности уклада жизни близких родственников Замятина.

К малоизученной области замятиноведения и литературоведения в целом обратилась в своем докладе «Художественная онейрология Е. Замятина» кандидат филологических наук Г.З. Горбунова (Караганда, Казах-

стан). Она остановилась на описании трех форм воплощения онейроса в художественном мире Е. Замятина. Во-первых, это видения героев. Докладчик обратил внимание на то, что писатель, перемежая бытовое с чудесным и стирая границы между материальным и ирреальным, наделяет своих героев способностью воспринимать иноматериальные стихии, причем в своем визионерстве они не нуждаются в посредниках. Во-вторых, она говорила о снах, основная функция которых – постижение внутреннего мира героев, ключ к осмыслению внутреннего «я». Г.З. Горбунова отметила, что алогичный по своей природе онейрос в реалистической традиции очень часто трансформируется в линейно-развивающийся нарратив и трактуется в русле здравого смысла (сон Обломова). У Замятина же, напротив, происходит деструкция реалистического мироощущения. Докладчик определила доминирующий признак замятинской онейропозтики. Суть его заключается в диффузии онейроса и яви, в результате которой метафизическое пространство зачастую сливается с действительностью и, таким образом, с одной стороны, жизнь уходит в многомерность онейроса, с другой – иноматериальная сфера с ее фантазмагорией врывается в реальную действительность, причем обе сферы оказываются равноправными. Следствием диффузии онейроса и яви является также воссоздание промежуточного состояния между жизнью и смертью («Все»). Завершила свой доклад Г.З. Горбунова тезисом о том, что онейропозтика Замятина являет искусство художника проникать в глубинные уровни человеческого существования.

Доктор культурологии М.Ю. Любимова (Санкт-Петербург) в докладе ««Сад Эпикура» (Le jardin d'Épicure) А. Франса: о параллелях в художественных системах А. Франса и Е.И. Замятина» отметила решающее значение в установлении различных источников влияния на творчество Е.И. Замятина, в частности его контактов с творчеством А. Франса. Она охарактеризовала сборник афоризмов французского писателя, в который вошли статьи разных лет и разного содержания, а также критический очерк его творчества З.А. Венгеровой «Анатоль Франс» (М., 1910). М.Ю. Любимова процитировала отрывки из некролога «Анатолий Франс», написанного Е.И. Замятиным в 1924 г., и из «Автобиографии» (1928), в которых русский писатель подчеркивал свое духовное родство с Франсем. В заключение исследователь констатировал многочисленные параллели между творческими системами Франса и Замятина, проявляющиеся при сопоставлении «Сада Эпикура» и романа «Мы», а также литературно-критических статей и эссе Замятина.

Любопытные наблюдения озвучила кандидат филологических наук А.С. Сваровская (Томск). Она обнаружила сложную интертекстуальную связь между «Алатырем» Е.И. Замятина и кельтской мифологией. Посредником в этой цепочке связей стал роман И.А. Гончарова «Обломов». Таким образом, героини Замятина и Гончарова Глафира и Ольга Ильинская и языческая жрица Норма – *casta diva* – оказываются в одном ряду и олицетворяют универсальную семантику трагедии жен-

ской природы, прием транслитерации – превращение «Casta diva» в «Каста дива» – сопрягает русскую героиню с ее кельтским «прототипом». Еще более тесная связь с ирландско-кельтскими реалиями, по оценке докладчика, прослеживается в «английских» повестях Замятина и отмечается на разных уровнях текста: в сюжете, системе персонажей, в повествовательной структуре, и является своего рода диалогом с культурными традициями, «способом художественного исследования истории и человеческой природы» [Там же: 458]. Ознакомиться с положениями этого доклада можно в публикации Сваровская «Ирландско-кельтский слой в прозе Е.И. Замятина» [Там же: 454-458].

В центре внимания научного сообщения кандидата филологических наук В.А. Бодрова (Орехово-Зуево) «Критика русского зарубежья 1950 – 1960-х гг. о “Лицах” Е. Замятина» была статья Г. Адамовича, опубликованная в шестом номере журнала «Опыты» за 1967 г. В ней он дал негативную оценку книге «Лица» Е.И. Замятина (Нью-Йорк, 1955). Исследователь отметил изменившуюся позицию Адамовича по отношению к очеркам Замятина. Если в 20-е гг. она была положительной (Адамович одним из первых отметил главную особенность очерков Замятина – воссоздание психологического образа героя), то теперь в 60-е гг. критик высказывает свое резкое мнение, в том числе и в отношении образности языка писателя. Впрочем, справедливости ради, В.А. Бодров отметил, что позиция Адамовича не нашла поддержки у других критиков русского зарубежья.

Тамбовский исследователь Е.А. Жукова в выступлении на тему «Народная смеховая культура в творчестве Е.И. Замятина в контексте лубочной изобразительности» спроецировала эстетику народных жанров на ряд произведений Е.И. Замятина. Например, повесть «Уездное» она рассмотрела в одном ряду с лубком, отмечая их тематическую близость, ориентацию на устный живой монолог, гротескность и карикатурность персонажей, а также схожую колористику. Обнаружилось сходство стиля в пьесе «Блоха» и народной комедии, проявляющееся в сюжетно-композиционных особенностях, быстроте развития действия, чередовании и членении сцен, явном преобладании диалогов. По словам Е.А. Жуковой, «художественная ценность новаторских подходов в произведениях Замятина определяется исключительно при сопоставительном анализе их со смеховыми жанрами» [Там же: 496].

Аспирант ЕГУ имени И.А. Бунина И.Е. Полякова в докладе «“Пиршественные” образы в прозе Е.И. Замятина в контексте лубочной изобразительности» отметила, что для лубочной изобразительности, в отличие от карикатуры, присущ гротеск, характеризующийся амбивалентностью и лишенный острой сатиры. Докладчик констатировала преобладание гротескных персонажей в творчестве Замятина, они и составляют галерею «пиршественных» образов. Рассмотрев некоторые из них («Уездное» – внешность Чеботарихи и Барыбы; «На куличках» – внешность и прозвище генерала Азанчеева и др.), исследователь пришла к выводу о близости «пиршественных» образов Замятина эстетике лубочной

изобразительности. Это подчеркивает органическую связь творчества писателя с традициями русской смеховой культуры.

Доктор филологических наук Е.В. Алтабаева (Мичуринск) в докладе «Замятинский текст: язык и концептосфера (к методологии исследования)» говорила о специфике и важности изучения ментального пространства художественного произведения. Она предложила ряд методологических критериев, которые необходимо учитывать при исследовании концептосферы того или иного текста: нацеленность текста на формирование в сознании читателя ментальной модели (Е.С. Кубрякова); важность различия авторской, читательской и исследовательской моделей текста; специфичность интерпретации художественного произведения (авторская, читательская, исследовательская), которая диктуется определенным национальным культурным архетипом; концептуальная природа ключевого смысла (смыслов), тесно связанного с национальным культурным архетипом; целесообразность многоаспектного подхода при исследовании концептосферы художественного текста. Среди наиболее значимых аспектов исследования концептов Е.В. Алтабаева выделила следующие: лингвофилософский, логический, психолингвистический, социолингвистический, лингвокультурологический, лингвокогнитивный и собственно лингвистический. В докладе было акцентировано внимание на том, что все вышеприведенные методологические положения используются в исследовательской практике Лингвистической лаборатории Международного научного центра изучения творческого наследия Е.И. Замятина в Мичуринском государственном педагогическом институте, приоритетное направление исследования которой – замятинский текст как особое национально-культурное явление, с одной стороны, и уникальный языковой феномен – с другой.

Кандидат филологических наук И.М. Курносова (Елец) говорила о стихии народно-разговорной речи в произведениях Е.И. Замятина. Однако многие слова и выражения остаются за пределами понимания современного читателя. Именно определение значения некоторых слов и стало предметом наблюдений, проведенных И.М. Курносовой в докладе «О семантике некоторых слов в произведениях Е. Замятина». В частности, прояснялось значение таких существительных, как «бландахрыст», «гамай», «плясовица», «полуденница», «балхолда», «шилкун». Употребление писателем народно-разговорного языка, по мнению исследователя, свидетельствует о хорошем знании Замятиным народного языка и народной культуры, а также еще раз являет собой пример «синтеза фантастики и быта», который проходит через все творчество Замятина и является одной из отличительных примет неореализма.

Доктор филологических наук К.Д. Гордович (Санкт-Петербург) провела контекстуальный анализ трех произведений о русской провинции: «Городок Окуров» М. Горького, «Мишука Нальмов (Заволжье)» А. Толстого и «Уездное» Е. Замятина. По наблюдениям исследователя, эти произведения близки, прежде всего, созданной в

них атмосферой жизни провинциальной России. «Обращаем внимание, – отметила К.Д. Гордович, – на подчеркнутую скуку, отсутствие каких-либо духовных интересов, чего-либо нового» [Там же: 602]. Кроме того, она обратила внимание на переключки в изображении героев. По ее представлениям в каждом из них (Вавиле Бурмистрове, Мишуке Налымове, Анфиме Барыбе) подчеркнуто животное начало, «неподвластная разуму похоть, неумение осмыслить понятие «свобода» и, как следствие, полная распушенность, вседозволенность поступков» [Там же: 603]. Завершила свой доклад «Повесть Е. Замятина «Уездное» в контексте произведений о русской провинции» К.Д. Гордович тезисом о том, что вся эта провинциальная скука, звериное начало не предмет обличения, а материал для создания выразительных, колоритных картин.

В докладе белорусского ученого Н.М. Пономаревой (Слоним) «Система пространственных структур в художественной прозе Е. Замятина» получила освещение одна из важнейших сторон творчества Е.И. Замятина – организация и функции пространства в прозе писателя. Исследователь заметила, что уже названия многих произведений обращают внимание читателя на топонимическую, географическую, мифологическую / реалистическую, замкнутую / открытую организацию пространства, и это, несомненно, свидетельствует о «значимости пространственных структур в моделировании художественного текста» [Там же: 521]. Внутренний мир замятинских героев формируется пространством («Мамай», «Мы»). Связь между пространством и человеком, как правило, осуществляется через преодоление или вторжение, причем пространство способно повлиять на субъект вторжения, погасить агрессию («Сподручница грешных», «Пещера»). В портретных характеристиках персонажей присутствует и «пространственная знаковость»: геометричность, традиционность воображаемого в связи с inferнальным пространством, философская понятийность, вещьность внешнего пространства – от бытового до вселенского. Таким образом, заключил исследователь, пространство проясляет себя на разных уровнях организации художественного текста. Оно может быть фоном, персонажем, деталью, смыслом.

Перспективы дальнейшего развития замятиноведения наметила доктор филологических наук Т.Т. Давыдова (Москва). В докладе «Об итогах творческого наследия Е.И. Замятина и проекте “Замятинская энциклопедия”» она говорила об огромном вкладе российских и зарубежных исследователей в развитие «замятинистики» (так называет науку о Замятине московский исследователь). Именно обширный материал, посвященный творчеству писателя, навел Т.Т. Давыдову на мысль об обобщении накопленных результатов изучения в энциклопедическом жанре. Автор доклада заметила, что в отечественном замятиноведении есть опыт составления энциклопедии «Замятинская энциклопедия. Лебедянский контекст» (Тамбов – Елец, 2004), но специфика этого издания в том, что «разбора конкретных произведений Замятина, созданных в периоды

жизни в Лебедяни, в ней нет, что обусловлено ведущим содержательным принципом персональной энциклопедии – региональным, причем преимущественно историческим и социально-культурным, а не собственно литературоведческим» [Там же: 459-460]. В проекте Т.Т. Давыдова планируется отразить различные подходы и интерпретации жизненного и творческого пути Замятина, особое внимание будет уделяться литературно-художественному и философскому контексту, в котором создавались его произведения, предполагается осветить вопрос о связи прозы Замятина с другими видами искусства.

К сожалению, в небольшом по объему обзоре невозможное осветить все материалы, представленные на конгресс, назовем еще некоторые из них: А.В. Григоровской (Тюмень) «Символика чисел как отличительная черта жанра антиутопии», Н.О. Джуанышбекова (Алматы, Казахстан) «Типологические аналогии “Слова о полку Игореве” и древних тюркских памятников», А.А. Житенева (Воронеж) «От “пошлого” к “нелепому”: динамика отрицательных эстетических ценностей в художественном сознании русского модернизма», Г. Ионкис (Кёльн, Германия) «Хождение в хаосмос Виталия Печерского (о романе Виталия Печерского “Фольклорный анабазис Ланьки Иконникова”», Т.В. Ивановой, М.С. Чучко (Петрозаводск) «На пути к “синтезизму” (повесть Е. Замятина “Север”», Кан Бен Юна (Сеул, Южная Корея) «Образ города как модель человеческой души в романе Евгения Замятина “Мы”», Е.Ю. Коломийцевой (Москва) «Литературная критика на страницах журнала “Женское дело” (1899-1900)», Н.М. Муравьевой (Борисоглебск) «Скрытый смысл сюжетных ходов и композиции “Поднятой целины” М.А. Шолохова», С.В. Полторацкой, Ф.С. Ключко (Белгород) «Будущее России в настоящем И.А. Бунина: публицистика эмиграции», Н.Р. Скалона (Тюмень) «Виртуально или образно? (О значимости традиционных культурных доминант)», А.В. Третьякова (Екатеринбург) «Патериковая новелла и миф об исчезнувшем граде в рассказе Е. Замятина “Знамение”», Н.Ю. Филоненко (Липецк) «О повести А.К. Воронского “На перепутьях”», Л.И. Шишкиной (Санкт-Петербург) «Андреев и Замятин: пути обновления театральных форм» и др. Прозвучали доклады трех исследователей из Китая: Чу Юань «Россия и запад в эссеистике Владимира Максимова», Ду Жуй «Сопоставительное пародирование в рассказах Т.Н. Толстой», Лю На «Символика “Рождественского чуда” в сборнике рассказов Л. Улицкой “Люди нашего царя”».

Помимо пленарных и секционных заседаний, были проведены два круглых стола: «Современное состояние преподавания литературы в вузе и школе» и «К выходу нового российского научного журнала “Филологическая регионалистика”» (издание Тамбовского университета). Участники и гости конгресса посмотрели презентацию книжного, документального и диссертационного фонда Международного Замятинского центра в Тамбове, насчитывающего несколько сотен уникальных единиц хранения. В рамках конгресса подведены итоги Третьего

Всероссийского с международным участием конкурса научных студенческих работ «Литература русского зарубежья: Е.И. Замятин», который проводится на базе ТГУ имени Г.Р. Державина.

На конгрессе присутствовали родственники Е.И. Замятина. Из Киева приехали двоюродные внучатые племянница и племянник писателя – Е.А. Хвалова и Л.А. Алмазов, из Санкт-Петербурга – троюродная внучатая племянница (по линии матери) Г.И. Соловьева. Присутствовала на конгрессе и постоянная участница научных замятинских встреч – внучатая племянница Е.И. Замятина Н.С. Замятина (Липецк).

Пожалуй, самые яркие впечатления ожидали участников конгресса при посещении родной замятинской Лебедяни, где состоялось долгожданное открытие восстановленного Дома писателя и был заложен яблоневый сад. Вдохновительница, бессменный организатор и ру-

ководитель Замятинских чтений профессор Л.В. Полякова назвала это мероприятие «восклицательным знаком», удачно, достойно завершившим не только плодотворную четырехдневную работу конгресса, но и многолетние усилия отечественной и международной литературной общественности по привлечению внимания государственных структур к реставрации родной усадьбы писателя.

Литература

Литературоведение на современном этапе: Теория. История литературы. Творческие индивидуальности: мат-лы Международного конгресса литературоведов. К 125-летию Е.И. Замятина. 5-8 окт. 2009 г. / отв. ред. Л.В. Полякова. Тамбов: Издательский дом ТГУ имени Г.Р. Державина, 2009.

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА НИНЫ ПАВЛОВНЫ МИХАЛЬСКОЙ

Н.Л. Потанина

Помню по-летнему жаркий майский день, когда мы все, аспиранты кафедры, встретились на станции метро Спортивная, чтобы совершить очередную экскурсию по Москве. Сады Новодевичья цвели, и в воздухе было разлитое ощущение праздника. Я ничуть не преувеличиваю: это ощущение не оставляло меня все аспирантские годы. Думаю, нечто подобное чувствовали все, кто учился вместе со мной.

Осенью за решетчатой оградой Хользунова переулочка медленно осыпал свои листья старый парк. Золотые клены, оттененные черными вертикалями кованых прутьев, будто напоминали о том, что мы находимся в самом сердце старой Москвы – той самой, с поэтически-уютными, утонувшими в садах особняками, что частично сохранились еще с «допожарных» времен.

«Хользунов» подводит прямо к старому институтскому зданию. Открываешь дверь, минуешь вестибюль и оказываешься в торжественном зале, уже не раз запечатленном в нашем кино как своего рода символ студенчества, науки, высокой миссии учительства. Дальше через зал, по лестнице – сначала величественно широкой, а потом как-то уютно, по-домашнему узкой – которая, плавно кружа, приводит на третий этаж, к двери под номером 313. Здесь с давних пор располагается наша кафедра.

Я и теперь, только войдя в эту дверь, устремляюсь

Заслуженный деятель науки России, доктор филологических наук, профессор, почетный профессор Московского государственного педагогического университета Н.П. Михальская скончалась 25 сентября 2009 г., как раз накануне своего восьмидесяти четвертого дня рождения. Эти короткие записки о моей аспирантской молодости были написаны еще при ее жизни и ею прочитаны.

Сегодня я посвящаю их публикацию **светлой памяти своего дорогого научного руководителя, известного ученого, автора многочисленных вузовских учебников и прекрасного человека.**

прямо к «своему» месту. Здесь, за третьим столом в среднем ряду, мы с В. Лопатиной сидели все три аспирантских года. Так и вижу всю нашу кафедру начала тех, теперь уже не очень близких, 1980-х. В первом ряду за первым столом всегда сидел, дружелюбно поглядывая вокруг, профессор Б.И. Пуришев. Рядом с ним – доцент И.О. Шайтанов. Профессор Г.Н. Храповицкая – за первым столом у окна, как и сегодня. За ней – доцент И.А. Зевелева и А.А. Завьялова. А первый стол во втором

ряду занимали доценты В.А. Луков и М.Б. Ладыгин. На председательском месте – заведующая кафедрой профессор Н.П. Михальская. Заседания кафедры традиционно проходили по пятницам, два раза в месяц. Оглядываясь назад и почти не верю своему везению: на моих глазах в маленькой аудитории в центре старой Москвы творилась история вузовской науки, рождались новые замыслы, создавались учебники и хрестоматии, которые во многом определили принципы современного преподавания зарубежной литературы.

Ни опоздать на заседание кафедры, ни «проигнорировать» его было невозможно. Не помню, чтобы за этим следовали какие-либо «санкции». Просто подобное даже не приходило в голову. Настолько велик был научный (и человеческий!) авторитет тех, кто приходил по пятницам в 313-ю. Помню неизменную насыщенность и содержательность каждого кафедрального заседания. Доклады по актуальным проблемам науки, кандидатские и докторские диссертации, концепции академических курсов – все это обсуждалось на кафедре профессионально, строго и взыскательно. Здесь не было места пустой комплиментарности, как не было, кажется, вообще каких-либо неделовых и экстранаучных соображений. Суждения Н.П. Михальской и членов кафедры были так точны, тонки и, вместе с тем, так доброжелательны, исполнены такой неподдельной заинтересованности, что каждое заседание запоминалось надолго. Этот стиль научного общения усваивался молодыми. И теперь, когда спустя двадцать лет я участвую в научном собрании, которым руководит кто-либо из моих сокурсников, – будь то В. Зусман, доктор наук, профессор Нижегородского государственного лингвистического университета, или М. Никола, тоже доктор наук, профессор, заведующая кафедрой МПГУ, – я всегда думаю: вот она, школа кафедры.

И еще одно, чрезвычайно важное: чувство Москвы как общей родины, сообщенное нам нашими Учителями. Помню, как, остановившись на высоком берегу Москва-реки, Нина Павловна сказала: «Очень люблю это место». За спиной были милые домики Плющихи, а впереди открывался парадный вид на Бородинский мост с распахнутой за ним снежной громадой «Белого дома» – очень московское сочетание уютной старины и суровой державности. Помню, как в другой раз Нина Павловна показала нам «свой Сомюр» – место, напоминавшее ей в детстве печальную историю Эжени Гранде. Теперь и мне, когда я прохожу здесь, направляясь к дому, где живет Нина Павловна, так и кажется, что за каменной оградой вот-вот мелькнет платье бальзаковской героини.

Мы все были из разных городов страны. Аспирантура соединила нас, раздвинув при этом границы мира, в котором существовал каждый. Ашхабад и Уссурийск, Таллин и Красноярск, Самара и Магнитогорск, Киров (Вятка), Орск и Омск, пребывавшие раньше в сознании лишь в качестве географических понятий, теперь обрели конкретность, оказавшись родиной кого-либо из «наших». «Наших» – с кем сроднились, с кем делили

первые московские страхи и радости, с кем бродили (вооружившись картой-схемой Москвы) по бульварам и улочкам, увлеченно и прилежно осваивая новое столичное пространство. И каждый день радуясь: мы – здесь! И все это – тоже наше!

На масленицу дома у Н.П. Михальской собиралась вся кафедра, обязательно пеклись блины и велись нескончаемые литературные разговоры. Это был, если можно так выразиться, наглядный урок «межкультурной коммуникации». Основы культурной толерантности, о которых сегодня так часто говорят и пишут, давно были преподаны нам нашими профессорами.

Наверное, каждому аспиранту естественно стремление считать свою кафедру самой лучшей. Оно свойственно и мне. Я находила и нахожу для него вполне определенные основания. Кафедру в мои аспирантские годы возглавляла профессор Н.П. Михальская, являвшаяся в то же самое время деканом филологического факультета и председателем Диссертационного совета. Профессиональный и нравственный авторитет Нины Павловны тогда, как и сейчас, был чрезвычайно высок. Кроме того, каждый преподаватель кафедры зарубежной литературы, включая молодых доцентов В.А. Лукова и И.О. Шайтанова, был по-своему яркой личностью и блистательным лектором. Их публичные выступления всегда вызывали не только безусловный интерес филологической аудитории (в том числе, и весьма критически настроенной молодежи), но и наполняли гордостью сердца аспирантов-«зарубежников»: знай наших!

Меня и теперь удивляет, как удавалось Н.П. Михальской, сочетая столько обязанностей, неформально относиться к каждой из них. А то, что это было именно так, несомненно. Глубина и значительность проблем, решавшихся Ниной Павловной на всех уровнях ее деятельности, перспективность начинаний талантливого ученого, организатора науки и высшей школы, стали особенно очевидны для меня теперь, по прошествии лет и с обретением некоторого опыта. Создание ведущей научной школы, высокий авторитет кафедры зарубежной (теперь всемирной) литературы Московского государственного педуниверситета – в значительной степени заслуга профессора Н.П. Михальской. Общаясь с ней, испытывая на себе обаяние ее таланта, доброты и мудрости, утверждаешься в мысли: подлинная интеллигентность существует. Во всех регионах России и ближнего зарубежья работают ученики Нины Павловны. Ассоциация преподавателей английской литературы, созданная по инициативе профессора Михальской, дает и сегодня драгоценную возможность непосредственного профессионального общения и обеспечивает преемственность научных традиций. Кафедра существует, возглавляемая сегодня ученицей Нины Павловны – профессором М.И. Никола. Существует и аспирантура, руководимая сегодня теми, кому выпал в жизни счастливый билет: получить научную квалификацию на кафедре зарубежной литературы Московского государственного педагогического института – ныне МПГУ. Жизнь продолжается.

Информация

УСТАВ ТОФО

Принят

на собрании журналистского коллектива
журнала «Филологическая регионалистика»
«10» февраля 2009 г.

«Утверждаю»

Президент

общественной организации

«Тамбовское областное филологическое общество»

Н.Ю. Желтова _____

М.П.

«11» февраля 2009 г.

Устав редакции

периодического печатного издания

журнала «Филологическая регионалистика»

Город Москва

2009 г.

1. Общие положения

1.1. Редакция журнала «Филологическая регионалистика» (в дальнейшем именуемая «Редакция») осуществляет производство и выпуск средства массовой информации – журнала «Филологическая регионалистика» (в дальнейшем именуемого «Журнал»).

1.2. Учредителем и издателем Журнала является общественная организация «Тамбовское областное филологическое общество».

1.3. Редакция не является юридическим лицом, самостоятельным хозяйствующим субъектом. Редакция осуществляет хозяйственную деятельность как структурное подразделение общественной организации «Тамбовское областное филологическое общество» (в дальнейшем именуемой «Учредитель»).

1.4. Редакция осуществляет деятельность по производству и выпуску журнала на основе профессиональной самостоятельности. Управление Редакцией осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и иными документами Учредителя.

1.5. Финансирование деятельности Редакции осуществляется Учредителем в порядке, установленном настоящим Уставом и иными документами Учредителя.

1.6. По обязательствам, возникшим в результате деятельности Редакции, Учредитель несет ответственность всем принадлежащим ему имуществом, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.

1.7. Местонахождение (адрес) Редакции: 392000, Тамбов, ул.Советская, д.93.

2. Права и обязанности Учредителя

2.1. Учредитель имеет право:

- утверждать Устав Редакции;
- утверждать изменения и дополнения к Уставу Редакции;
- прекратить или приостановить деятельность Журнала в случаях и в порядке, установленном настоящим Уставом;
- изменять в установленном порядке тематику и специализацию, язык Журнала, его название, форму и территорию распространения Журнала, его периодичность, объем и тираж;
- помещать бесплатно и в указанный им срок (в том числе в подготавливаемом или ближайшем планируемом номере) сообщения и материалы от своего имени (заявление Учредителя); максимальный объем заявления Учредителя не может превышать 1/6 от общего объема номера;
- осуществлять контроль над соответствием деятельности Редакции положениям законодательства, настоящего Устава и иных документов Учредителя, за соответствием тематики и специализации, языка, периодичности и объема Журнала, иным сведениям, представленным при его регистрации и содержащимся в свидетельстве о регистрации средства массовой информации;
- выступать в качестве издателя, распространителя и собственника имущества Редакции.

2.2. Учредитель обязан:

- соблюдать положения Устава Редакции;
- оказывать Редакции содействие в изучении аудитории, в продвижении Журнала на рынке, в организации и проведении массовых мероприятий с участием читателей;
- не вмешиваться в профессиональную деятельность Редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

2.3. Учредитель может передать свои права и обязанности третьим лицам с согласия Редакции.

3. Права и обязанности Редакции

3.1. Редакция вправе самостоятельно:

- планировать свою деятельность в рамках утвержденной Учредителем тематики, специализации и направленности Журнала, решать вопросы его содержания и художественного оформления;

- осуществлять в установленном порядке договорные отношения с авторами;

- привлекать творческих и технических работников, не состоящих в штате Редакции, для выполнения отдельных заданий по созданию выпусков Журнала;

- самостоятельно подписывать номер Журнала в печать;

- осуществлять переписку с читателями Журнала, учитывать их интересы и предложения по содержанию и оформлению Журнала.

3.2. Редакция обязана:

- обеспечивать высокий содержательный, научный, художественный и профессиональный уровень публикаций;

- осуществлять художественное оформление Журнала для печати в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил, технических условий, других нормативных документов и договоров с полиграфическими предприятиями;

- обеспечивать в своей части соблюдение утвержденных графиков производства;

- публиковать заявления Учредителя в объеме и в сроки, указанные в п. 1.2 Устава.

4. Имущественные и финансовые отношения Учредителя и Редакции

4.1. Имущество, используемое Редакцией, является составной частью имущества Учредителя. Решения о наделении Редакции тем или иным имуществом принимаются органами управления Учредителя, в соответствии с их компетенцией.

4.2. Денежные средства, необходимые для производства и выпуска Журнала, выделяются Учредителем в соответствии со сметой редакционных расходов по предложению главного редактора.

4.3. Порядок производства, размещения и распространения рекламы в Журнале определяется документами Учредителя. Объем рекламы в отдельном номере Журнала определяется органами управления Учредителя в соответствии с их компетенцией, но не должен превышать 40 процентов объема одного номера Журнала.

4.4. Прибыль, получаемая в результате деятельности Редакции является собственностью Учредителя и используется им для возмещения материальных затрат на производство, выпуск и распространение Журнала, осуществление обязательных платежей и отчислений и на иные цели в соответствии с Уставом и документами Учредителя.

5. Управление Редакцией

5.1. Управление Редакцией осуществляют органы управления Учредителя и главный редактор, в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и иными документами Учредителя.

5.2. Органы управления Учредителя, в пределах своей компетенции, установленной в Уставе и иных документах Учредителя, принимают решения по следующим вопросам деятельности Редакции:

- утверждают и освобождают от должности главного редактора, заключают с ним договор, в котором определяются права, обязанности и ответственность главного редактора;

- утверждают ежегодные отчеты главного редактора о деятельности Редакции и об использовании средств и имущества, выделенного Редакции;

- определяют основные направления деятельности Редакции;

- решают вопросы приема и увольнения работников Редакции, заключают трудовые и иные договоры с авторами и работниками Редакции;

- выделяют необходимые финансовые и материальные средства на производство и выпуск Журнала, утверждают смету Редакции;

- принимают решения о размещении рекламы в Журнале;

- осуществляют иные полномочия в соответствии с Уставом Учредителя.

5.3. Текущей деятельностью Редакции руководит главный редактор. Главный редактор в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и иными документами Учредителя, а также настоящим Уставом.

Главный редактор несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых к деятельности средств массовой информации законодательством Российской Федерации.

5.4. Главный редактор в пределах своей компетенции осуществляет управление Редакцией на основе принципа единоначалия и самостоятельно решает все вопросы деятельности Редакции за исключением отнесенных настоящим Уставом к компетенции органов управления Учредителя.

5.5. Главный редактор:

- представляет интересы Редакции в отношениях с Учредителем, издателем, распространителем, гражданами, их объединениями, организациями и в суде;

- организует работу Редакции, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Редакции;

- распределяет обязанности между своими заместителями и работниками Редакции, утверждает должностные инструкции работников Редакции;

- определяет функции отделов Редакции;

- принимает решение об образовании редакционной коллегии и о ее роспуске, назначает на должность и освобождает от должности членов редколлегии;

- осуществляет подбор журналистов и иных авторов для работы в журнале;

- подписывает к печати каждый номер Журнала;

- решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, а также Уставом или иными документами Учредителя.

Главный редактор пользуется правами и исполняет обязанности в соответствии с должностной инструкцией, утверждаемой Учредителем.

5.6. Главный редактор вправе сформировать редакционную коллегию Журнала, утвердив положение о ней (нем).

5.7. Члены редакционной коллегии назначаются на должность и освобождаются от должности решением главного редактора. Главный редактор входит в состав редакционной коллегии по должности. Редакционная коллегия создается главным редактором по мере необходимости для обсуждения вопросов, связанных с производством и выпуском Журнала.

На заседаниях редакционной коллегии председательствует главный редактор.

5.8. Повестка дня определяется главным редактором. Члены редакционной коллегии вправе требовать включения в повестку дня дополнительных вопросов. Данное требование может поступить как до, так и на заседании редакционной коллегии.

5.9. Заседание редакционной коллегии правомочно, если на нем присутствуют более половины членов редакционной коллегии, включая главного редактора. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов и утверждаются главным редактором.

Решения редакционной коллегии носят рекомендательный характер. Главный редактор не обязан мотивировать отказ в утверждении решения редакционной коллегии.

Редакционная коллегия не вправе обсуждать и принимать решения по вопросам, отнесенным в настоящем Уставе к ведению органов управления Учредителя.

6. Полномочия журналистского коллектива

6.1. Журналистский коллектив составляют лица, которые на основе трудового договора с Учредителем осуществляют редактирование (литературное, научное, художественное, техническое), создание, сбор или подготовку сообщений и материалов (текстовых и иллюстрированных) для Журнала.

6.2. Журналистский коллектив принимает участие в разработке и подготовке редакционных планов, участвует в мероприятиях Редакции, вносит руководству Редакции предложения по улучшению качества Журнала и ускорению редакционно-издательского процесса.

6.3. Журналистский коллектив осуществляет свои права на собрании журналистского коллектива. Собрание журналистского коллектива правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей членов журналистского коллектива. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании членов журналистского коллектива.

6.4. Собрание журналистского коллектива избирает из своего состава председательствующего, который ведет собрание, и секретаря, который составляет протокол собрания.

Протокол ведется на каждом собрании журналистского коллектива. В протокол заносятся все решения собрания журналистского коллектива. Протокол подписывается председательствующим и секретарем.

6.5. Собрание журналистского коллектива не вправе обсуждать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.

7. Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности Журнала

7.1. Выпуск Журнала может быть прекращен или приостановлен только по решению Учредителя, либо судом в порядке гражданского судопроизводства по иску регистрирующего органа (в порядке, предусмотренном Законом РФ «О средствах массовой информации»).

7.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность Журнала в случае если:

- Редакция в течение 3-х месяцев нарушила требования законодательства о средствах массовой информации, норм журналистской этики или настоящего

Устава повторно, после получения предупреждения Учредителя;

- издание Журнала является убыточным;

- Учредитель утратил возможность финансировать выпуск Журнала;

- выпуск Журнала признан Учредителем нецелесообразным по иным основаниям.

- Решение о прекращении или приостановлении деятельности Журнала принимается Учредителем после консультаций с главным редактором.

7.2. В случае решения Учредителя о прекращении выпуска Журнала Учредитель сохраняет за собой право на возобновление выпуска средства массовой информации с тем же названием.

7.3. Принятие Учредителем решения о прекращении деятельности Журнала влечет недействительность настоящего Устава. Редакция в этом случае подлежит ликвидации.

8. Права на название

8.1. Право на название Журнала принадлежит Учредителю. Логотип Журнала может быть зарегистрирован Учредителем в качестве товарного знака в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Последствия смены учредителей, изменения состава учредителей

9.1. В случае смены Учредителя Журнал продолжает свою деятельность после перерегистрации в установленном законом порядке.

9.2. В случае реорганизации Учредителя его права и обязанности в полном объеме переходят к правопреемнику. В случае ликвидации Учредителя его права и обязанности в полном объеме переходят к Редакции.

10. Порядок утверждения и изменения Устава Редакции

10.1. Устав Редакции и изменения в нем принимаются на собрании журналистского коллектива Редакции и утверждаются Учредителем.

10.2. Изменения и дополнения в устав Редакции вносятся Учредителем по собственной инициативе и по предложению Редакции.

Главный редактор журнала

«Филологическая регионалистика»

Н.Ю. Желтова

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

«ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

является добровольной, самоуправляемой общественной организацией, созданной по инициативе ученых ТГУ имени Г.Р.Державина, объединившихся для реализации общей цели – сохранения, развития и популяризации русского языка и литературы, и шире – национальной культуры.

Задачи Организации:

- развивать идеи филологии на основе обобщения отечественного и зарубежного опыта проведения научных исследований в этой области, разработки новых методов и подходов к исследованию языка и литературы;
- содействовать популяризации филологических знаний и гуманитарной (в том числе региональной) культуры путем организации творческих вечеров, фестивалей, концертов, тематических промо-акций, викторин, издания альманахов, путеводителей, биографий, буклетов и т.д.;
- активизировать многоаспектное взаимодействие между филологами ТГУ имени Г.Р. Державина и региональной общественностью: работниками образования, культуры, СМИ, всеми гражданами, заинтересованными в сохранении и развитии филологической (и шире – гуманитарной) культуры;
- развивать интерес студентов, аспирантов, докторантов к проведению исследований в области филологии на основе организации олимпиад, конкурсов, издания коллективных монографий, тематических сборников научных трудов;
- способствовать обмену научной информацией между отечественными и зарубежными учеными;
- информировать научную общественность о проблемах и тенденциях в изучении и преподавании филологических дисциплин;
- содействовать систематизации и популяризации фундаментальных знаний в филологии на основе проведения регулярных научных конференций, школ, семинаров и других научных, научно-методических и просветительских мероприятий, совместно осуществляемых исследований и разработок, тематических публикаций, издания научных сборников и журналов по филологии;
- оказывать содействие расширению сфер применения полученных знаний, в том числе в вузовских лекционных курсах, учебниках, учебных пособиях, справочных и методических материалах по проблемам литературоведения и лингвистики, популярных изданиях по этнолингвистике, лингво- и литературному краеведению;
- поддерживать контакты с Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы, Российской ассоциацией преподавателей русского языка и литературы, Международной ассоциацией лингвистов-когнитологов, Российской ассоциацией лингвистов-когнитологов, Международной ассоциацией исследователей английской литературы, Общероссийской ассоциацией исследователей английской литературы посредством участия в международных научных конференциях и публикаций в международных и российских научных журналах;
- устанавливать связи с общественными объединениями, коммерческими организациями и отдельными лицами, разделяющими и поддерживающими цели Организации;
- создавать отделения, филиалы и представительства;
- осуществлять издательскую и рекламную деятельность.

Членами Организации могут быть физические лица, достигшие возраста 18 лет, и юридические лица – общественные объединения, занимающиеся исследованиями и просветитель-

ской деятельностью в области филологии и разделяющие цели и задачи Организации. Членство в Организации добровольное. Все члены Организации имеют равные права и обязанности.

Прием в члены Организации физических лиц осуществляется Президиумом Организации на основе письменного заявления.

Фактом подачи заявления о приеме в члены Организации заявитель безоговорочно признает Устав Организации, другие решения и правила Организации, а также решения и правила, которые она примет в будущем.

Вид взноса	Категория взноса	Размер взноса, в руб.
Вступительный	Общий	300
	Учителя	100
	Аспиранты	50
	Студенты	50
Членский за год	Общий	700
	Учителя	400
	Аспиранты	250
	Студенты	150
Льготная схема: Вступительный + членский за год (выплата единовременно)	Общий	900
	Учителя	400
	Аспиранты	200
	Студенты	150

Заявления о вступлении в ТОФО на имя председателя Президиума ТОФО Желтовой Наталии Юрьевны с указанием адреса и контактного телефона вступающего могут быть присланы почтой по адресу: 392000, Тамбов, Интернациональная, 33 или лично представлены по адресу: 392000, Тамбов, ул. Советская, 93, каб. 46.

Реквизиты для перечисления вступительных и членских взносов: Общественная организация «Тамбовское областное филологическое общество», 392000, Тамбов, Интернациональная, 33,

р/с 40703810500100000003 в филиале «Тамбовский»
ООО КБ «Росавтобанк»
ИНН 6829043046
КПП 682901001
ОГРН 1086800000132
ОКПО 81993046
БИК 046850783

Контактный телефон: 8(4752) 72-76-61.
Эл. адрес: ifg06@mail.ru.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Уважаемые коллеги!

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина и Тамбовское областное филологическое общество приступили в 2009 г. к изданию нового журнала «ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА», отражающего широкий спектр научных проблем литературоведения и лингвистики. Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (свидетельство ПИ № 77-35659 от 17 марта 2009 г., ISSN 2074-7292). Территория распространения журнала – Российская Федерация.

Основные рубрики журнала:

Теория и методология филологической науки
Региональные исследования в филологии
Россия в глобальном миропорядке
Литературное и лингвистическое краеведение
История региональной культуры
Междисциплинарные взаимодействия
Представляем научные коллективы российских регионов
Критика, обзоры, библиография
Хроника: факты, события, имена
Возвращаясь к опубликованному
Наши авторы
На правах рекламы

Редколлегия приветствует участие в журнале представителей различных научных школ и направлений, учреждений образования, культуры, общественных организаций.

Требования к оформлению рукописей, представляемых для публикации в журнале «ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА»

Текст статьи, сообщения, рецензии (формат страницы А4) представляется на дискете и в распечатанном виде (2 экз.) в редакторе MS Word версии от 7.0 и выше через 1 интервал, шрифт Times New Roman, поля со всех сторон по 2 см.

На верхней строке по центру указываются инициалы и фамилия автора (авторов) – 12пт *жирный курсив*.

Название статьи печатается **ЖИРНЫМ ПРОПИСНЫМ** шрифтом 12 пт, выравнивание по центру без отступа. Точка в конце названия не ставится. До и после названия – пробел в 1 интервал.

Под названием представляется краткая аннотация статьи объемом не более 8 строк и ключевые слова (не более 5 терминов), 10 пт обычный, отступ абзаца слева и справа по 2 см, выравнивание по ширине. После аннотации и ключевых слов – пробелы в 1 интервал.

Текст набирается обычным шрифтом 11 пт. Выравнивание абзаца по ширине, отступ первой строки абзаца (красная строка) – 1 см.

Рисунки выполняются в графическом редакторе Corel Draw либо в любом из приложений MS Office в сгруппированном виде. Графики, рисунки и фотографии монтируются в текст после первого упоминания о них. В прилагаемой электронной версии дополнительно каждый рисунок, фотография, график и т. д. должен представляться в редакцию отдельным файлом. Допускается размещение иллюстраций, таблиц и формул по всей ширине страницы. Название иллюстраций (10 пт, обычный) дается под ними по центру после слова Рис. с порядковым номером (10 пт, жирный). Если рисунок в тексте один, номер не ставится. Точка после подписи не ставится. Между подписью к рисунку и текстом – 1 интервал.

Слово «Таблица» с порядковым номером размещается по правому краю перед таблицей. На следующей строке приводится название таблицы (выравнивание по центру без отступа и переноса слогов) без точки в конце. После таблицы – пробел в 1 интервал. Единственная в статье таблица не нумеруется.

Ссылки в тексте с указанием фамилии автора, года издания и цитируемой страницы заключаются в квадратные скобки, номера страниц указываются только в ссылках. [Иванов 1990: 25; Петров 2001; см. также: Сидоров 2002; 2003 и др.].

Список источников приводится после текста статьи в алфавитном порядке после слов *Литература* (без точки или двоеточия в конце). Шрифт 11 пт обычный. Нумерованный список не применять.

В конце рукописи, через пробел, в левом нижнем углу указать наименование организации, из которой исходит рукопись и подпись автора, размером шрифта 10 пт и слова *Поступила в редакцию.*

Вместе со статьей необходимо представить: сведения об авторах, включающие фамилию, имя и отчество, место работы и должность, ученую степень и звание, телефон, почтовый (с индексом) и электронный адрес для переписки (если он есть).

Авторство одного человека допускается не более чем в двух статьях.

Стоимость рецензирования рукописи для публикации в журнале «Филологическая регионалистика» в 2009-2010 гг. – **300 руб.** за 1 стр.; для членов Тамбовского областного филологического общества (ТОФО) – **бесплатно**. Стоимость публикации в авторской редакции

(на правах рекламы) – 500 руб. за 1 стр., для членов ТОФО – 250 руб. за 1 стр. Публикация рекламных объявлений – по договоренности. Оплата производится после решения редколлегии **только** перечислением необходимой суммы на счет ТОФО.

Реквизиты для оплаты:

Получатель платежа: общественная организация «Тамбовское областное филологическое общество», адрес: 392000, г. Тамбов, Интернациональная, 33.

Банк получателя: Филиал «Тамбовский» ООО КБ «Росавтобанк», г. Тамбов;

р/с 40703810500100000003; ИНН 6829043046; КПП 682901001; ОГРН 1086800000132; ОКПО 81993046; БИК 046850783

В разделе «**наименование платежа**» указывается: (с пометой «**оплата рецензирования для публикации в журнале «Филологическая регионалистика»**»).

Статьи и сообщения следует направлять по адресу:

392622, г. Тамбов,
ул. Интернациональная 33,
ТГУ имени Г.Р. Державина,
Институт русской филологии,
редакция журнала

«Филологическая регионалистика»

ответственному секретарю
Кончаковой Светлане Валентиновне
тел. (4752) 71-12-54

Или представлять в редакцию журнала
г. Тамбов,

ул. Советская 93, уч.корпус №1, каб. №115
ТГУ имени Г.Р. Державина,
Институт русской филологии

Телефон для справок: (4752) 71-12-54

e-mail: filolog_reg@mail.ru

НАШИ АВТОРЫ

Алтабаева Елена Владимировна

доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогической лингвистики Мичуринского государственного педагогического института

Бурыкин Алексей Алексеевич

доктор филологических наук, ведущий сотрудник Института лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

Дубровина Светлана Юрьевна

доктор филологических наук, профессор Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина

Зусман Валерий Григорьевич

доктор филологических наук, профессор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова

Кирнозе Зоя Ивановна

доктор филологических наук, профессор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова

Козлова Раиса Петровна

доктор филологических наук, профессор Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина

Красовская Светлана Игоревна

доктор филологических наук, доцент, профессор Благовещенского государственного педагогического университета

Лёвшина Юлия Алексеевна

кандидат филологических наук, доцент, работала в ТГПИ, ныне Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (1949-1981)

Московская Дарья Сергеевна

кандидат филологических наук, старший научный

сотрудник Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН

Муравьёва Наталия Михайловна

доктор филологических наук, профессор Борисоглебского государственного педагогического института

Половинкина Ольга Ивановна

доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой литературы Владимирского государственного гуманитарного университета

Полякова Лариса Васильевна

доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой истории русской литературы Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина

Потанина Наталия Леонидовна

доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой зарубежной литературы и языковедения Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина

Родина Галина Ивановна

доктор филологических наук, профессор Арзамасского государственного педагогического института имени А.П. Гайдара

Руделёв Владимир Георгиевич

доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина

Сафонова Ольга Владимировна

соискатель Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина

Сидорова Татьяна Александровна

доктор филологических наук, доцент, профессор Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова

Соколова Наталия Игоревна

доктор филологических наук, профессор Московского государственного педагогического государственного университета

Толмачёва Оксана Васильевна

соискатель Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина

Урманов Александр Васильевич

доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой литературы Благовещенского государственного педагогического университета

Хворова Людмила Евгеньевна

доктор филологических наук, профессор Тамбовского государственного университета имени Г.Р.

Державина, заведующая лабораторией по изучению творческого наследия С.Н. Сергеева-Ценского

Холодкова Марина Владимировна

кандидат филологических наук (Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина)

Чернозёмова Елена Николаевна

доктор филологических наук, профессор Московского педагогического университета

Шайтанов Игорь Олегович

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой сравнительной истории литератур Института истории и филологии РГГУ, первый заместитель главного редактора журнала «Вопросы литературы», литературный секретарь комитета премии «Русский Букер»

Филологическая регионалистика 2009. №1-2. 145 стр.

Редакторы

Э.Н. Дзайкос, Е.А. Орлова, С.А. Старостина

Дизайн обложки

Р.Б. Кончаков, С.В. Кончакова

Компьютерное макетирование

И.В. Кузнецов

Адрес редакции, адрес учредителя

392000, г. Тамбов,
ул. Интернациональная, 33
Тел.: (4752) 71-12-54.

Сдано в набор 02.11.2009. Подписано в печать 01.10.2009 г.
Формат: 60X84/8 Бумага офсетная. Усл. печ. л. 16,8 Уч.-изд. л. 17, 9
Гарнитура Hellios Cond
Тираж 1000 экз. Заказ № 1213. Цена свободная.

Учредитель: общественная организация
«Тамбовское областное филологическое общество»

Отпечатано в Издательском доме ТГУ имени Г.Р. Державина
392008, г. Тамбов, ул. Советская, 190 г.